



Это, вероятно, самая личная
и, несомненно, одна из лучших ее книг.

Los Angeles Times

СВОИ-ЧУЖКИЕ

ЭНН ПЭТЧЕТТ

АВТОР «БЕЛЬКАНТО»

Annotation

Однажды воскресным вечером помощник прокурора Альберт Казинс оставил дома жену и детей и, захватив бутылку джина, отправился к Фрэнсису Китингу — коллеге, которого почти не знал, на вечеринку, на которую его никто не звал. Альберт не собирался целовать Беверли, жену хозяина, — все случилось само собой. Но это событие в результате разрушило два брака и навсегда изменило жизни четырех взрослых и шестерых детей.

В одном из лучших своих романов мастер глубокой психологической прозы Энн Пэтчетт рассказывает о том, как складывались их судьбы на протяжении последующих пятидесяти лет.

- [Энн Пэтчетт](#)

-

-

- [1](#)

- [2](#)

- [3](#)

- [4](#)

- [5](#)

- [6](#)

- [7](#)

- [8](#)

- [9](#)

-

- [notes](#)

- [1](#)

- [2](#)

- [3](#)

Энн Пэтчетт

Свои-чужие

Ann Patchett COMMONWEALTH
Copyright © 2016 by Ann Patchett
Russian Edition Copyright © 2018 by Sindbad Publishers

© 2016 by Ann Patchett

© 2018 by Sindbad Publishers

© © Издание на русском языке, перевод на русский язык,
оформление. Издательство «Синдбад», 2018

* * *

*Посвящается
Майку Глэскоку*

Крестины приняли странный оборот, когда на торжество с бутылкой джина явился Альберт Казинс. Фикс улыбался, отворяя ему дверь, и потом еще улыбался, не сразу сообразив, что на бетонных ступенях крыльца стоит Альберт Казинс из окружной прокуратуры. За последние полчаса Фикс открывал дверь раз двадцать — соседям, друзьям, прихожанам своей церкви, членам общины, сестре Беверли и всем своим братьям, родителям, личному — и едва ли не полному — составу своего полицейского участка, но удивился только явлению Казинса. Фикс еще две недели назад спросил жену: чего, собственно говоря, ради надо звать на крестины всех, кого они знают в этом мире, а жена ответила — хочешь, просмотри список гостей и скажи, кого вычеркнуть. Список он смотреть не стал, но случись жена сейчас рядом — так бы прямо и сказал: «Вот его вычеркни». И ведь не то чтобы Фикс недолюбливал Казинса, он и знал-то о нем, лишь что это вот — Казинс, но не звать же на праздник человека, с которым едва знаком. Фикс даже подумал, что тот пришел поговорить по делу — по какому-нибудь уголовному делу, — потому что никак иначе не мог объяснить его приход. Гости роились в палисаднике, и Фиксу оставалось только гадать, припоздали они, собрались ли уже уходить или просто вырвались на простор из комнат, набитых плотнее, чем позволил бы любой пожарный инспектор. Зато он не сомневался, что Казинс со своей бутылкой в пакете пришел незванным.

— Добрый вечер, Фикс, — протянул руку долговязый заместитель окружного прокурора в костюме и при галстукe.

— Здравствуйте, Эл, — сказал Фикс, неуверенный, вправду ли это его уменьшительное имя. — Рад, что выбрались все-таки. — Дважды энергично тиснул руку гостя и высвободил свою.

— Под занавес, — сказал Казинс, оглядывая толпу гостей и как бы сомневаясь, что ему тут найдется место. Вечеринка явно перевалила за середину — маленьких треугольных сэндвичей уже почти не осталось, а печенья — меньше половины. И скатерть под чашей с пуншем стала розовой и влажной.

Фикс отступил в сторону, пропуская гостя:

— Лучше поздно, чем никогда.

— Ну, разве я мог пропустить такое событие? — Меж тем он именно пропустил. Ибо на крещении его не было.

Из окружной прокуратуры Фикс вообще пригласил одного Дика Спенсера. Тот и сам раньше был полицейским, по вечерам учился на юридическом, взволков себя по карьерной лестнице и при этом всегда умел правильно себя поставить. И раньше, когда он сидел за рулем черно-белого патрульного автомобиля, и теперь, когда стоял перед судьей, — сразу становилось ясно, откуда он. Казинс, конечно, тоже был слуга закона — прокурорские и полицейские одно дело делают — и вполне дружелюбен, если ему что-нибудь было нужно, однако не до такой степени, чтобы пригласить копа выпить, а если уж приглашал, то лишь с целью выведать что-то за кружкой. Прокурорские — они из тех, что стреляют у тебя сигареты, говоря, что, мол, бросают курить. А вот полицейские, уже переполнившие гостиную и столовую и выплеснувшиеся на лужайку под натянутые бельевые веревки и два апельсиновых дерева, бросать не собирались. Они пили холодный чай пополам с лимонадом и дымили как грузчики.

Альберт Казинс вручил свой пакет Фиксу, и тот заглянул внутрь. А там обнаружилась бутылка — большая бутылка джина. Другие гости дарили молитвенные карточки или перламутровые четки, или карманную Библию в белом шагреновом переплете и с золотым обрезом. Пятеро сослуживцев — или их жены — скинулись и преподнесли синий эмалевый крест на цепочке с маленькой жемчужинкой в середине — прелестную штучку, на будущее.

— Значит, теперь парень и девчонка?

— Две девочки.

Казинс пожал плечами:

— Ну, разве природе укажешь?

— Не укажешь, — согласился Фикс и закрыл дверь.

Беверли просила дверь не закрывать, чтобы не задохнуться, и это лишний раз доказывало, как мало она знает о том, до какой степени человек человеку бывает волк. Неважно, сколько народу набилось в дом — дверь, черт возьми, надо держать закрытой.

Беверли выглянула из кухни. Между ними было добрых три десятка человек — весь выводок Мелоев, весь клан ДеМаттео, орава мальчишек-причетников, расправлявшихся с остатками печенья, — но не заметить Беверли было невозможно. В этом-то желтом платье.

— Ф-и-икс... — выкрикнула она, перекрывая галдеж.

Казинс, обернувшийся первым, поклонился.

Фикс инстинктивно выпрямился, но момент был упущен.

— Будьте как дома, — сказал он заместителю окружного прокурора и показал на детективов, собравшихся за раздвижной застекленной дверью и еще не успевших снять пиджаки. — Вы наверняка всех тут знаете.

Может, да, а может, и нет. Но хозяина Казинс не знал точно. Фикс стал прокладывать себе путь в толпе гостей, и они расступались перед ним, хлопали по плечу, жали руку, говорили «поздравляю». Он старался не наступить ненароком ни на кого из детей, — среди которых была и его собственная четырехлетняя Кэролайн, — игравших во что-то на полу столовой, прямо под ногами у взрослых, и ползавших на манер тигров в засаде.

Кухня была переполнена женами — все они хохотали и говорили слишком громко, и проку не было ни от кого, кроме Лоис-соседки: она доставала из холодильника всякую снедь. Лучшая подруга Беверли Уоллис, глядя в хромированный тостер, поправляла помаду на губах. Уоллис была чересчур тонкая и чересчур смуглая, а когда выпрямилась, оказалось, что еще и намазана чересчур. У стола с малышкой на коленях сидела мать Беверли. Девочку переодели из кружевной крестильной рубашечки в накрахмаленное белое платьице с вышитыми вокруг шеи желтыми цветами, и теперь она была похожа на новобрачную, перед свадебным путешествием сменившую подвенечный убор на дорожный костюм. Женщины на кухне наперебой ворковали и хлопотали над ней, словно стараясь занять и развлечь до прихода волхвов. Но она не поддавалась. Голубыми остекленевшими глазами смотрела куда-то в пространство, и было видно, что она ото всего устала. Столько возни с сэндвичами и подарками — и все ради девочки, которой нет еще и года.

— Какая же она прелесть, — ни к кому не обращаясь, сказала теща Фикса и провела пальцем по округлой младенческой щечке.

— Лед, — сказала мужу Беверли. — Лед кончился.

— Лед был поручен твоей сестрице, — ответил тот.

— Значит, поручение она провалила. Попроси твоих ребят раздобыть сколько-нибудь. В такую жару безо льда что за вечеринка? — Тесемки фартука она завязала не на спине, а на шее,

чтобы платье не измялось. Соломенные пряди выбились из прически и лезли в глаза.

— Если уж лед не принесла, могла бы, по крайней мере, заняться сэндвичами, — говоря это, Фикс смотрел прямо на Уоллис. Уоллис закрыла патрончик с губной помадой и пропустила его реплику мимо ушей. А он имел в виду, что надо бы помочь Беверли, которая совсем захлопоталась. А ведь таким женщинам, как Беверли, вообще хлопотать по хозяйству не пристало, таким полагается сидеть на диване, пока гости передают друг другу тарелки.

— У Бонни там радость — полная комната копов. Так что помощи от нее ждать не приходится, — сказала Беверли, а потом, на минутку перестав раскладывать сливочный сыр и огурцы, взглянула на пакет: — Что там?

Фикс предъявил бутылку, и удивленная жена одарила его улыбкой — первой за день, а может быть, и за неделю.

— Когда пошлешь кого-нибудь в магазин, — сказала Уоллис, внезапно проявив интерес к разговору, — скажи, пусть тоник прихватит.

Фикс сказал, что сам ходит за льдом. Супермаркет располагался совсем неподалеку, так что дело было минутное, и инициатива возражений не вызвала. Относительное — по сравнению с тем, что творилось дома, — спокойствие округа, шеренга коттеджей с аккуратными зелеными лужайками, тонкие тени пальм, запах цветущих апельсиновых деревьев — все это отлично сочеталось с успокоительной сигаретой. Брат Том нагнал его, и в дружеском молчании дальше они пошли вместе. Том и Бетти родили уже троих — все девочки, — и жили в Эскондидо, где глава семейства служил в пожарной охране. Фикс мало-помалу уже начинал сознавать, каково это, когда ты становишься старше, обзаводишься детьми и понимаешь, что времени тебе отпущено меньше, чем ты думал. Последний раз братья виделись на Рождество, когда приезжали к родителям и всей семьей ходили к мессе, а до этого — в Эскондидо, на крестинах Эрин. Мимо проехал красный открытый «санбим», и Том сказал: «Такой бы вот». Фикс понимающе кивнул.

В супермаркете купили четыре пакета льда и четыре бутылки тоника. Паренек-кассир спросил, не нужны ли лаймы, и Фикс покачал

головой. Чего уж тут — июнь, Лос-Анджелес. Своих девать некуда.

Отправляясь в супермаркет, Фикс не взглянул на часы, но время он чувствовал прекрасно. Как и большинство полицейских. Их с Томом не было минут двадцать, ну, может, двадцать пять. Маловато для разительных перемен, но, когда они вернулись, входная дверь была нараспашку, а во дворе — ни души. Тома это никак не беспокоило, что было неудивительно. Пожарному все нормально, если дымом не тянет. Народу в доме было еще полно, но стало тише. Перед приходом гостей Фикс включил радио, и только сейчас стала слышна какая-то музыка. По полу столовой дети больше не ползали, но никто вроде не заметил их исчезновения. Все внимание было обращено на открытую дверь кухни, куда братья Китинг и несли лед. Ломер, напарник Фикса, ждал их и мотнул головой, показывая на толпу: «Вы как раз успели».

В кухне, которая перед их уходом и так была набита битком, людей теперь стало втрое больше — в основном мужчин. Тещи нигде не было видно, и малышки тоже. Беверли, с большим ножом в руках, брала из огромной, рассыпающейся по столешнице груды апельсины, рассекала каждый пополам, а двое юристов из окружной прокуратуры — Дик Спенсер и Альберт Казинс, — сняв пиджаки и галстуки, засучив рукава по локоть, крутили эти половинки в двух металлических соковыжималках. Воротнички их расстегнутых сорочек уже потемнели. Раскрасневшиеся и взмокшие, мужчины трудились так, словно от того, сколько апельсинового сока они надавят, зависела безопасность города.

Бонни, сестра Беверли, — теперь готовая помогать по хозяйству — сняла у Спенсера с носа запотевшие очки и протерла их кухонным полотенцем, хотя для такого дела у него где-то в толпе имелась жена. Только тогда Дик увидел Фикса с Томом и потребовал льда.

— Лед! — радостно закричала Бонни. О да, лед. В такую адскую жару «лед» было лучшим словом на свете. Она отшвырнула полотенце, подхватила у Тома оба пакета и кинула в раковину поверх аккуратных оранжевых чашечек — выжатых апельсиновых половинок. Потом взяла пакеты у Фикса. Бонни была главная по льду.

Беверли отложила нож и со словами: «Очень вовремя» — запустила бумажный стаканчик вглубь пластикового пакета, но, явно обуздывая себя, выудила оттуда только три скромных кубика. Смешала

поровну джин и апельсиновый сок. Потом приготовила следующую порцию, и другую, и третью. Бумажные стаканчики пошли из рук в руки по кухне и дальше, в комнаты, где их ждали гости.

— Я тоник принес, — сказал Фикс, глядя на второй пакет, оставшийся у него в руках. Ему никак не удавалось отделаться от ощущения, что, пока они с братом ходили в супермаркет и обратно, их обоих куда-то оттеснили.

— Апельсиновый сок лучше, — ответил Альберт Казинс, на несколько секунд оторвавшись от работы, чтобы одним махом проглотить коктейль, смешанный для него Бонни. Она, хоть еще недавно восторгалась полицейскими, теперь отдала свои симпатии двоим прокурорским.

— Сок с водкой хорош, — сказал Фикс.

«Отвертка» — очевидно же.

Однако Казинс только покосился на педанта, и Беверли в тот же миг протянула мужу стаканчик. И, ей-богу, получилось все так слаженно, будто они выработали какой-то тайный код. Фикс взял напиток и взглянул на незваного гостя. У него за спиной стояли трое братьев, орава крепких и умелых парней из департамента полиции Лос-Анджелеса и священник, организовывавший по воскресеньям боксерские матчи для трудных подростков. Любой из вышеперечисленных или все они вместе оказали бы ему содействие по удалению из помещения отдельно взятого помощника прокурора.

— Будь здоров! — негромко сказала Беверли. Прозвучало это не как тост, а как приказ, и Фикс, продолжая думать, что все-таки следовало бы выразить свое недовольство, опрокинул в рот содержимое стаканчика.

Отец Джо Майк сидел на земле, привалившись спиной к стене дома в узкой полоске тени. Стаканчик с джином и соком он поставил себе на колено, обтянутое черными пасторскими брюками. Стаканчик шел уже не то четвертый, не то пятый по счету — Джо Майк точно не помнил, да и незачем было, с такими крохотными порциями. Он пытался мысленно сочинить воскресную проповедь. И собирался рассказать пастве — тем немногим, кого сегодня здесь не было, — что на крестинах у Китингов повторилось чудо о пяти хлебах, но никак не мог удалить из повествования упоминание о спиртном. Сам он, ясное

дело, не верил, что стал свидетелем чуда, — да и никто не верил, — но зато он своими глазами увидел великолепный пример того, как во времена Христа чудо это могло быть организовано. Да, Альберт Казинс принес большую бутылку джина — большую, но все же не настолько, чтобы наполнить, да еще и по многу раз, бумажные стаканчики сотни с лишним гостей, кое-кто из которых танцевал сейчас совсем неподалеку. И сколь бы ни был богат урожай с апельсиновых деревьев на заднем дворе, его не хватило бы, чтобы напоить соком такую ораву. Согласно общепринятому мнению, джин не идет с апельсиновым соком, да и кто ждал, что на крестинах дадут выпить? И никто не осудил бы супругов Китинг, если бы они просто убрали бутылку в бар. Однако Фикс отдал ее жене, ну, а жене, которая вконец измучилась, стараясь, чтобы вечер удался на славу, захотелось выпить, а раз так, то сам бог велел всем прочим присоединиться к ней. Как ни крути, Беверли Китинг сотворила чудо. Тот же Альберт Казинс, что принес джин, он и предложил смешать его с соком. Альберт Казинс, который еще две минуты назад сидел рядом и рассказывал преподобному, что сам он из Виргинии и за три года жизни в Лос-Анджелесе так и не привык к изобилию цитрусовых на ветках. Он, Берт, — называйте меня просто Берт — вырос на замороженных концентратах, смешанных с водой и, как стало ему с опозданием известно, не имевших к настоящему апельсиновому соку никакого отношения. А теперь свежавыжатый сок для его детей — такая же обыденность, как для него когда-то молоко. И выжимают они его из апельсинов, которые срывают с деревьев на собственном дворе. И он заметил, какое мускулистое стало предплечье у его жены Терезы от постоянного кручения апельсинов в соковыжималке, потому что дети непрерывно протягивают кружки и просят еще. Им ничего на свете не надо, кроме апельсинового сока, продолжал Берт. Они запивают им по утрам свои хлопья, жена замораживает им сок в формочках для мороженого и дает на полдник, а по вечерам они с Терезой добавляют его к водке, или джину, или бурбону со льдом. Здешние люди будто не понимают — неважно, что ты льешь в апельсиновый сок, важен лишь апельсиновый сок сам по себе. «Калифорнийцы забыли об этом, потому что избаловались», — сказал Берт.

— Это верно, — согласился преподобный, поскольку и сам родом был из Оушенсайда, а потому не в полной мере мог разделить восторг

собеседника.

Пастор попытался вернуть мысли, разбредшиеся, как евреи по пустыне, к предстоящей проповеди. Беверли Китинг подошла к бару, который не обновляла ради предстоящих крестин, и нашла там треть бутылки джина, почти полную бутылку водки и бутылку текилы, в прошлом сентябре привезенную Джоном, братом Фикса, из Мексики, и непочатую, потому что никто точно не знал, как эту текилу полагается пить. Беверли отнесла все это на кухню, и тогда соседи слева, и соседи справа, и соседи напротив, и даже те трое, что жили у церкви Воплощения, вызвались сбегать и глянуть, что там у них самих имеется, и вернулись не только со спиртным, но и с апельсинами. Билл и Сюзи принесли полную наволочку плодов, которые набрали дома, приговаривая, что там еще на три такие же хватит, — апельсины исчезли в один момент. Прочие гости последовали их примеру, побежали домой, обтрясли ветки, обшарили верхние полки в своих кладовых. И благодаря их щедротам кухня Китингов стала выглядеть как задняя стена в баре, а кухонный стол Китингов уподобился вагону, груженному фруктами.

Не это ли есть истинное чудо? Не Господь вытянул из божественного рукава своего шведский стол, пригласив всех разделить с ним рыб и хлеба, а люди, принесшие в бурдюках и мешках свои припасы — быть может, чуть больше, чем нужно было им самим и семьям их, но, без сомнения, недостаточно, чтобы насытить множество народа, — подвигнуты были на безоглядное великодушие примером Учителя и учеников Его. Вот и гостей на этих крестинах тронула щедрость Беверли Китинг, а может, растрогала она сама — ее желтое платье, ее золотистые волосы, поднятые и сколотые, открывающие гладкую шею, что плавно уходила за ворот желтого платья. Преподобный Джо Майк отхлебнул еще немного. Двенадцать корзин апельсиновой кожуры собрали по завершении праздника. Он оглядел стаканчики, оставленные на столах, на стульях, прямо на земле — у многих на донышке еще было на глоточек-другой. Преподобный Джо Майк почувствовал свое ничтожество оттого, что сам не предложил сходить домой и принести, что там найдется. Он думал тогда, что негоже духовному лицу показывать своим чадам, сколько джина он припас у себя в закромах, и вот — упустил возможность испытать чувство братского единения со всей общиной.

Он почувствовал, как кто-то слегка толкнул носок его выставленного вперед башмака. Отец Джо Майк оторвался от созерцания колена, на котором стоял бумажный стаканчик, ставший предметом его размышлений, и увидел перед собой Бонни Китинг. Нет, не так. Это ее сестра замужем за Фиксом Китингом, а это, стало быть, Бонни Кто-то Там. Бонни Девичья-Фамилия-как-у-Бeverли.

— Приветик, отец мой, — сказала она, держа стаканчик в точности как он — двумя пальцами и за верх.

— Здравствуй, Бонни, — сказал он, стараясь, чтобы это прозвучало солидно, словно он вовсе не сидел на земле, потягивая джин. Хотя, может быть, никакой не джин. Может быть, и текилу.

— Вот интересно, потанцуете вы со мной или нет?

Платьице на Бонни Неизвестной было в голубых маргаритках и такое короткое, что преподобный в полном смысле слова не знал, куда девать глаза: одеваясь утром, она, вероятно, не предусмотрела, что будет стоять перед человеком, сидящим на земле. Он хотел было с благодушием доброго дядюшки ответить, что, мол, давно уж оттанцевал свое, но по возрасту еще не годился ей ни в дядья, ни в отцы, пусть даже она к нему обратилась именно так. И потому он сказал просто:

— Не самая удачная мысль.

Тут, как будто одной неудачной мысли было мало, Бонни Неизвестная присела на корточки, с тем, без сомнения, чтобы оказаться вровень с собеседником и вести более непринужденный разговор, но не подумав при этом, докуда вздернется подол ее платья. Трусы у нее тоже оказались голубые. Маргариткам в тон.

— Понимаете, какое дело... — сказала она, не попадая интонацией в такт содержанию. — Тут все поголовно женатые. Я-то не вижу ничего зазорного в том, чтобы потанцевать с женатым, — танец ровным счетом ни к чему не обязывает. Но ведь они все притащили сюда жен.

— А жены считают, что танец обязывает? — Джо Майк старался смотреть только ей в глаза.

— Именно, — ответила она печально и заправила прямую светло-каштановую прядь за ухо.

В этот миг на преподобного снизошло озарение: Бонни Неизвестной следует уехать из Лос-Анджелеса или в самом крайнем

случае — перебраться в тот квартал, где никто не знает ее старшую сестру, потому что, если не сравнивать с нею, Бонни была девушка вполне привлекательная. Но они смотрелись как шетлендский пони рядом с породистой скаковой лошадью, хотя преподобный и понимал, что не знай он Беверли, слово «пони» никогда бы не пришло ему на ум. Из-за плеча Бонни он видел, как на лужайке Беверли танцует с полицейским — причем не с мужем, — и полицейский этот по виду очень счастлив.

— Ну, пойдете... — протянула Бонни просяще и плаксиво. — Тут, кажется, только вы да я без пары.

— Если вы пару себе ищете, то это не ко мне.

— Да просто потанцевать хочу, — сказала она и положила ему руку на то колено, что было не занято бумажным стаканчиком.

Поскольку преподобный Джо Майк как раз мысленно бичевал себя за то, что позволил внешним приличиям возобладать над истинным милосердием, он заколебался. Помыслил бы он хоть на две секунды о приличиях, если бы хозяйка попросила станцевать с нею? Если бы сейчас перед ним на корточках сидела не сестра Беверли Китинг, а она сама, если бы это ее широко расставленные синие глаза были устремлены в его глаза, и ее платье взбилось так высоко, что открылось нижнее белье... — тут он остановил разбег воображения и даже незаметно потряс головой. Нехорошие мысли. Он попытался вновь обратить свой разум к пяти хлебам и двум рыбам, а когда убедился, что — вотще, поднял указательный палец и сказал:

— Один раз.

Лицо Бонни Неизвестной озарила улыбка, преисполненная такой благодарности, что преподобный Майк задумался — а случилось ли ему раньше сделать столь счастливым хоть одно живое существо? Они поставили свои стаканчики и принялись поднимать пастора с земли, что оказалось делом мудреным. И прежде чем выпрямиться окончательно, оказались в объятиях друг друга. Из этой позиции Бонни нетрудно было сцепить руки у пастора на шее и повиснуть на нем на манер епитрахили, которую тот надевал на исповеди. Он неуклюже обхватил ее обеими руками за талию — в самом узком месте, большие пальцы встретились под сходящимися ребрами. Он не знал, смотрит ли на них кто-нибудь. И вообще был охвачен

ощущением невидимости, словно таинственное облачко лаванды, окутывавшее сестру Беверли Китинг, скрыло его от всего мира.

На самом деле, до того как залучить преподобного, Бонни все же удалось уломать еще одного партнера, но завершилось это так печально, что не потянуло даже и на полтанца. Она оттащила в сторонку Дика Спенсера, работавшего в поте лица над апельсинами, сказав ему, что по трудовому законодательству соковыжимателям полагается перерыв. Массивные роговые очки придавали Дику Спенсеру очень умный вид — он казался гораздо мозговитее, чем Фиксов напарник Ломер, который не захотел одарить девушку забываемыми мгновениями, хотя она дважды со смехом прильнула к нему всем телом. (Дик Спенсер и вправду был умен. А вдобавок еще и очень близорук — до такой степени, что, когда в пылу задержания с него сбивали очки, вообще ничего не видел. И мысль, что человек, которого он вяжет, пустит в ход ствол или нож, а он этого может не заметить, привела его сперва на вечерние курсы, потом в юридический колледж и заставила получить высший балл на экзаменах.) Бонни взяла Спенсера за липкую руку и повела на задний двор. Там, стучаясь о других танцующих, они расчистили себе место. Обхватив Спенсера за шею, она чувствовала под рубашкой его тонкое тело — приятно тонкое, такое тонкое, что могло бы обвить собой девушку дважды. Второй заместитель прокурора, Казинс, был посимпатичней, можно даже сказать — красавец, но видно было, что чересчур много о себе понимает. А Дик Спенсер такой лапочка, и вот она в его объятиях...

Бонни не успела додумать эту мысль — крепкая рука схватила ее за плечо. Бонни очень старалась поймать взгляд Спенсера за стеклами очков, и от этого или от чего другого голова у нее кружилась. Бонни крепко держалась за Спенсера. И не заметила, что к ним подходит какая-то женщина. Если бы заметила, то, наверно, успела бы отстраниться или, по крайней мере, придумать что-то толковое в свое оправдание. Женщина тараторила так громко, что Бонни пришлось попятиться. Вот при каких обстоятельствах Дик Спенсер с супругой покинули крестины.

— Уже уходите? — спросил Фикс, когда чета проплывала мимо него по гостинной.

— Умеете вы за родней приглядывать, — сказала на это Мэри Спенсер.

Фикс сидел на диване со старшей дочкой Кэролайн, раскинувшейся поперек его коленей и посапывавшей во сне. И по ошибке подумал, что Мэри похвалила его за то, как он присматривает за дочкой. Он, впрочем, и сам уже задремывал. Слегка похлопал Кэролайн по спине, но та не шевельнулась.

— Казинсу привет, — сказал Дик через плечо и повел жену дальше: не надев пиджак, не завязав галстук, не попрощавшись с Беверли.

Альберта Казинса на крестины не звали. В пятницу в вестибюле суда он увидел Дика Спенсера, занятого беседой с каким-то копом — Казинс не знал, кто это, но лицо его, как у большинства копов, показалось знакомым.

— Значит, в воскресенье жду, — сказал коп, а когда он ушел, Казинс спросил Спенсера:

— Что будет в воскресенье?

Спенсер объяснил, что у Фикса Китинга родилась дочка, и в воскресенье он устраивает вечеринку по случаю ее крещения.

— Первый ребенок? — спросил Казинс, глядя удаляющемуся Фиксу в спину, обтянутую синим.

— Второй.

— И они устраивают такое не ради первенца?

— Католики, — пожал плечами Спенсер. — Им всегда мало.

Казинс вовсе не искал, к кому бы заявиться на праздник незванным гостем, но сказать, что он отправился к Фиксу из благих побуждений, тоже было нельзя. Он ненавидел воскресенье, а приглашений в эти дни почти никогда не получал — воскресенье принято проводить с семьей. В будни, когда он уже собирался шагнуть за порог, его дети только просыпались. Он успевал лишь потрепать их по головам, дать наставления жене — и пора было выходить. Когда возвращался, дети уже засыпали или спали. Он видел их головы на подушках, исполнялся нежности, сознавал, как они нужны ему, — и эти чувства не покидали его с утра понедельника до утра субботы. Но в воскресенье утром дети спать не желали. Кэл и Холли бросались к нему на грудь, когда дневной свет еще не успевал проникнуть сквозь виниловые жалюзи, и

в первые же три минуты после пробуждения успевали из-за чего-то поссориться. Услышав, что старшие поднялись, начинала выкарабкиваться из своей кровати младшая, упорством возмещая недостаток проворства: это был ее новый, недавно освоенный фокус. Она бы шлепалась на пол, не успевай Тереза всякий раз вовремя ее подхватить, но сегодня Терезы рядом не оказалось. Она поднялась раньше, и ее рвало. Она закрыла дверь в ванную в холле и пустила воду, но все равно и в спальне слышно было, как ее выворачивает. Казинс смахнул с себя двоих старших, и их невесомые тела, переплетясь руками и ногами, плюхнулись на покрывало в изножье кровати. Заливаясь хохотом, дети вновь набросились на него, но он не мог играть с ними, и не хотел играть с ними, и вставать, чтобы взять младшую, тоже не хотел — однако пришлось.

День не задался. Тереза нудела, что ей надо спокойно, одной сходить в магазин за продуктами и что соседи из углового дома устраивают барбекю, а на последнем таком пикнике они не были. Не переставая ревели дети — сначала кто-то один, потом двое, потом, выждав немного, к ним присоединился третий, затем первые двое замолкали, и все шло по новому кругу. Перед завтраком младшая с размаху треснулась о раздвижную застекленную дверь и рассадила себе лоб. Тереза сидела перед ней на полу, отлепляла защитную бумажку от лейкопластыря и допытывалась у Берта, не нужно ли, по его мнению, наложить швы. При виде крови Берту всегда становилось не по себе, и, глядя в сторону, он ответил, что нет, не нужно. Увидев, что сестра плачет, Холли принялась реветь за компанию и заявлять, что у нее тоже головка болит. Кэла нигде не было видно — хотя обычно на крики сестер или родителей он прибежал тут же. Кэл любил бардак. Тереза с выпачканными в крови пальцами смотрела на мужа и спрашивала, куда запропастился мальчишка.

Всю неделю Казинс возился со сводниками, с домашними насильниками, с воришками, а вернее — увязал в них. Выкладывался перед пристрастными судьями и сонными присяжными. И говорил себе, что на время уик-энда забудет о существовании преступного мира Лос-Анджелеса и будет думать лишь о своих ребятах в пижамах и жене, беременной еще одним малышом. Но вместо этого в субботний полдень говорил Терезе, что ему надо пойти на службу и кое-что подготовить для предстоящего в понедельник судебного

слушания. Самое смешное — он и в самом деле отправлялся к себе в прокуратуру. Пару раз случалось улизнуть на Манхэттен-Бич съесть хот-дог и позаигрывать с девицами в купальных лифчиках и крошечных обрезанных шортиках, но Тереза по его обгоревшему лицу моментально смекала, в чем дело. Так что лучше уж пойти на службу, к людям, рядом с которыми сидишь неделю за неделей. И, многозначительно кивнув друг другу, они за три-четыре субботних часа сделают больше, чем за целый рабочий день.

Однако чувствуя, что в воскресенье этот фокус не пройдет, а видеть жену и детей ему не вмоготу, Казинс вытащил из памяти крестины, на которые его не приглашали. Тереза поглядела на него, и лицо ее на миг осветилось. В тридцать один год у нее по крыльям носа и по щекам все еще расплзались веснушки. Она часто говорила, как бы ей хотелось сводить детей в церковь, пусть даже муж — невоцерковленный, или неверующий, или и то и другое. Они пойдут всей семьей.

— Нет, — сказал на это Казинс. — Это — по работе.

— Что по работе? — опешила она. — Крестины?

— Счастливый отец служит в полиции, — ответил он, уповая, что его не спросят, как зовут полицейского, потому что имя вылетело из головы. — Понимаешь, это что-то вроде корпоратива. Вся моя контора там будет. Ну, и мне надо засвидетельствовать почтение.

Тереза спросила, мальчика будут крестить или девочку и приготовил ли он подарок. Вслед за вопросом с кухни донеслись грохот и лязг металлических мисок. О подарке Казинс не подумал. Он подошел к бару и вынул оттуда непочатую бутылку джина — здоровенную, отдавать такую было жалко, но только у нее винтовой колпачок оказался не свернут, и вопрос решился сам собой.

Вот при каких обстоятельствах попал он на кухню Фикса Китинга и принялся выжимать апельсины, после того как Дик Спенсер покинул свое рабочее место ради утешительного — но не слишком впечатляющего, надо прямо сказать, — приза в качестве коего выступила сестра белокурой хозяйки. Казинс же терпеливо и старательно добивался расположения самой блондинки. Ради нее он готов был бы выжать все апельсины, сколько ни есть их в округе Лос-Анджелес. В городе, где, казалось, и была изобретена женская красота, хозяйка, вероятно, была красивей всех, с кем ему когда-либо

приходилось разговаривать, и уж совершенно точно — с кем ему приходилось стоять рядом на кухне. И было здесь замешано еще кое-что помимо красоты: когда она передавала Казинсу очередной апельсин и пальцы их соприкасались, между ними проскакивала невидимая электрическая искра. Казинс ощущал ее каждый раз — такую же реальную, как сам апельсин. Он прекрасно понимал, что глупо подбивать клинья к замужней женщине, тем более — у нее в доме, тем более если и муж здесь же, причем муж этот — полицейский, а дело происходит на крестинах их второго ребенка. Казинс все это знал, но, осушив достаточно стаканчиков, заключил, что тут уж не до приличий. Священник, с которым он до этого беседовал на заднем дворе, был не так пьян, как он сам, и сказал ему вполне определенно, что сегодня все идет не как всегда. И понять это можно было как «и непонятно, что из этого выйдет». Казинс прервал свою работу — в левую руку взял стаканчик, а запястьем правой покрутил, как это делала Тереза. Руку уже сводило судорогой.

Фикс Китинг стоял в дверях и смотрел на Казинса так, будто читал его мысли.

— Дик сказал, что теперь моя вахта.

Он был не то чтобы здоровяк, но сразу видно, что крепок и весь как на пружинах и что каждый божий день высматривает на улице драку, чтобы немедля ввязаться. Копы-ирландцы — они такие.

— Вы — хозяин, — отозвался Казинс. — Не пристало хозяину на кухне с апельсинами торчать.

— А вы — гость, — сказал на это Фикс и взял нож. — Вам надо веселиться вместе со всеми.

Но Казинс всегда сторонился многолюдия. Если бы на эту вечеринку его вытащила Тереза, он пробыл бы здесь минут двадцать, никак не больше.

— Тут от меня проку больше, — ответил он.

Снял верхнюю крышку соковыжималки, выскреб мякоть, забившую глубокие желобки, а потом перелил сок из нижней половины в зеленый пластмассовый кувшин. Какое-то время двое мужчин молча трудились бок о бок, один — по уши в мечтаниях о жене другого. И в ту минуту, когда Казинс будто наяву почувствовал, как она льнет к нему, как гладит его щеку, а его рука ползет вверх по ее бедру, он вдруг услышал:

— Все, вспомнил.

— Что именно?

Фикс продолжал разрезать апельсины, причем лезвие ножа двигал к себе, а не от себя.

— Угонщик.

— То есть?

— Вспомнил, откуда я вас знаю. Как только вы вошли, стал соображать. И только сейчас вспомнил — это было два года назад. Фамилию забыл, а угонял он исключительно красные «эль-камино».

Подробности какого-то конкретного автоугона Казинс мог держать в памяти разве что месяц, а при большой загрузке они вылетали из головы уже через неделю. Здесь угоны были хлебом насущным, да притом — с маслом. Не угоняли бы в Лос-Анджелесе машины, полицейские и прокурорские целыми днями играли бы на рабочих местах в бридж, дожидаясь убийства. Машины — и угнанные «как есть», и разобранные на запчасти — все сливались для Казинса воедино, и все злоумышленники казались на одно лицо и забывались. Все, кроме того, что крал красные «эль-камино».

— Д'Агостино, — произнес он и еще повторил это имя, потому что решительно не понимал, из каких закоулков памяти оно выскочило. Объяснений этому не было, просто такой уж выдался день.

Фикс одобрительно покивал:

— Вот ведь... А я — ну, хоть убей — ни за что бы имени не вспомнил. А самого парня помню. Он считал, что это признак класса — угонять машины одной марки.

В этот миг перед мысленным взором Казинса словно открылось дело.

— Предоставленный штатом адвокат жаловался, что розыск проводился с нарушениями. Все автомобили находились в каком-то пакгаузе, что ли... А вот где именно? — Он на миг задержал руку, крутившую апельсин, и закрыл глаза, чтобы сосредоточиться. Не вышло. — Нет, не вспомню.

— В Анахайме.

— Ни за что бы не вспомнил.

— Да ладно! Вы же им занимались.

Однако чем кончился суд, Казинс тоже забыл. Можно забыть защитника, и вменяемое преступление, и уж, разумеется, полицейских,

но зато приговоры он всегда помнил так же отчетливо, как помнит боксер, от кого получил нокаут и кого вырубил сам.

— Его закатали, — сказал он, мысленно побившись с самим собой об заклад, что дурню, который угоняет исключительно красные «эль-камино», наверняка впаяли реальный срок.

Фикс кивнул, не в силах сдержать улыбку. Ну, разумеется, угонщик загремел. А если бы прокурорский напрягся немного — вспомнил бы, что засадили они его вместе.

— А-а, вы расследовали тот угон, — сказал Казинс. И ясно вспомнил его в зале суда — в коричневом костюме. В таком детективы всегда приходят на заседание, будто он у них один на всех.

— Я только задержание произвел, — ответил Фикс. — Я пока еще не следователь. Но скоро, кажется, буду.

— У вас есть «список смертников»? — спросил Казинс, чтобы произвести впечатление на собеседника, хоть и не понимал, зачем ему это. Имелось в виду: я хоть и сотрудник прокуратуры в немалом ранге, однако знаю, как копы набирают очки. Фикс, однако, никакой подоплеки в вопросе не уловил. Вытер руки, вытянул из заднего кармана бумажник и стал перебирать его содержимое.

— Четырнадцать, — сказал он и протянул список Казинсу, который, прежде чем взять, тоже вытер руки.

На вдвое сложенном листке бумаги с напечатанными внизу словами «Фрэнсис Хавьер Китинг» имен значилось не четырнадцать, а гораздо больше — около тридцати, наверно, но половина была аккуратно зачеркнута и тем самым как бы знаменовала служебные успехи Фикса.

— О господи, — сказал Китинг. — Столько покойников?

— Почему покойников? — Фикс взял листок и проглядел перечеркнутые имена. — Ну да, кое-кто уже на том свете. А остальные либо масть сменили, либо завязали, либо сгнули куда-то. Да какая разница: так или иначе выбыли.

В дверном проеме возникли две пожилые дамы, в нарядных «церковных» платьях, но без шляпок. Когда Фикс повернулся к ним, они синхронно ему помахали.

— Бар еще открыт? — спросила та, что была пониже. И для полного правдоподобия даже икнула, отчего ее подруга зашлась смехом.

— Моя матушка, — сказал Фикс, а потом представил и вторую даму — крашеную блондинку с веселым открытым лицом: — Моя теща. А это — Эл Казинс.

Казинс снова вытер руку и протянул поочередно одной и другой:

— Берт, очень приятно. Что будем пить, леди?

— Что осталось, то и будем, — ответила теща. Лишь туманный намек на красоту дочери угадывался в ее осанке, в строгой манере держать плечи, в линии длинной шеи. До чего же бесчеловечно обходится с женщинами время.

Казинс взял первую попавшуюся под руку бутылку — это оказался бурбон, и, смешав его с соком, наполнил два стаканчика.

— Отличная вечеринка получилась, — заметил он. — Там все еще идет веселье до упаду?

— Я думаю, все просто заждались, — сказала мать, принимая стаканчик.

— Ты ненормальная, — ласково сказала теща.

— Вовсе нет, — возразила мать. — Я — предусмотрительная. И тебе советую.

— Чего заждались? — спросил Казинс, передавая дамам следующую порцию.

— Крещения, — пояснил Фикс. — Мама боялась, что малышка умрет некрещеной.

— Она что — болела? — удивился Казинс. Сам он воспитывался, как принято говорить, в лоне епископальной церкви, хотя давно отошел от нее. И насколько он помнил, усопшим младенцам полагался рай, даже если они не успели воспринять таинство крещения.

— Она здорова, — ответил Фикс. — Вполне.

Мать пожала плечами:

— Да откуда ты знаешь? Неизвестно, что происходит внутри грудного младенца. Тебя и твоих братьев окрестили, когда вам не было еще месяца. А этой девочке, — обратилась она к Казинсу, — скоро год. На нее даже не налезла наша семейная крестильная рубашечка.

— В этом, конечно, все дело, — сказал Фикс.

Мать, снова передернув плечами, одним глотком расправилась со своим коктейлем и, будто в недоумении, встряхнула опустевший бумажный стаканчик. Льда в нем уже не было, а меж тем только он

заставляет людей пить помедленней. Казинс взял у нее стаканчик и наполнил снова.

— Ребенок сейчас с кем-то? — сказал Фикс, и это прозвучало не вопросом, а утверждением.

— Кто с кем-то? — переспросила мать.

— Ребенок.

Полузакрыв глаза, она призадумалась ненадолго, потом кивнула, но ответила вместо нее — без уверенности в голосе — теща:

— С кем-то.

— А вот как это так получается, — заговорила мать, потеряв интерес к ребенку, — что мужчины весь вечер торчат на кухне, выжимают сок, смешивают... однако им и в голову не приходит приготовить чего-нибудь поесть? — Она уперлась взглядом в сына.

— Понятия не имею, — сказал тот.

Она перевела взгляд на Казинса, но и он лишь покачал головой. Раздосадованные дамы повернулись как по команде и со стаканчиками в руках выплыли из кухни.

— Она отчасти права, — заметил Казинс. Он чувствовал, что, хоть и проголодался и был бы не прочь съесть сейчас сэндвич-другой, сам бы ни за что не стал готовить. А потому налил себе и выпил.

Фикс вновь взялся резать апельсины. Действовал он аккуратно и не спеша, даже в подпитии не желая отхватить себе палец.

— У вас дети есть? — спросил он.

— Трое и один на подходе.

Фикс присвистнул:

— Без дела, значит, не сидите.

Интересно, подумал Казинс, он имеет в виду «без дела не сидите — с детьми возитесь» или «без дела не сидите — жену трахаете»? Понимай как хочешь. Он швырнул выжатую половину апельсина в раковину, и без того уже переполненную кожурой. И снова завертел кистью.

— Передохните, — сказал Фикс.

— Да я уже.

— Ну, еще передохните. Соку мы заготовили выше крыши, а судя по состоянию даже этих милых дам, прочие гости на кухню не сунутся, потому что дороги не найдут.

— А где Дик?

— Ушел. Сбежал вместе с женой.

Ему-то есть куда сбежать, подумал Казинс, вспомнив собственную жену и царящий в доме ор и бедлам.

— А который час, между прочим?

Фикс посмотрел на свои «Жирар-Перрего» — часы получше тех, какие может позволить себе коп. Было без четверти четыре, то есть Казинс даже по самым мягким прикидкам проторчал тут по меньшей мере на два часа больше, чем собирался.

— О, господи, мне давным-давно пора быть дома. — Он вспомнил, что совершенно точно обещал Терезе вернуться не позже полудня.

— Да всем в этом доме, кроме моей жены и моих дочек, давно пора, — кивнул Фикс. — Слушайте, сделайте доброе дело — выясните, где ребенок. Где и, главное, с кем. Если пойду искать я, начнутся тары-бары с гостями, и раньше полуночи я свою крошку не найду. Пройдитесь по комнатам, ладно? Проверьте, не оставила ли ее какая-нибудь пьянь без присмотра.

— А как я ее узнаю? — осведомился Казинс, сообразив, что в глаза не видел виновницу торжества, а детей в этом ирландском доме, должно быть, прорва.

— Кроме нее тут грудных нет, — ответил Фикс с неожиданной резкостью, как дурачку, которому именно по причине умственной убогости и пришлось поступить на службу не в полицию, а в прокуратуру. — И самая нарядная. Это ради нее праздник.

Толпа колыхалась вокруг Казинса, расступалась перед ним и смыкалась, втягивала его в себя и выталкивала прочь. В столовой на опустошенных тарелках не осталось ни единого крекера или морковной палочки. Голоса, музыка, пьяный смех сливались в единый неразборчивый гул, откуда вдруг изредка вырывалось членораздельное слово или отчетливая фраза: «Представляешь, она все это время была у него в багажнике!» Где-то в отдалении, в коридоре, невидимая женщина изнемогала от смеха и, задыхаясь, просила: «Ну хватит, ну перестань!» Детей здесь было полно, и кое-кто вытягивал стаканчики из пальцев у размякших взрослых и допивал содержимое. Но годовалые младенцы Казинсу что-то не попадались. В доме было жарко, и детективы снимали пиджаки, отчего на поясах и под

мышками обнаружались служебные револьверы. Казинс удивился, как это он раньше не замечал, что половина гостей вооружена. Через открытые стеклянные двери он прошел на задний двор, бросил взгляд на залитое послеполуденным светом предместье Дауни, посмотрел на небо, где не было и вовек не будет ни единого облачка. Увидел своего нового приятеля-священника, застывшего с хозяйкиной сестрой в объятиях, словно оба, утомившись от нескончаемого танца, заснули стоя. Мужчины сидели на раскладных стульях и вели беседу — многие с женщинами на коленях. А женщины — все, кто попался ему на глаза, — на каком-то этапе празднования скинули туфли и теперь безнадежно губили чулки. Ни у кого на руках не было ребенка. На подъездной дорожке ребенка тоже не было. Казинс вошел в гараж, щелкнул выключателем. На двух вбитых в стену крюках висела лестница, на полках по ранжиру выстроились чистенькие банки с краской. И лопата, и грабли, и мотки шнуров-удлинителей, и стеллаж с инструментами — все на своем месте, и место нашлось всему. Посередине, на чистом цементном полу стоял чистенький темно-синий «пежо». У Фикса Китинга детей меньше, а часы — дороже, а машина — иностранной марки, а жена — привлекательней. Сильно привлекательней. А ведь он даже еще не следователь. И если бы кому-нибудь сейчас взбрело в голову спросить Казинса, что он обо всем этом думает, Казинс сказал бы, что все это наводит на подозрения.

Он принялся внимательно рассматривать автомобильчик, выглядевший очень эротично уже в силу своей французской породы, и тут вспомнил, что ищет пропавшего младенца. И подумал о собственной малышке — о Джанетт, которая только-только начала ходить. Лоб у нее со вчерашнего дня, когда она стукнулась о стекло, был заклеен пластырем, и Казинс похолодел от одной мысли, что было бы, будь она вверена его попечению. Крошка Джанетт, где она? Где он ее оставил? Тереза же знает, что он не умеет управляться с детьми. А потому не должна давать ему такие поручения. Но когда, отправляясь на поиски Джанетт, Казинс вышел из гаража, чувствуя, как сердце у него колотится о ребра, словно хочет выскочить и побежать впереди, то увидел гостей на крестинах у Фикса Китинга. И вспомнил, и остановился еще на миг в дверях, чувствуя облегчение, смешанное со стыдом. Он никого не потерял.

А взглянув вверх, заметил, что свет меняется. Надо бы сказать Фиксу, что ему пора домой и вообще хватает хлопот и со своими детьми. Он вошел в дом и стал искать ванную. Прежде чем нашел, два раза по ошибке чуть не вломился в стенной шкаф. В ванной, прежде чем выйти, бросил в лицо несколько пригоршней холодной воды. Напротив оказалась еще одна дверь. Откуда их столько взялось в небольшом вроде бы доме? Он повернул ручку, вошел и оказался в тускло освещенной комнате. Занавески были задернуты. Это была детская, причем для девочки: розовый ковер, розовые обои с толстенькими кроликами. Она была чем-то похожа на детскую в его собственном доме, которую Холли делила с Джанетт. В углу Казинс увидел двуспальную кровать, а на ней — трех спящих девочек, они переплелись ногами, запутались пальцами друг у друга в волосах. А Беверли Китинг, стоявшую с младенцем на руках у пеленального столика, заметил не сразу. Она посмотрела на Казинса, и по лицу ее скользнула улыбка припоминания.

— Я вас знаю.

Она — или ее красота — опять ошеломили его.

— Извините, — сказал он и взялся за ручку двери.

— Да их не разбудишь. — Она показала подбородком на спящих девочек. — По-моему, они перепились. Я их по одной перетащила сюда, и никто не проснулся.

Он подошел поближе и взглянул на девочек — самой старшей было не больше пяти. И поневоле залюбовался видом спящих детей.

— Тут и ваша есть?

Все три девочки были немного похожи. И ни одна не напоминала Беверли Китинг.

— Моя — в розовом платье, — ответила она, всецело занятая подгузником, который держала в руках. — А две другие — ее двоюродные сестры. — Беверли улыбнулась ему. — Разве вам не поручили заниматься напитками?

— Спенсер оставил свой пост, — сказал Казинс, хотя его спросили не об этом. Он не помнил, когда в последний раз так волновался — раньше такого не случалось ни перед присяжными, ни перед подсудимыми, и уж точно не случалось перед женщиной с подгузником в руках. Казинс снова взглянул на нее — Ваш муж попросил найти ребенка.

Поправив на девочке платье, Беверли подняла ее над столом:

— Ну, вот она и нашлась. — И потерлась носом о ее носик, отчего девочка улыбнулась, а потом зевнула. — Кое-кому давным-давно пора спать.

Беверли повернулась было к кровати, но Казинс сказал:

— Пока не уложили, дайте ее мне на минутку. Фиксу покажу.

Беверли Китинг слегка склонила голову набок и как-то странно поглядела на него:

— Зачем это она вдруг понадобилась Фиксу?

Все сошлось в тот миг — ее бледно-розовые губы в розовой полутьме комнаты, закрытая дверь, хоть он и не помнил, что закрывал, аромат духов, неведомым образом сумевший пробиться сквозь знакомый запах испачканных пеленок. А Фикс просил принести ему дочку или всего лишь найти ее? Да какая разница. И он ответил, что не знает, а потом шагнул к ней — к сиянию, которое, казалось, испускало ее желтое платье. Протянул руки, и она с ребенком вместе вступила в их кольцо.

— Ну, берите же, — сказала она. — У вас дети есть? Но в следующий миг оказалась совсем близко и подняла к нему лицо. Перехватывая, он подсунул одну руку под спину девочки, и рука сама собой оказалась под грудью ее матери. Беверли родила меньше года назад, и Казинс, хоть и не знал, как она выглядела раньше, представить себе не мог, что можно выглядеть лучше. Тереза совершенно за собой не следила. И говорила, что это невозможно, когда рожает одного за другим. Может, познакомить их, чтобы жена на живом примере могла убедиться: если постараться, то очень даже возможно? Да ну ее. Ему совершенно не хотелось знакомить Терезу с Беверли Китинг. Свободной рукой он обхватил ее за спину, ощутил под пальцами молнию платья. Джин с апельсиновым соком — поистине колдовское зелье. Девочка покачивалась между ними, и он поцеловал Беверли. Вот, значит, как повернулся сегодняшний день. Закрыв глаза, он длил поцелуй, пока тот электрический разряд, который проскакивал меж ними там, на кухне, не пробежал дрожью по хребту. Свободной рукой Беверли обвила его талию, кончик ее языка скользнул меж его зубов. Произошло что-то почти неуловимое. Он почувствовал это, но она отступила. Девочка осталась на руках у Казинса, потом, покраснев от

натуги, заверещала пронзительно, но коротко, а потом икнула и приникла к Казинсу.

— Так мы ее задавим, — засмеялась Беверли и наклонилась к детскому личику. — Ты уж извини нас.

Он держал ребенка на руках — знакомая невесомая тяжесть. Беверли взяла с пеленального стола мягкую тряпочку и вытерла Казинсу губы.

— Помада, — сказала она и, подавшись вперед, снова поцеловала его.

— Ты... — начал он и осекся: так много всякого теснилось в голове, что трудно было выбрать что-нибудь одно.

— Я пьяная, — сказала она и улыбнулась. — Пьяная, вот и все. Неси ребеночка Фиксу. И скажи, что я приду через минуту. — И наставила на него палец. — А о прочем убедительная просьба не распространяться, — и снова засмеялась.

Казинс наконец осознал то, о чем начал догадываться с первой минуты, как только увидел ее — когда она заглянула на кухню и окликнула мужа. С этой минуты началась его жизнь.

— Иди, — сказала Беверли.

Она отпустила ребенка. Прошла в другой конец комнаты и принялась устраивать поудобней спящих девочек. Он еще минуту простоял у закрытой двери, не сводя глаз с Беверли.

— Что? — спросила она уже безо всякой игривости.

— Замечательный вышел праздник, — сказал Казинс.

— Не то слово.

У Фикса был лишь один резон послать его на поиски ребенка — Казинса никто из гостей не знал и, значит, ему было легче и проще пробиваться сквозь толпу. Казинс понял это только в ту минуту, когда все дружно уставились на него. Тонкая, как прутик, и даже загаром схожая с древесной корой женщина шагнула навстречу и, вскричав: «Вот она!» — наклонилась поцеловать обрамлявшие личико ребенка золотистые кудряшки, оставив на лбу у девочки след от губной помады. Ойкнула и пальцем попыталась стереть пятно, отчего малышка сморщилась, готовясь заплакать.

— Простите. — Женщина взглянула на Казинса и улыбнулась ему. — Фиксу не говорите, что это я, ладно?

Ему было нетрудно пообещать — эту загорелую он никогда прежде не видел.

— А вот и наша девочка. — Какой-то мужчина улыбнулся ребенку и похлопал Казинса по плечу.

За кого они его принимают? Никто не спросил, кто он такой. Один Дик Спенсер знал его тут — и тот убрался восвояси. Покуда Казинс лавировал сквозь толпу на кухню, его снова и снова на каждом шагу останавливали и окружали. Вокруг только и было слышно: «Ах ты лапочка!», «Привет-привет, моя красавица!». А девочка вправду была чудесная — теперь, при свете, он и сам это видел. Вылитая мама, и кожа такая же, и глазки широко расставлены — слышалось со всех сторон. Ну, копия Беверли. Он держал ее на сгибе руки. Девочка то приоткрывала глаза — сверкающие синие маячки, — то снова закрывала, будто проверяла, по-прежнему ли она у него на руках. Ей было уютно и удобно там, как любому из его собственных детей. Он умел держать их.

— Вы ей явно нравитесь, — сказал человек с кобурой под мышкой.

На кухне курили несколько женщин. И пепел стряхивали в чашки — верный признак того, что увеселились вконец. Теперь оставалось только ждать, когда мужья скажут им, что пора по домам.

— О-о, кто пришел... — протянула одна, и все уставились на Казинса.

— А где Фикс? — спросил тот.

— Не знаю, — пожалла плечами женщина. — Вы уходите собрались? Давайте я возьму. — И протянула руки.

Однако он не собирался доверять ребенка первым встречным и со словами: «Я его поищу» — попятился.

Казинсу казалось, что он уже целый час кружит по дому Китингов, отыскивая сначала дочку Фикса, а потом его самого. Наконец хозяин обнаружился на заднем дворе, где беседовал со священником. Девушки, с которой тот танцевал, нигде видно не было. Людей на лужайке, да и не только на лужайке, заметно поубавилось. И солнечные лучи пробивались сквозь ветви апельсиновых деревьев уже сильно наискосок. Высоко над головой Казинс увидел единственный уцелевший апельсин, который непонятно как проглядели в угаре

соковыжимания, привстал на цыпочки, высвободил одну руку — девочка покачивалась у него на другой — и сорвал.

— Господи, — сказал Фикс, вскинув на него глаза. — Где ж вас носило-то?

— Вас искал, — ответил Казинс.

— Да я все время тут был.

«В следующий раз вот сам себя и ищи» — чуть было не вырвалось у Казинса, но он совладал с собой:

— Тут, но не там, где я вас оставил.

Фикс поднялся и принял ребенка без изъявлений благодарности и прочих церемоний. В ходе передачи девочка недовольно пискнула, но сейчас же прильнула к отцовской груди и заснула. Рука у Казинса лишилась привычной уже тяжести, и ему не понравилось это ощущение. Сильно не понравилось. Фикс заметил пятнышко на лбу дочери.

— Ее что — роняли?

— Это губная помада.

— Ну-у, — сказал пастор, собирая себя со стула, — вот и мне пора. Через полчаса у нас в церкви будут угощать спагетти. Всех приглашаю.

Они попрощались, и отец Джо Майк в окружении свиты прихожан прошествовал к воротам, как святой Патрик Даунийский. Паства махала Фиксу на прощание и желала доброго вечера. Был еще не вечер, но и уже не день. Вечеринка затянулись.

Казинс выждал еще минутку в надежде, что Беверли, верная своему слову, придет за ребенком, но она все не приходила, а вот ему давным-давно пора было уходить.

— Я так и не знаю, как ее зовут, — сказал он.

— Франсис.

— Правда? — Казинс снова взглянул на милостивую малютку. — Вы дали ей свое имя?

Фикс кивнул:

— Сколько носов было разбито из-за него в детстве. Каждый пацан в округе считал своим долгом сообщить мне, что у меня девчачье имя. Ну вот я и решил назвать дочку Франсис.

— А если бы мальчик родился?

— Мальчика я бы назвал Фрэнсисом, — сказал Фикс, и Казинс снова почувствовал себя идиотом. — Первую нашу мы назвали в честь дочки Кеннеди. Я думал, ну и ладно... Подождем, думал, но вот... — Фикс замолчал и взглянул на ребенка. Между рождением первой и второй дочери у Беверли случился выкидыш на позднем сроке. Ваше счастье, говорил им потом доктор, что смогла вторую выносить, но не рассказывать же об этом заместителю окружного прокурора. — Так оно и вышло.

— Славное имя, — сказал Казинс, хотя на самом деле подумал: повезло малышке, что не родилась мальчиком.

— А у вас как? — спросил Фикс. — Дома небось Альберт-младший?

— Сына зовут Кэлвин. Кэл. И ни одну из дочек Альбертой не назвали.

— Вы сказали — еще одного ждете?

— В декабре, — ответил Казинс, и ему вспомнилось, как перед рождением Кэла они с Терезой, лежа в темной спальне, перебирали имена. Одно забраковали, потому что так звали мальчика, с которым Тереза училась в начальной школе: рубашка у него вечно была в пятнах, он грыз ногти и был всеобщим посмешищем. Другое не понравилось Казинсу — напомнило одного неприятного паренька из детства, хулигана. Но потом добрались до Кэла, и обоим понравилось. Примерно так же выбирали они имя для Холли. Кажется, потратили меньше времени и, кажется, не обсуждали это в постели, когда ее голова лежала на его плече, а его рука — у нее на животе, но придумали вместе. И не в чью-то честь или в память, а просто дали девочке это имя, потому что решили: оно красивое. А Джанетт? Он не помнил, чтобы они вообще обсуждали, как ее назвать. Он опоздал тогда в клинику — единственный раз — и, если память ему не изменяла, как только вошел в палату, Тереза сказала: «Это Джанетт». Но если бы Казинса спросили, он сказал бы, что хочет Дафну. Теперь надо обсудить, как назвать следующего. По крайней мере будет о чем поговорить.

— Назовите Альбертом, — сказал Фикс.

— Это если мальчик.

— Мальчик и будет. Обязательно.

Казинс взглянул, как спит Франсис на руках у отца, и подумал, что ничего страшного, если родится еще одна девочка. Но если все-таки окажется мальчик, можно будет назвать его Альбертом.

— Вы уверены?

— Абсолютно, — ответил Фикс.

Он так и не рассказал об этом Терезе, но в клинике, в комнате ожидания заполнил свидетельство о рождении — Альберт Джон Казинс — как бы на самого себя. Терезе никогда особо не нравилось имя мужа, но возможности оспорить принятое Казинсом решение ей не представилось. И, вернувшись домой, она стала называть сына Элби — «Эл-биии». Казинс возражал, но делать было нечего. И правда — что он мог сделать? Другим детям понравилось. И они тоже стали называть брата Элби.

— Так ты говоришь, это ты назвал его Элби? — спросила Франни.

— Нет, не я, — ответил ее отец, пока они следом за медсестрой шли по длинному, ярко освещенному холлу. — Я бы никогда не допустил, чтобы Элби досталось такое дурацкое имя. Будь уверена — очень многие проблемы этого мальчика берут начало в его имени.

— Все же, наверно, дело не только в его имени, — сказала Франни, вспомнив все, что знала о сводном брате.

— А тебе известно, что я вытащил его однажды из изолятора для несовершеннолетних? В четырнадцать лет он попытался поджечь школу.

— Я помню, — сказала Франни.

— Мама позвонила мне и попросила помочь. — Он постучал себя по груди. — Меня попросила. И сказала, что это — ради нее... Можно подумать, мне хочется что-то делать ради нее. Если вспомнить, сколько у Берта знакомых копов в Лос-Анджелесе, поневоле удивишься, зачем я им сдался.

— Ты помог Элби. Он был тогда мальчишкой, и ты помог ему. Так что — все правильно.

— Он даже толком не знал, как устроить нормальный пожар. Я вытащил его из колонии и привез к твоему дядюшке Тому, который в ту пору перевелся в Лос-Анджелес и служил в пожарной охране. И сказал ему так: «Ты хотел спалить школу, полную детей, — ну так вот: здесь работают ребята, которые могут научить тебя, как это делается». И знаешь, что он мне ответил?

— Знаю, — вздохнула Франни, не упомянув, что, во-первых, в здании никого не было, а во-вторых, Элби справился с задачей прекрасно. Что-что, а обращаться с огнем он умел.

— Он сказал, что ему это больше не интересно. — Фикс остановился, отчего остановились сперва Франни, а потом, поджидая их, и медсестра. — Но его так теперь уже не зовут, верно ведь?

— Элби? Не знаю... Я всегда звала его так.

— Я стараюсь не слушать, — сказала Дженни. Так звали сестру. Это имя значилось на бирке, прицепленной к халату, но посетители и без того знали, что она — Дженни.

— Да слушайте себе на здоровье, — сказал Фикс. — Но мы попытаемся рассказывать что-нибудь поинтереснее.

— Как вы себя чувствуете сегодня, мистер Китинг? — спросила Дженни. Фикс приехал в Медицинский центр Калифорнийского университета на сеанс химиотерапии, так что вопрос был задан не из вежливости. Скажешь «неважно» — тебя отправят домой, и вся процедура отодвинется в неопределенное будущее.

— Блеск, — ответил он, беря под руку Франни. — Блещу, как свет на воде.

Дженни рассмеялась, и все трое оказались в просторном помещении, где сидели две женщины в чем-то вроде тюрбанов на головах и с градусниками во рту. Одна устало кивнула вошедшим, другая так и смотрела перед собой. Входили и выходили медсестры в разноцветной форме — яркие, как набор леденцов. Фикс уселся, Дженни дала ему термометр и надела на предплечье манжету тонометра. Франни заняла свободный стул рядом с отцом.

— Ну, если вернуться на минутку к истокам, неужели вы с Бертом еще до рождения ребенка обсуждали, как его назвать? — Историю про пожар и про телефонный звонок, последовавший за этим, Франни слышала сотни раз, а вот про имя почему-то никогда.

Фикс вытащил изо рта термометр:

— Ну уж не после.

— Эй-эй! — сказала Дженни, и Фикс покорно вернул термометр на прежнее место.

— Просто не верится, — покачала головой Франни.

Фикс перевел глаза на Дженни, которая как раз снимала ему манжету, и сестра пришла на помощь:

— Во что не верится?

— Да во все! Что ты с Бертом готовил коктейли, что ты с Бертом разговаривал, что ты с Бертом познакомился раньше, чем мама.

— Девяносто восемь ровно, — сказала Дженни и выбросила пластиковый чехольчик градусника в урну. Потом вытянула из кармана халата ярко-розовый жгут и стянула им руку Фиксу выше локтя.

— Ну, разумеется, я знал Берта раньше, — сказал он, словно оскорбившись недоверием Франни. — Как бы иначе твоя мать с ним повстречалась?

— Не знаю. — Этот вопрос она никогда себе не задавала. Эпохи «до Берта» ее память не сохранила. — Ну, я думала, Уоллис их свела. Ты ведь ее просто терпеть не мог.

Дженни кончиками пальцев разминала внутреннюю поверхность руки Фикса, отыскивая пока еще пригодное для вливания место.

— Мне доводилось видеть наркоманов, которые умудрялись вмазываться между пальцев ног, — заметил он едва ли не ностальгически.

— Вот и еще одна причина не брать наркоманов в процедурные сестры. — Еще немного похлопав по истонченной пергаментной коже, Дженни улыбнулась, наконец прижав вену пальцем. — Так, нашла. Сейчас немножко уколою.

Фикс даже не вздрогнул. Дженни каким-то образом удалось попасть сразу.

— Ох, Дженни, — сказал он, глядя в пробор на ее склоненной к нему голове. — Вот если бы вы всегда меня кололи.

— А вы правда так ненавидели Уоллис? — спросила Дженни, наблюдая, как сперва один, а потом другой пузырек с притертой резиновой пробкой заполняются кровью.

— Правда.

— Бедная... — Она вытянула из вены иглу и приложила на ее место ватный шарик. — Теперь — прыг на весы, и все на этом. — Фикс встал на весы и смотрел, как Дженни ногой гонит назад металлическую гирьку. Щелк-щелк, минус еще один фунт, и еще один, пока не уравновесилось на отметке 133. — Вы не забываете пить «буст»?

Когда было покончено с тем, что здесь называлось «предварительные процедуры», они прошли по тому же холлу мимо стойки сестринского поста, возле которого доктора читали сообщения на экранчиках своих телефонов. И оказались в большой, залитой солнцем комнате, где в креслах с откидной спинкой полулежали пациенты под капельницами. Кто-то выключил звук у всех телевизоров. Так больные были избавлены от рекламы, но вынужденно слушали нестройный писк мониторов. Дженни подвела Франни и Фикса к двум креслам в углу. Если учесть, как плотно была заполнена процедурная палата, это была настоящая удача. Сестры в угловое кресло хотели все, у кого оставались силы хоть чего-то хотеть.

— Ну, желаю вам по завершении хорошего дня, — сказала Дженни. Химиотерапией она не занималась. Ее дело было только подготовить пациента и верить его заботам другой сестры.

Фикс поблагодарил и, подтянувшись на руках, устроился в кресле. Откинув голову на спинку и распрямив ноги, он слегка вздохнул, как полицейский, расслабляющийся после долгой смены в патруле. И закрыл глаза. Добрых пять минут он лежал так тихо, что Франни подумала — заснул еще до начала вливания. И, пожалев, что не захватила с собой журнал из приемной, стала озираться в надежде, что кто-нибудь оставил журнал здесь, в процедурной. Но в этот миг ее отец стал рассказывать дальше.

— Уоллис дурно влияла на маму, — заговорил он, не открывая глаза. — Вечно сидела у нас на кухне и молола языком, разглагольствовала насчет женского равноправия и свободной любви. Пойми — твоя мать собственных взглядов не имела. Что ей говорили, то и повторяла. Уоллис талдычит про свободную любовь — ура свободной любви!

— Это же шестидесятые, — сказала Франни, обрадовавшись, что он не спит. — Дух времени. Не надо все валить на Уоллис.

— Хочу — и валю.

Что ж, вероятно, это было не лишено смысла. Уоллис умерла десять лет назад от рака прямой кишки, а все ее бредни о равноправии и свободной любви кончились после того, как на младших курсах колледжа она вышла замуж за Ларри. На закате дней Уоллис он заботился о жене так же бережно, как и все годы брака — подмывал, отсчитывал таблетки, менял калоприемники. В Орегон они переехали, когда Ларри перестал практиковать и продал свою оптику. Выращивали чернику, уделяли непомерное внимание своим собакам, поскольку дети и внуки посещениями их не баловали. Подруги жили на противоположных концах страны с тех пор, как Беверли в двадцать девять лет вышла замуж за Берта Казинса и отправилась в Виргинию, и поддерживали самые теплые отношения, так что переезд Уоллис ничего в их дружбе не изменил. Не все ли равно для живущего в Виргинии — Лос-Анджелес или Орегон? Можно даже сказать, они еще сильнее сблизились, потому что, кроме Ларри и собак, Уоллис и поговорить было не с кем. Теперь они переписывались по электронной почте и болтали по междугородному телефону, благо это было

бесплатно. Беверли и Уоллис разговаривали часами. Посылали друг другу подарки на день рождения, забавные открытки. Когда Беверли в третий раз вышла замуж — за Джека Дайна, — Уоллис прилетела из Орегона в Арлингтон, чтобы быть на свадьбе подружкой невесты, как когда-то на бракосочетании Беверли и Фикса (Беверли и Берт свадьбу сыграли в очень узком кругу, почти без гостей, в доме его родителей в предместье Шарлоттсвилла). Потом, когда Уоллис заболела, Беверли прилетала к ней, и они, полусидя в кровати, читали вслух стихи Джейн Кенъон. И разговаривали о том, что занимало обеих сильнее всего, — о детях и о мужьях. Уоллис любила Фикса Китинга не больше, чем он ее, и плевать хотела, что он винит ее во всех смертных грехах. Если она выдерживала гнет его неприязни, пока была жива, то уж теперь-то ей это наверняка безразлично.

— Тебе не холодно? — спросила Франни. — Я могу принести одеяло.

Фикс покачал головой:

— Сейчас — нет. Холодно станет потом. Тогда и одеяло дадут.

Франни оглядела палату, ища глазами сестру и стараясь не пялиться ни на кого из пациентов — ни на спящую с открытым ртом женщину, лысую, как новорожденная мышь, ни на подростка, тычущего в экран своего айпада, ни на мать с девочкой лет шести, которая тихо сидела рядом и что-то раскрашивала. Как переносила Уоллис эти сеансы? Сидел ли с ней Ларри или оставлял здесь одну? Приезжали ли из Лос-Анджелеса их сыновья? Надо будет не забыть спросить об этом маму.

— Что-то долго они сегодня раскачиваются, — сказала она, хотя какая, в сущности, разница. Дома ждут суп и хлеб, которые Фикс есть не станет. И Марджори будет ждать их. Они посмотрят по телевизору викторину «Jeopardy!». Франни переночует в гостевой спальне наверху.

— Никогда не торопись травиться. Таков мой девиз. Я могу сидеть здесь хоть целый день.

— Давно ль ты стал таким терпеливым?

— Слово «пациент» по-английски и значит «терпеливый». Скажи-ка лучше — так вы с Элби общаетесь?

Франни пожала плечами:

— Он время от времени дает о себе знать. — Ей в свое время приходилось так много говорить об Элби, что теперь она как бы для равновесия старалась не говорить о нем вовсе.

— А что слышно о старине Берте? Он-то как поживает?

— Все как будто в порядке.

— Ты с ним очень часто разговариваешь? — с невинным видом спросил Фикс.

— Гораздо реже, чем с тобой.

— Ты не подумай, я не ревную.

— Я и не думаю.

— Он женат сейчас?

Франни покачала головой:

— Один.

— Но вроде бы он женился в третий раз.

— У них не сложилось.

— А разве у него потом не было невесты? После третьего брака? — Фикс прекрасно знал, что Берт развелся в третий раз, но готов был слушать про это снова и снова.

— Недолго.

— Стало быть, и с невестой не выгорело?

Франни молча покачала головой.

— Досадно, — произнес Фикс, словно ему и впрямь было досадно, но он задавал ей все эти вопросы месяц назад и задаст еще через месяц, делая вид, что он совсем старый и больной, а потому не помнит их последний разговор. Фикс действительно был стар и болен, однако помнил все. «Опрашивай очевидцев», — сказал он ей по телефону, когда у нее — девчонки в ту пору — пропал из шкафчика именной браслет. Она позвонила ему из Виргинии в пять часов, то есть в два по калифорнийскому времени, как только включился льготный тариф на междугородные разговоры. Позвонила на работу, чего раньше никогда не делала, хоть у нее была его служебная визитка. Фикс уже стал к тому времени следователем и оставался ее отцом, и потому Франни решила, что уж кто-кто, а он должен знать, как найти браслет.

— Опрашивай очевидцев, — сказал он ей тогда. — Выясни, у кого какие были потом уроки и кто куда пошел. Шуму большого не поднимай, скандала не закатывай и не давай повода думать, будто ты кого-то обвиняешь, — но поговори с каждым, кто спускался в

спортзал. А потом еще раз поговори, потому что они либо что-то от тебя скрывают, либо просто в первый раз вспомнить не смогли. Если уж решила найти пропажу, надо браться за дело всерьез.

Сегодня занималась им сестра по имени Патси, крохотная вьетнамка, утопавшая в своем лавандовом халатике размера XXS. Она помахала им с другого конца переполненной палаты, как машут на вечеринке долгожданным гостям.

— Вот и вы! — воскликнула она.

— Вот и я, — ответил Фикс.

Она подошла вплотную — заплетенные в косу черные волосы дважды обвивали голову, как канат, припасенный для ситуаций по-настоящему чрезвычайных.

— Хорошо выглядите, мистер Фикс.

— Три жизненных этапа: юность, зрелость и «Хорошо выглядите, мистер Фикс».

— Это смотря где вас увидеть. На пляже, на полотенце, в плавках — там не сказала бы, что у вас отличный вид. Другое дело здесь. — Она понизила голос и обвела взглядом палату. Потом наклонилась к нему: — Здесь вы отлично выглядите.

Фикс расстегнул верхние пуговицы рубашки и открыл грудь, предоставляя ей доступ к подключичному катетеру.

— Вы знакомы с моей дочерью Франни?

— Мы знакомы, — сказала Патси и глянула на Франни, еле заметно вскинув бровь — универсальный сигнал: «Старик все забывает». Она набрала в большой шприц физиологический раствор, чтобы промыть катетер. — Ваше полное имя?

— Фрэнсис Хавьер Китинг.

— Дата рождения?

— 20 апреля 1931 года.

— Вот выигрышный билет. — Патси достала из карманов халата три пластиковые упаковки. — Оксалиплатин, 5FU, а в этом маленьком — противорвотное.

— Отлично, — кивнул Фикс. — Втыкайте.

Погожее лос-анджелесское утро скользнуло в окно седьмого этажа и заиграло на покрытом линолеумом полу. Патси убежала к сестринской стойке записать сделанные инъекции. Фикс смотрел безмолвную рекламу на экране свисавшего с потолка телевизора:

насквозь вымокшая женщина шла сквозь ливень, вокруг вспыхивали зарницы молний. Потом прекрасный незнакомец протянул ей свой зонтик, и в тот же миг дождь перестал. Улица превратилась в явленное представление какого-нибудь британского садовника о райских кущах — сплошные розы в солнечном сиянии. Волосы у женщины высохли и теперь развевались на ветру, а платье трепетало, как крылья бабочки. В верхней части экрана возникли слова «СПРОСИТЕ ВАШЕГО ДОКТОРА», словно рекламщики предвидели, что люди будут смотреть их творение без звука. Интересно, гадала Франни, это средство от депрессии, от недержания или от ломкости волос?

— Знаешь, о чем я всегда здесь думаю? — спросил Фикс.

— О Берте?

Фикс скорчил гримасу:

— Если я задал тебе вопрос о Берте и о его сыночке-пиромане, то исключительно из вежливости. Я о них и думать не думаю.

— Хорошо, папа, — сказала Франни. — А о ком ты думаешь последнее время?

— О Ломере, — ответил он. — Ты ведь не знаешь, кто это?

— Не знаю, — сказала Франни, хотя уже слышала эту историю или одну из ее версий. Мать когда-то давно рассказывала ей.

— Да, конечно, и помнить его не можешь, — покачал головой Фикс. — Хоть и сидела у него на коленях, когда он был у нас в последний раз. Он не спускал тебя с рук, даже за столом. Это было через несколько месяцев после твоих крестин. Ты была ужасно хорошенькая, Франни, просто прелесть. И все над тобой сюсюкали, отчего твоя сестричка просто бесилась. Пока ты не появилась на свет, Ломер все внимание уделял Кэролайн, а той это очень нравилось. А потом, помню, он говорит ей: «Кэролайн, и ты давай сюда, ко мне на колени, тут места хватит», а та — ни в какую. Ей невыносимо было оказаться с кем-то на равных.

— Да ладно тебе, — сказала Франни. Насколько она помнила, Кэролайн если уж хотела сидеть на коленях, то лишь у отца — даже после того, как они уехали в другой конец страны.

Фикс кивнул:

— Дети любили Ломера, все без исключения. Он их сажал к себе в машину, позволял врубать сирену, играть с наручниками. Представляешь, сейчас бы кто-нибудь пристегивал ребенка

наручниками к зеркалу заднего вида? Да его бы засудили! Детям приходилось вставать на переднем сиденье, и им это ужасно нравилось. Ломер был образцовый коп. Помню, в тот день, когда он отобедал у нас и ушел, мы с твоей мамой говорили, что как, мол, жалко, что у него нет своих детей. Нам он казался стариком, а было ему в ту пору лет двадцать восемь, что ли, или двадцать девять?

— Он был не женат?

— У него и девушки-то не было — по крайней мере, в последний год жизни. Ему сломали нос на службе во флоте, просто в лепешку расплющили, но он все равно был видный парень. Все говорили, что он — вылитый Стив Маккуин, хотя, конечно, преувеличивали, какой Маккуин с таким носом. Мама одно время мечтала свести его с Бонни, но я возражал, потому что Бонни, по моему мнению, была набитая дура. И, как оказалось, зря я тогда гнул свою линию. Мог бы спасти для мира священника.

— Может, он был гей? — предположила Франни. Фикс глянул на нее с таким удивлением, что сразу стало ясно — не понял.

— Джо Майк не был гей.

— Я про Ломера.

После этих слов Фикс закрыл глаза и довольно долго не открывал.

— Я вот в толк не возьму, что за мысли лезут тебе в голову.

— Но в этом же нет ничего страшного, — сказала Франни и тотчас пожалела о сказанном. Ну, жил да был когда-то в городе Лос-Анджелесе симпатичный коп традиционной ориентации, который и выглядел как Стив Маккуин, и детей любил, но так подружкой и не обзавелся, — какая разница, верит Франни в такое или не верит? Гей он был или не гей — Ломер уже почти пятьдесят лет как в могиле. Пакет с лекарством только что подвесили, так что им предстояло еще полтора часа сидеть здесь и разговаривать. Или молчать.

— Ну, извини, — сказала она и, не услышав ответа, тронула Фикса за руку. — Извини, говорю. Расскажи еще про Ломера.

Фикс выждал минуту, решая, то ли полелеять немного обиду, то ли махнуть рукой. По правде говоря, Франни его раздражала — вылитая Беверли, а ухаживать за собой совсем не умеет. Конский хвост на голове, штаны на завязочках, и не мажется ничем, кроме гигиенической помады. Фикса в клинике знали — иногда во время

вливания приходил его лечащий врач. Так что дочь могла бы и прихорошиться малость.

А про Ломера она не понимает самого главного. Никогда больше с тех пор, как годовалой девчонкой Франни сидела у него на коленях, в ее жизни не случилось достойного мужчины. Взять хоть того старого хрена, по которому она с ума сходила, когда была молоденькая, и который ободрал ее как липку, хоть даже ее мужа — человек он, может, и милый, но очевидно же, что женился на ней потому лишь, что его детям требовалась нянька... Ну, словом, Франни не разбиралась в мужчинах. Фикс надеялся, что его дочери встретят такого, как Ломер, но тщетно. Он ясно видел сейчас эту картину: его напарник сидит за столом с Франни на коленях, а на кухне хлопочет Беверли, такая нарядная, будто не готовит обед, а готовится на обед пойти, — и этого хватило, чтобы не открывать глаза, пока не прошел по пищеводу электрический разряд, словно волна текущей по его телу отравы внезапно ударила о край опухоли. И тогда Фикс в очередной раз вспомнил то, что постоянно забывал: он скоро умрет.

— Папа? — окликнула Франни и чуть прикоснулась к его груди — как раз в этом самом месте.

Фикс потряс головой:

— Дай еще одну подушку.

И когда она принесла подушку и подоткнула ему за спину, он начал рассказ. Все-таки Франни ради него приехала сюда из Чикаго, оставила мужа и мальчиков.

— О Ломере я тебе вот что скажу: он, скотина такая, был весельчак каких мало. Настоящее счастье было попасть с ним на наружное наблюдение. — Собственный голос показался Фиксу тихим и слабым, и он откашлялся, прежде чем продолжить: — Я специально вызывался сидеть в какой-нибудь драной колымаге до четырех утра, потому что знал — Ломер начнет свои побасенки. Я ржал так, что мне дурно делалось, и даже, бывало, просил его: завязывай, пока мы все дежурство не заporоли.

Отец Франни стал маленьким и хрупким. Рак уже добрался до его печени.

Он с ног до головы исколот: рак у него в хребте сидит,

А Ломер наш остался молод и чудо как хорош на вид.

Вот что-то такое, наверное, выдал бы Ломер на эту тему.

— Ну, перескажи мне какую-нибудь его шуточку, — попросила Франни.

Фикс улыбнулся потолку и Ломеру, сидящему рядом в машине. Так прошло несколько минут — серебристые капли медленно скатывались по пластиковым трубкам к катетеру у него в груди. Фикс покачал головой:

— Я их все уже забыл.

Но тут он немного покривил душой. Одну все-таки вспомнил.

— Ну, в общем, сидит дамочка одна дома, а тут коп стучит в дверь, — начал Ломер. В первую минуту Фикс даже не понял, что напарник рассказывает очередной анекдот. С Ломером всегда так: не знаешь, он шутит или говорит серьезно. — И у копа на поводке собака, ну, вроде бигля, или малость покрупнее, и вид у собаки страшно виноватый. Она и хочет на женщину взглянуть, и не смеет, ну и пялится в землю, словно четвертак обронила.

Да, похоже, это анекдот. Фикс вел машину. Окна были открыты. Покрякивала рация, выбрасывая закодированные инструкции, и он подкрутил ее так, что слова стали не громче потрескивания статических разрядов. У Ломера и Фикса определенного маршрута не было. Они просто патрулировали улицы. Следили за обстановкой.

— Коп явно не в своей тарелке, — продолжал Ломер. — Дело попало щекотливое. «Мэм, — говорит он, — это ваша собака?» Дама отвечает: «Моя». — «Я должен с прискорбием сообщить вам, что произошел несчастный случай — автокатастрофа. Ваш муж погиб». Ну, сам понимаешь, она горем убитая, плачет-заливается, все такое... А собака все глаза отводит. «Но, мэм, это еще не все, — выдавливает из себя коп. — Мне надо еще кое-что сказать вам». И уж чтобы ее не томить: «Ваш муж, когда мы обнаружили его тело, был э-э... совершенно голый». — «Что? Голый?» — вскрикивает дамочка. Коп кивает, прокашливается: «Тут вот еще какое дело, мэм... В машине с ним была женщина, и тоже... э-э... без одежды». Жена этак ртом делает — не то «ох!» говорит, не то просто воздух ловит. И коп

доканчивает — деваться-то ему некуда: «В машине, мэм, была и ваша собака. Создается такое впечатление, что выжить удалось ей одной». А собака смотрит на свои передние лапы, будто думает: «Да лучше бы я с ними убилась!»

Фикс свернул на Альварадо. Было 2 августа 1964 года, и, хотя время шло к девяти, еще не совсем стемнело. Лос-Анджелес пах лимоном, асфальтом и растворенными в воздухе выхлопами миллиона машин. На тротуарах возились и носились мальчишки, казалось, что все они, сколько ни есть, вовлечены в какую-то одну игру, но уже выползали на улицу и ночные твари — мелкие бандиты, проститутки, наркоманы, терзаемые своей неутолимой нуждой, участники единого рынка. Каждому здесь было что купить, или продать, или спереть. Ночь была еще очень юна, но, мало-помалу разогреваясь, вступала в свои права.

— А скажи-ка ты мне вот что, — проговорил Фикс. — Ты придумывал эту байку последние три часа, пока мы колесили по улицам, или вычитал ее в юмористическом журнальчике и приберегал для подходящего случая?

— Это не байка, — ответил Ломер, снимая солнечные очки, потому что солнца как такового больше не наблюдалось. — Все ровно так и было.

— Ага, и ты был тот самый коп.

— Нет, не я. Двоюродный брат одного знакомого.

— Ну твою же мать...

— А ты бы лучше заткнулся и дослушал до конца. Ну, стало быть, коп приносит свои соболезнования, передает даме поводок и делает ноги. Собачка волей-неволей должна войти в дом. И она все смотрит через плечо вслед копу, который уже забирается в машину. Тут хозяйка закрывает дверь и берется за собачку всерьез: «Он в самом деле был голый? Он сидел в машине голым?» — Ломер изображал не убитую горем вдову, а разъяренную супругу. — А собачка все поглядывает на дверь и явно мечтает провалиться сквозь землю. — Ломер на секунду высунулся из окна машины, всматриваясь в мальчика с баскетбольным мячом под мышкой (наверное, идет домой с площадки) и в парня, не то пьяного, не то обкуренного, что торчал на углу, запрокинув голову и разинув рот в ожидании дождя.

А когда снова повернулся к Фиксу, это был уже не он, а бигль — и этот удрученный донельзя, просто убитый раскаяньем бигль кивнул в ответ.

— А женщина? — взвился голос Ломера, снова превратившегося в даму. — Она тоже была голая?

И, опять став биглем, он, не смея поднять глаза на Фикса, кивнул.

— Ну и чем же они занимались?

Вопрос почти добил Ломера-бигля — столь мучительны были воспоминания, — но он из последних сил двумя пальцами левой руки сделал колечко и сунул в него указательный палец правой. Фикс щелкнул рычажком поворотника и приткнул патрульный автомобиль к тротуару. Он больше не мог смотреть на дорогу.

— Сексом???

Ломер скорбно кивнул.

— В машине?

Пес полужакрыл глаза и очень медленно наклонил голову.

— Где именно?

Ломер чуть приподнял подбородок, показывая на заднее сиденье. Свет не видывал бигля печальней.

— А ты что делал в это время?

Фикс захохотал, не дожидаясь развязки, а Ломерпес положил руки на воображаемый руль и стал беспокойно — беспокойно, но с неподдельным интересом — поглядывать в зеркало, стараясь увидеть, как на заднем сиденье его хозяин дрючит постороннюю женщину.

— Откуда ты все это берешь? — спросил Фикс, уже во второй раз чуть не ударившись лбом о руль. Ответа он так и не дождался, но до сих пор помнил, как буквально задышался тогда от смеха. И то, как постепенно из хохота, из рокота пролетающих мимо автомобилей, из грохота латиноамериканской музыки, доносившейся непонятно откуда, возникла цепочка цифр, выделилась из плотного потока прочих, выплюнутых радио, — их с Ломером позывные. Оба расслышали их даже по заглушенной рации, и обрадовались, хоть признаваться в этом вслух и не стали. Слишком уж тихим выдался этот вечер — подозрительно тихим. Плохо верилось, что в Лос-Анджелесе ничего не происходит, — происходит наверняка, просто они пока не в курсе. Вспыхнула «люстра», монотонно завывала сирена. Ломер давал указания, Фикс гнал машину посередине внезапно опустевшей

широкой улицы. Пешеходы застывали на тротуарах, провожая глазами черно-белый автомобиль. У обоих патрульных сердце забилося быстрее — как всегда в такие минуты. Их вызвали по поводу «нарушения общественного порядка», и это могло значить все что угодно — кому-то надоело слушать, как орут друг на друга соседи, или муж решил отстегать жену ремнем, или мальчишки забрались на крышу и стреляют по крысам, что живут на пальмах, из пневматического ружья. Это не вооруженный грабеж, не убийство, чаще всего — какая-нибудь ерунда, и все шишки валяются на того, кто вызвал полицию. Чаще всего — но не всегда.

Они промчались по Альварадо к бульвару Олимпик и скользнули в лабиринт боковых улочек. Здесь царила настоящая ночь, так что Фикс выключил сирену, хотя и оставил «люстру», и в мелькавших мимо окнах стали на дюйм-другой раздергиваться шторы — жильцы недоумевали, что стряслось и кто это сдуру вызвал копов в их тихий квартал, где у каждого найдется свой скелет в шкафу, а то и парочка. В окнах дома, куда они направлялись, свет не горел. Когда граждане понимают, что к их дому направляется полиция, граждане обычно дают себе труд подняться и повернуть выключатель. Это, в конце концов, элементарные правила приличия.

— Кажется, мы с тобой припозднились, — сказал Ломер. — Люди спать легли.

— Значит, придется разбудить.

А было ли им страшно? Позже Фикс часто спрашивал себя об этом. В последующие годы он узнал о страхе все, что только можно о нем узнать, хоть по нему было и незаметно — научился прятать чувства. Но пока Фикс работал в паре с Ломером, был уверен: в любую дверь он как войдет, так и выйдет — на своих ногах.

Тот дом был невелик и с маленьким прямоугольным двориком. И был бы неотличим от других домов на этой улице, если бы не живая изгородь из бугенвиллей, сплошь усыпанная пронзительно-розовыми, как антигистаминные таблетки, цветами.

— Откуда здесь взялось такое? — удивился Ломер, проведя рукой по листьям.

Фикс постучал в дверь — сперва костяшками пальцев, потом — фонариком. И в пульсирующем свете синей мигалки заметил, что на деревянной обшивке остаются маленькие вмятины.

— Откройте, полиция! — крикнул он, хотя это наверняка было уже известно тем, кто сидел внутри.

— Проверю, что там сзади, — сказал Ломер и, посвистывая, пошел вокруг дома, светя в окна. Фикс остался ждать. В небе над Лос-Анджелесом не было звезд, а если и были, то оставались невидимы — слишком яркое сияние испускал город. Фикс засмотрелся на тонкий молодой месяц и вдруг краем глаза заметил, что в доме загорелся свет. Это Ломер включил фонарь на крыльце и открыл дверь.

— Задняя была нараспашку, — сказал он.

— Задняя была нараспашку, — повторил Фикс.

— Что ты говоришь? — переспросила Франни. Отложив журнал, она укрыла Фикса получше. Как он и обещал, Патси принесла одеяло.

— Я заснул.

— Это от бенадрила. Зато потом зуда не будет.

Он пытался сложить воедино все — эту комнату, этот день, свою дочь, Лос-Анджелес и дом неподалеку от бульвара Олимпик.

— Задняя дверь была открыта, а парадный вход — заперт. Кто бы тут не призадумался?

— Папа, о чем ты? Какой дом? Твой — в Санта-Монике?

Фикс покачал головой:

— Дом, куда мы приехали в тот вечер, когда застрелили Ломера.

— А я думала, его застрелили на заправке, — сказала Франни. Так рассказала мать, и даже сорок лет спустя Франни отлично помнила эту историю. Мать вечно воевала с Кэролайн. Возвратившись позже «комендантского часа», или нахамив Берту, или до крови разбив Франни нос, Кэролайн неизменно заявляла, что ничего бы этого не случилось, сохрани Беверли супружескую верность. Останься Беверли с Фиксом, она, Кэролайн, была бы просто образцовым членом общества. Но раз Беверли не пожелала сделать ради воспитания дочери сущей малости, раз сама все испортила, сбежав с Бертом Казинсом, то и нечего обвинять Кэролайн, что она выросла вот такой. Старая песня. Когда разгорелся именно этот скандал, они прожили в Виргинии уже дольше, чем обе девочки — в Лос-Анджелесе, однако «если бы да кабы» уже стало главным козырем Кэролайн, и она крыла им при всяком удобном случае. Франни помнила, как они с сестрой сидели в машине, в форменных клетчатых юбочках и немнущихся

белых блузках, какие полагалось носить в школе Святого Сердца Иисусова, возвращаясь с уроков. А вот какая именно выходка Кэролайн повлекла за собой ссору и почему именно та ссора получилась такой яростной, — нет. Но все же прозвучали какие-то слова, заставившие Беверли рассказать им про Ломера.

— Все верно, — сказал отец. — Его убили на заправочной станции на Олимпике.

Франни, перегнувшись со своего стула, положила ладонь отцу на лоб. Волосы у него всегда, сколько она себя помнила, были цвета перца с солью, а после очередного курса химиотерапии выросла, всем на удивление, ослепительно-белая щетинка. Франни пригладила ее и сказала:

— Пожалуйста, расскажи про это, — и голос ее звучал еле слышно, хотя подслушивать было некому. Никому в этой комнате не было до них дела.

И Фиксу, никогда не любившему откровенничать, вдруг захотелось все объяснить ей. Так, чтобы Франни поняла.

— Домик был такой маленький, что мы сразу поняли — искать будем недолго, сразу найдем. В холле было три двери — в спальню и в ванную. Типовая планировка. Обнаружили их в первой же спальне. Отец, мать, четверо детей. Все сидели на кровати, в темноте. Когда мы зажгли верхний свет, увидели — да, они все сидят, все — даже самый маленький. Отца сильно избивали. Такое увидишь нечасто. Обычно достается женщинам, но этот малый выглядел, словно его долго волочили по скоростному шоссе — рот разорван так, что зубы видно, вместо глаза — кровоподтек, нос размазан по всему лицу. Я и сейчас вижу его так же ясно, как тебя. С ума сойти, как много я запомнил про этот дом и про тех, кто в нем находился, — все они были босые и сидели с ногами на кровати. Мы начали их опрашивать — молчат. Отец смотрел на меня одним глазом, и, помню, я все удивлялся, как он держится. Вся шея была в крови, натекающей из ушей. Можно было бы подумать, что у него от побоев лопнули барабанные перепонки, но остальные тоже нас как будто не слышали. Ломер по радиации вызвал скорую помощь и запросил подкрепление. Я все пытался их растормошить, и тут наконец старшая девочка, лет десяти на вид, сказала, что они не понимают по-английски. То есть мать и отец не понимают, а дети понимают. Три девочки и мальчик. Мальчику лет

семь-восемь. Я спросил: «Где тот, кто это сделал?» Тут они все опять словно онемели, старшая уставилась прямо перед собой, точно как ее родители, но тут младшая — я думаю, ей было столько же, сколько Кэролайн в ту пору, ну, то есть лет пять — взглянула на стенной шкаф. Даже головы не повернула, но ясно дала понять: там кто-то прячется. Старшая схватила ее за руку, стиснула со всей силы, но мы с Ломером обернулись, и Ломер открыл дверцу — и этот гад оказался там, притулился среди барахла. Шкаф был небольшой, старенький, и нашлось там все, что у этих людей имелось, включая и того гада. Он смекнул, конечно, что к чему. Понял, что не отопрется: у него была кровь на рубашке и кулаки ссажены оттого, что измолотил бедолагу. По-английски он вряд ли говорил лучше, чем люди, которых избил. Револьвер свой сунул в карман какой-то одежки в шкафу. Может быть, решил, что так не найдут, а он потом вернется и заберет. Тут как раз подъехали и скорая, и наряд. В те времена прав задержанным не зачитывали и переводчиков с испанского не вызывали. Семейство на кровати затряслось, а дети заплакали — вроде как покуда в шкафу его не было видно, все было нормально, а теперь он опять перед ними нарисовался, и они по новой завелись. Звали его Меркадо. Это мы уже после выяснили. Оказалось, такая у него была работа — выколачивать из мексиканцев долги: люди брали займы, чтобы заплатить тем, кто их нелегально переправлял к нам, а отдавать было нечем: еще не заработали. Ну вот их и лупили на глазах у детей и соседей. Сначала было как бы предупреждение, а если через неделю или две денег не отдавали, эти парни приходили снова и стреляли в голову. И все это знали.

— О, вы проснулись! — сказала Патси, и Франни от неожиданности вздрогнула. Вьетнамка сняла опустевший пластиковый контейнер — самый маленький, с противорвотным. Два другие ожидали своей очереди. — Отдохнули немножко?

— Отдохнул, — ответил Фикс, хотя явно был измучен процедурой. А может быть, своим повествованием. Или тем и другим вместе. Франни удивилась, как Патси этого не заметила — но здесь, в общем-то, все пациенты так выглядели.

Патси зевнула, прикрыв рот маленькой ручкой, затянутой в перчатку:

— Вот как-нибудь улягусь здесь, укроюсь с головой и засну. Больные часто так делают, чтобы свет глаза не резал. Никто и не догадается, что под одеялом — я.

— Я никому не скажу, — пообещал Фикс и закрыл глаза.

— Жажда не мучит? — Патси похлопала его по колену под одеялом. — Могу воды принести. Или газировки. Хотите кока-колы?

Франни только собиралась сказать, что все в порядке, как Фикс кивнул:

— Воды. Вода была бы кстати.

Патси перевела взгляд на Франни:

— А вам?

Та молча покачала головой.

Патси отправилась за водой, а Фикс открыл глаза и стал смотреть ей вслед.

— Так что же там случилось? — спросила Франни. Вот ради этого она и возила отца на химиотерапию, хотя о выздоровлении и речи быть не могло — ради драгоценных минут вместе, ради историй. Ради этого они с Кэролайн, чередуясь, летали в Лос-Анджелес — раньше они никогда не бывали с отцом подолгу. Конечно, надо было дать Марджори передышку, потому что на ее плечи легла основная тяжесть. Но главное все же было успеть услышать истории, которые Фикс иначе унесет с собой в могилу. Вечером, когда он уснет, она позвонит Кэролайн и расскажет ей о Ломере.

— Дом заполнился людьми — полиция приехала, медики. Ломер отыскал в мусоре конверт и нарисовал на обратной стороне для самой маленькой девочки какую-то зверюшку, вроде мышки. Малышка вместе с родителями угодила в нешуточную передрагу, и Ломеру было ее жалко. Отца увезли в больницу в карете скорой помощи, а мать с детьми... господи ты боже мой, мы ведь их, кажется, просто оставили в доме, где их мог спокойно прикончить другой отморозок. Я года два потом не вспоминал о них. Этого самого Меркадо мы свезли в участок и оформили задержание. Когда закончили с ним, был уже первый час ночи и нам дико хотелось кофе. А тот, что имелся в участке, был для употребления внутрь непригоден. Это Ломер так о нем всегда говорил — «для употребления внутрь непригоден». Я потом часто думал, что, если бы в участке потрудились поставить нормальную кофеварку, Ломер выпил бы чашку там... но от таких мыслей поневоле

с ума сойдешь. И мы отправились на заправку на Олимпик. Довольно близко, хотя и не то чтобы рукой подать. Тамошний хозяин на хорошие зерна денег не жалел и подручным своим наказывал чистить кофеварку как можно чаще. И водители не считали за труд проехать несколько лишних кварталов, чтобы заправиться у того малого, который варит вкусный кофе. В те времена было не так, как сейчас, когда бак залить некому, но зато поднесут чашку капучино, чтоб его. А тогда кофемашина на заправке была просто чудом техники, особенно если кофе был хороший. Ну, значит, на его кофе съезжались патрульные со всей округи, парковались и пили, а от этого еще больше водителей стало подкатывать, потому как по соседству с копами вечером оно все же безопасней. Получилась такая маленькая кофейная экосистема. На эту заправку мы и отправились. Я был за рулем. У нас было так — кто сел за руль, тот и ведет все дежурство, а кто не ведет — приносит кофе, вот Ломер и вылез. Я думаю, он не заметил, что там делалось. Он был футом в восьми или десяти от двери, когда его застрелили. А я не заметил, что там делалось, потому что делал запись в журнале. Только услышал выстрел, поднял голову — а Ломера нет. Зато парнишка за кассой стоит с поднятыми руками. А потом Меркадо обернулся и выстрелил в него тоже.

— Подожди, — сказала Франни. — Меркадо? Тот самый?

— Да, это то, что я увидел, — кивнул Фикс. — Заправка была обыкновенная, типа аквариума, с яркими огнями на крыше, так что видно было отлично: латинос, лет двадцати пяти, пять футов семь дюймов, синие штаны, белая рубашка, на рубашке кровь. Я на него перед тем два часа в участке пялился. И парень меня там тоже как следует рассмотрел. И теперь он увидел меня в окно. И выстрелил снова, но от волнения, наверно, промазал — даже машину не задел, только стекло заправочное выбил. Тут он выскочил из дверей и побежал вокруг здания на зады. Я услышал, как отъехала машина, но саму машину не видел. Зашел внутрь, а там на полу Ломер. — Фикс замолчал и задумался на миг. — Ну и вот.

— Что «вот»?

— Он был уже мертвый, — качнул головой Фикс.

— А парнишка на кассе?

— Его только через час доставили в больницу. Слишком долго везли. Умер на операционном столе. Студент был, подрабатывал на

каникулах. Всей работы — утром заправку открыть, вечером закрыть да варить кофе.

Вернулась Патси, неся два стакана с соломинками.

— Бывает, что не хочется, пока не увидишь. Здесь такое сплошь и рядом.

Франни, поблагодарив, взяла воду. Патси оказалась права — ей захотелось пить.

— Но это же безумие какое-то, — сказала она отцу, хотя именно так и рассказывала тогда в машине мать — когда его напарник погиб, на отца нашло какое-то безумие, и он не смог опознать убийцу. — Каким образом Меркадо выбрался из участка? Как он узнал, куда вы с Ломером отправились?

— Помрачение нашло, ну, или, по крайней мере, мне так потом объясняли. Вроде бы от напряжения у меня воспоминания в голове перепутались, как слайды в проекторе, и вместо одного подозреваемого померещился другой. Но тебе скажу: я видел тогда то, что видел. Своего убитого напарника. И я не знаю, как это вышло, но убийца стоял на ярком свету футах в пятнадцати от меня. Мы смотрели друг на друга, вот как сейчас мы с тобой смотрим. Когда приехали полицейские, я описал им все досконально. Я, черт возьми, назвал его имя. Вот только Хорхе Меркадо всю ночь был в камере предварительного заключения в Рампарте.

— А тот, кто застрелил Ломера?

— А того, получается, я не видел.

— Его так и не нашли?

Фикс согнул соломинку и припал к ней губами. Пить ему было трудно из-за сужения пищевода. Воду приходилось втягивать в себя буквально по капельке.

— Нашли, — ответил он наконец. — Нашли, хоть и не сразу. Все сошлось.

— Но ведь ты опознал кого-то другого?

— В полиции, но не перед судом. Один человек видел, как у заправки кто-то гнал машину с бешеной скоростью. Отыскать водителя, а потом — ствол, который он выбросил из окна, для наших ребят было делом чести. Когда кто-то убивает кассира на заправке, полиция, конечно, сложа руки сидеть не будет. Но когда кто-то убивает на заправке копа — это, понимаешь ли, совсем другая история.

— Но ведь свидетелей не было, — сказала Франни.

— Я был свидетелем.

— Разве ты не сказал сейчас, что не знал, кто это?

— До того дня не знал. Даже когда сидел напротив него в зале суда. В голове у меня ничего не прояснилось. Психиатр сказал, что как увижу его, так и узнаю. А когда я так и не узнал, он заверил, что это может произойти со временем: в один прекрасный день я проснусь — а память вернулась. — Он пожал плечами. — Но она не вернулась.

— Так как же ты выступал свидетелем?

— Услышал, при каких обстоятельствах его задержали, и сказал: «Да, это он». — Фикс устало улыбнулся дочери. — Да ты не беспокойся. Это был тот самый малый. Надо помнить, что и он меня видел из аквариума, прежде чем попытался меня подстрелить. Он меня узнал. Понял, что я и есть коп, который смотрел, как он убивает Ломера и парнишку за кассой. — Фикс потряс головой. — Черт, не вспомню, как звали того мальчика... На похоронах узнал от его матери, что он занимался плаванием и подавал большие надежды. «Многообещающий был», по ее словам. Половину того, что было со мной в жизни, я с трудом припоминаю, а вторую половину мечтаю забыть.

После гибели Ломера Беверли, хоть и пообещала Берту, что уйдет к нему, оставалась с Фиксом еще два года. Оставалась, потому что была нужна ему. В тот день в Виргинии после грандиозного скандала на обратном пути из школы мать съехала на обочину и сказала Кэролайн и Франни, чтоб не смели думать, что она вот так просто взяла да и ушла от их отца. Она задержалась на два года.

— Каким-то образом мне удалось забыть про Ломера, — сказал Фикс. — Эта история годами сидела у меня в голове, но однажды, уж не знаю как, ушла. Я больше не видел его во сне. Перестал за ланчем представлять себе, что бы он заказал сейчас. Перестал, сидя в машине, смотреть на напарника и думать, почему он — не Ломер. Совестно признаваться, но я все же должен сказать — это было огромным облегчением.

— Но теперь ты опять думаешь о нем?

— Да, конечно, — ответил Фикс. — О нем и обо всем этом. — Он поднял руку к пластиковой трубке, связывавшей его с жизнью. Улыбнулся. — С ним такого никогда не будет. Он никогда не станет

старым и больным. Но я уверен, он был бы совсем не против, спроси его кто-нибудь. И еще я уверен — раньше мы оба сказали бы: «Да, пожалуйста, господи, в восемьдесят пошли мне рак». Но теперь... — Фикс пожал плечами. — Теперь я чего-то засомневался на этот счет.

— Тебе больше повезло, — возразила Франни.

— Ты молодая еще, — сказал ей отец. — Поживи-ка с мое.

Накануне того дня, когда Берт и его без пяти минут вторая жена Беверли должны были перебраться из Калифорнии в Виргинию, он приехал в пригород Торранс и сказал своей первой жене Терезе, чтоб подумала насчет переезда вместе с ними.

— Ну, то есть не прямо сейчас, разумеется, — поправился он. — Тебе же надо будет собрать вещи, продать дом. Это, конечно, дело хлопотное, но ты все же подумай, не вернуться ли тебе в Виргинию?

Когда-то муж казался Терезе самым красивым мужчиной на свете, тогда как на деле он напоминал одну из тех горгулий, которых рассадили по карнизам Нотр-Дама отпугивать нечистую силу. Вслух Тереза этого не сказала, но по тону Берта догадалась: все, что она подумала, ясно отразилось у нее на лице.

— Слушай, — сказал Берт, — ты ведь не хотела переезжать в Лос-Анджелес. И сделала это только ради меня, причем, позволь тебе напомнить, не преминула выпить из меня ведро крови. Сейчас-то тебе что здесь делать? Отвези девочек к своим родителям, устрой в школу, а потом как-нибудь я помогу тебе найти дом.

Тереза стояла посреди кухни, которая еще недавно была их общей кухней, и теребила пояс купального халата. Кэл учился уже во втором классе, Холли пошла в детский сад, но Джанетт и Элби еще сидели дома. Дети цеплялись за ноги Берта, вереща: «Па-апа!! Па-а-апа!!» — будто Берт был аттракционом в Диснейленде. Он слегка похлопывал их по головам, как ударник — по барабанам. Наигрывал на детских макушках какую-то мелодию.

— Зачем мне переезжать в Виргинию? — спросила Тереза. Она-то знала зачем, но хотела услышать это от него.

— Так будет лучше, — ответил Берт, стрельнув глазами вниз, туда, где под каждой его ладонью устроилась милая взъерошенная головенка.

— Детям лучше — чтобы оба родителя были рядом? Чтобы безотцовщиной не расти?

— Господи боже мой, Тереза! Ты же сама родом оттуда! Я ведь не предлагаю тебе перебраться на Гавайи! Все твоё семейство в Виргинии. Ты там будешь счастливой.

— Я очень тронута твоей заботой о моем счастье.

Берт вздохнул. Опять пустые разговоры. Тереза была мастерица вот так его изводить.

— Тереза, жизнь меняется. Все нормальные люди умеют к переменам приспосабливаться. Одна ты уперлась.

Тереза налила себе из перколятора чашку кофе. Предложила и Берту, но тот молча отмахнулся.

— А мужу Беверли ты не предложил с вами переехать, а? Чтобы он мог чаще видеть своих девочек? — От общих знакомых Тереза слыхала, что мистер Казинс и свежее-вот-вот-испеченная миссис Казинс уезжают в Виргинию из опасений, что предыдущий муж счастливой невесты попытается убить Берта. Обставит дело как несчастный случай, так что концов никто не найдет. Предыдущий муж был полицейским. А полицейские — не все, но кое-кто — мастера на такие штуки.

Беседа бывших супругов была непродолжительна и окончилась тем, что Берт демонстративно вспылал. Ничего особенного, он так делал всегда, — но этого для Терезы Казинс оказалось достаточно, чтобы остаток дней провести в Лос-Анджелесе.

Тереза устроилась в окружную прокуратуру секретаршей. Двоих младших отдала в детский сад, двоих старших записала в группу продленного дня. Место Терезе предложили бывшие коллеги мужа. Прокурорских немного мучила совесть оттого, что они все так долго покрывали роман Берта, — вот и решили сделать для брошенной жены доброе дело. Но очень скоро в прокуратуре заговорили, что не худо бы новой секретарше пойти на вечерние курсы и выучиться на помощника юриста. Эта измученная, озлобленная, обиженная судьбой женщина была далеко не дура.

Берт Казинс на должности заместителя окружного прокурора зарабатывал мало, а потому должен был выплачивать очень скромные алименты. К доходам семьи он отношения формально не имел, а потому они и не учитывались. Берт подал прошение о том, чтобы дети все лето, с конца одного учебного года и до начала следующего, находились под его опекой, и ходатайство было удовлетворено. Тереза лезла вон из кожи, чтобы ему дали только две недели, но Берт был юрист, и друзья у него были юристы, а вдобавок водили дружбу с

судьей, и родители снабдили его достаточной суммой, чтобы иск Терезы, если надо будет, пролежал в суде до скончания века.

Узнав, что лета с детьми она лишилась, Тереза хотела было закатить истерику, но вдруг поняла — да это же не развод, а каникулы на Карибах! Конечно же, она любила своих детей, но, если подумать, когда три месяца в году не надо никому лечить ангину, не надо разнимать бесконечные драки, никто не канючит над ухом, что хочет в балетный кружок, на который нет ни денег, ни времени, можно не объяснять на службе, почему опоздала, и не отпрашиваться пораньше, и не выкручиваться постоянно... словом, три месяца без детей, пусть даже она никогда не признается в этом вслух, — не так уж ужасно. А если представить, как она лежит субботним утром в постели и при этом Элби не скачет через нее туда-сюда, как горнолыжник через сугроб... неплохо, совсем неплохо! А если еще и представить, как Элби скачет по новой жене Берта, а та наверняка спит в кремовой шелковой ночнушке с черными кружевами, которую и стирать-то нельзя, только в химчистку, — просто замечательно.

Пока дети были маленькие, отправлять их одних было невозможно, и приходилось что-то придумывать. Однажды с ними летела мать Беверли, в другой раз — ее сестра. Бонни при Терезе терзалась, постоянно просила прощения и не смела глядеть в глаза. Бонни была замужем за священником и потому умела чувствовать себя виноватой во всем, в чем только можно. В третий раз в роли дуэньи выступила Уоллис, подруга Беверли, — громкоголосая и улыбчивая дама в ярко-зеленом хлопчатобумажном платье. Уоллис любила детей.

— Ну, ребяташки, — сказала она четверым маленьким Казинсам. — Мы с вами умнем весь арахис на борту.

Уоллис притворилась, будто и сама — ну, надо же, как совпало — летела в тот день в Виргинию, и разве не замечательно, что они оказались в одном самолете? И все у нее вышло так легко и ловко, что Тереза расплакалась не раньше, чем вернулась из аэропорта и вошла в опустевший дом.

На обратном пути сопровождающие были со стороны Терезы — сначала мать, потом — ее любимая кузина. Берт покупал билет всякому, кому хватало отваги провести шесть часов в самолете с его детьми.

Но в 1971 году было решено, что дети уже большие и могут летать одни, иными словами — что 12-летнему Кэлу и 10-летней Холли по силам справиться с Джанетт, которой в восемь лет ни до чего не было дела, и с Элби, которому в его шесть дело было решительно до всего. В аэропорту Тереза передала им билеты, присланные Бертом, и посадила на самолет до Виргинии — причем без багажа, на что никогда бы не решилась, если бы вахту несла Бонни или Уоллис. Пусть-ка Берт покрутится, подумала она. И обеспечит детей всем необходимым, начиная с зубных щеток и пижам и далее по списку. Она передала Холли письмо для него. Всех четверых требовалось сводить к стоматологу — почистить зубы от камня, а Джанетт еще и нужно было поставить несколько пломб. Она послала Берту список детских прививок, галочками отметив те, что требовали повторной вакцинации. А то сколько можно с работы отпрашиваться, чтобы по врачам бегать! Эти доктора вечно опаздывают, иногда на полдня в клинике застрянешь. А миссис Казинс номер два на работу не ходит. Вот у нее времени хватит и по магазинам пройтись, и к зубному съездить. У Холли от уколов кружится голова. Элби укусил медсестру. Кэл отказался вылезать из машины. Она и тащила, и тянула, однако сын так растопырился в двери, что никакими силами извлечь его не удалось, и последнюю прививку они пропустили. И еще — она куда-то задевала «прививочный паспорт» Джанетт, а потому не может точно сказать, что ей кололи, а что нет. Все это она подробно изложила в письме бывшему мужу. Беверли Казинс, ты хотела моих детей? Получи и распишись.

Дети сидели по обе стороны прохода: мальчики — слева, девочки — справа, и каждому вручили значок «юного авиатора». Прикалывать его не захотел только Кэл. Все были ужасно рады, что летят на самолете и что на целых шесть часов остались без надзора. Хотя они и ненавидели расставаться с матерью — юные Казинсы были безоговорочно преданы ей, — все, включая двух самых младших, родившихся уже после того, как семья перебралась на Запад, считали себя виргинцами. И все дружно терпеть не могли Калифорнию. Всех достало пихаться и толкаться в коридорах Объединенной окружной школы Торранса. Достал автобус, подбиравший их каждое утро на углу, достал водитель, который лишние полминутки не мог подождать,

если из-за копуши Элби они не успевали. И даже любимая мама достала, потому что начинала кричать, когда они, пропустив автобус, возвращались домой. Вот теперь из-за них она опоздает на службу! Она неустанно повторяла это в машине, покуда на жуткой скорости неслась в школу: а служба ей нужна, им не прожить на деньги, что присылает им отец, и она не может себе позволить рисковать увольнением из-за того, что у них, черт возьми, не хватает ума вовремя выйти из дома. Чтобы заглушить мать, они принимались щипать Элби, и визг его заполнял машину как горчичный газ. Но больше всего их достал этот самый Элби, который уже залил все вокруг своей кока-колой и теперь сосредоточенно пинал кресло впереди. Он, он был виноват во всем. Но и Кэл их тоже достал. Мать повесила ему на шею грязный шнурок с ключом и сказала, что это его обязанность — приводить всех домой после школы и кормить обедом. Кэла это достало, он хотел отдохнуть и частенько просто запирался в доме на час, а то и больше, оставив своих сестер и брата снаружи, чтобы без помех посмотреть телевизор. Лютая погибель детям во дворе не грозила: попить они могли из садового шланга, а укрыться от солнца — под автомобильным навесом. Но когда возвращалась с работы мать, младшие с воем бросались ей навстречу и жаловались на свою несчастную долю. И ввали, что сделали уроки, — ввали все, кроме Холли: та и в самом деле всегда готовила все уроки, даже когда приходилось заниматься под автомобильным навесом, сидя на земле по-турецки. Правда, Холли и жила ради похвал, которыми ее осыпали учителя. Но их достала и Холли со своими пятерками. А не достала их одна только Джанетт — и то лишь потому, что о ней вообще никогда не думали. Она все время молчала, и внимательная мать давно бы уж спросила учителя или педиатра, не кажется ли им, что с ребенком что-то не так, — однако никому ничего не казалось. И Джанетт это достало.

Они до отказа откинули спинки кресел. Они попросили у стюардессы карты и имбирную шипучку. Они пировали в святилище самолета, не в Калифорнии, но и не в Виргинии — а больше они еще нигде не бывали.

Когда Кэролайн и Франни приезжали на лето в Калифорнию, Фикс брал недельный отпуск. А Берт, когда его дети приехали в

Виргинию, заявил Беверли, что количество записавшихся к нему на прием клиентов таинственным образом удвоилось. Берт решил, что работа в прокуратуре плохо сказывается на его нервах, и теперь занимался в Арлингтоне имущественными тяжбами, наследствами и доверительной собственностью. Просто удивительно, как вдруг такой уйме народа срочно потребовалось составить завещание в тот самый день, когда прилетали дети. Он отправил Беверли в аэропорт одну, дав ей ключи от «универсала». Надеялся встретить детей сам, но в последнюю минуту случился совершенно неожиданный наплыв посетителей, так что какой уж тут аэропорт — он всерьез опасался, что и к обеду-то не успеет. Беверли и раньше встречала детей, хотя на самом деле — вовсе даже и не их, а мать, или Бонни, или Уоллис, которые охотно соглашались слетать в гости бесплатно. Видя их на трапе, она так радовалась, что запросто могла проглядеть детей. Как славно обняться с матерью, с сестрой, с любимой подругой, а потом уже вместе, подгоняя детей, как маленькое стадо барашков, вести их на выдачу багажа, а оттуда — на подземную парковку! Беверли с нетерпением ждала поездок в аэропорт.

Но сейчас на Беверли, в одиночестве ожидавшую у «рукава», напал какой-то странный столбняк. После того как вышли все остальные пассажиры, стюардессы вывели детей Казинса, и она помахала им. Они шли лесенкой, по росту — мальчик-девочка-девочка-мальчик, — и у всех были остекленелые глаза изгнанников. Девочки вяло обнялись с ней, мальчики же просто поплелись вслед за Беверли в зону выдачи багажа. Элби распевал что-то невразумительное, и Кэл, кажется, тоже — Беверли не могла сказать точно: оба держались в отдалении. В аэропорту все радостно встречали родных и близких, и было таклюдно и так шумно, что Беверли не слышала собственных мыслей.

Они встали у багажного транспортера и принялись смотреть, как проплывают мимо чемоданы.

— Ну, как учебный год окончили? Отметки хорошие? — Беверли адресовала вопрос всем четверым, но взглянула на нее только Холли. У Холли были высшие баллы по всем предметам, за исключением литературы, по которой у нее был высший балл с плюсом. Беверли поинтересовалась, как погода в Лос-Анджелесе, покормили ли их в

самолете и вообще — хорошо ли долетели. Холли отвечала обстоятельно:

— Рейс задержался на полчаса из-за пробки на взлетной полосе. Мы были двадцать шестые в очереди на рулежку, — доложила она, вздернув свой маленький подбородок, — но ветер, по счастью, был попутный, и пилот сумел нагнать в воздухе. — Пробор в ее волосах, заплетенных в две жидкие косички, был такой кривой, словно делали его спьяну и пальцем вместо гребня.

Мальчики разбрелись в разные стороны. Она успела заметить, как Кэл встал на движущемся транспортере и принялся крутиться вместе с чемоданами из Хьюстона. Правда, секунду спустя он уже соскочил оттуда, чтобы не попасться носильщику.

— Кэл! — позвала Беверли через толпу. Она не могла кричать на него на людях и на таком расстоянии, а потому просто сказала: — Приведи сюда брата.

Но Кэл оглянулся на нее с таким видом, будто услышал, как совершенно посторонняя женщина что-то говорит кому-то, кого — надо же, какое совпадение! — тоже зовут Кэл. И отвернулся. Джанетт стояла рядом с Беверли, неотрывно глядя на ремешок своей сумочки. Интересно, этого ребенка вообще врачу показывали?

Наконец все чемоданы с челночного рейса авиакомпании TWA Лос-Анджелес — Даллас выползли на ленту транспортера и были расхвачаны пассажирами. Багажа больше не было. Толпа рассеялась, а Беверли увидела, как Элби отскребает с пола присохшую жвачку чем-то издали очень похожим на нож.

— Ну ладно, — сказала она, соображая, какие в это время дня будут пробки на обратном пути в Арлингтон. — Кажется, ваш багаж не прилетел. Ничего страшного. Нам только придется подойти к окошку и заняться кое-какой писаниной. Квитанции у вас остались? — обратилась она к Холли. Лучше переложить все на Холли — у девчонки, похоже, природный талант нравится людям. Так что вся надежда только на нее.

— Нет, квитанций у нас нету, — ответила Холли. Лицо у нее было бледное и все в веснушках, волосы темные и прямые. Вылитая Пеппи Длинный-чулок — взрослые таким девочкам умиляются, а сверстники над ними насмеваются.

— Но этого быть не может! Поищи — где-нибудь должны быть. Мама давала их тебе?

Холли начала сначала:

— Квитанций у нас нету, потому что нету багажа.

— То есть как — «нет багажа»?

— Ну, вот так. Нет — и все. — Холли просто не понимала, что тут может быть неясно.

— Вы что — забыли его в Лос-Анджелесе? Или потеряли? — Перед глазами у Беверли повисла какая-то пелена. Она смотрела на Кэла и не видела его. Видела только, что через каждые десять футов висят таблички, запрещающие садиться или вставать на ленту транспортера.

Она не заметила, что губы Холли задрожали. Холли сама считала, что лететь без вещей — глупость какая-то, но мать уверила ее, что так хочет их отец. Он купит им все новое — новую одежду, новые игрушки, новые сумки — носить домой добычу. Может, он просто забыл предупредить Беверли?

— Мы ничего с собой не взяли, — сказала Холли тихо.

Беверли не поверила своим ушам. А Берт, черт его дери, уверял, что она со всем этим в два счета справится.

— Что? — переспросила она.

Ужасно, что ее заставляют все повторять заново, непростительно, что ее заставляют. Холли уже не могла сдерживать слезы, и по веснушкам побежали два ручейка.

— У. Нас. Нет. Никаких. Вещей.

Теперь она поссорится с отцом, а ведь она его еще не видела. А еще хуже, что отец страшно разозлится на мать. Отец называл ее воплощением безответственности, но ведь это неправда!

Беверли обшаривала глазами зону выдачи. Пассажиры и встречающие уже расходились, двое пасынков куда-то пропали, одна падчерица плакала, а другая была так поглощена созерцанием винилового ремешка на своей сумке, что, право, трудно было не счесть ее слабоумной.

— Зачем тогда мы торчим здесь уже полчаса? — ровным голосом спросила Беверли. Она еще не разозлилась. Злиться она будет потом, когда осмыслит все это как следует. Сейчас же она была просто в замешательстве.

— Не знаю! — выкрикнула Холли, заливаясь слезами. Потом подолом футболки вытерла нос. — Я тут ни при чем. Это ты нас сюда привела. Я не говорила, что у нас есть багаж!

Джанетт расстегнула молнию своей сумочки, покопалась там, достала бумажный платок и протянула сестре.

С каждым годом вторая поездка Беверли в аэропорт становилась хуже — причем как раз оттого, что она всякий раз надеялась: ну, теперь-то будет лучше. Она оставляла четверых юных Казинсов дома (сперва под присмотром матери, потом — Бонни, потом — Уоллис, а в последнее время — под надзором Кэла. Ведь жили же они как-то в своем Торрансе, а Арлингтон безопасней) и мчалась в Даллас встречать своих девочек. Если дети Берта приезжали на Восток на целое лето, то Кэролайн и Франни проводили на Западе лишь две недели: одну — с Фиксом, другую — с его родителями, этого только и хватало, чтобы вспомнить, насколько же Калифорния была им милей Виргинии. Из самолета они выбирались словно на поздней стадии обезвоживания — потому что рыдали, не просыхая, весь полет. Беверли кидалась на колени, душила их в объятиях, но это было все равно что обнимать двух призраков. Кэролайн хотела жить с отцом. Она просила, она умоляла и год за годом получала отказ. И когда Беверли прижимала ее к груди, ненависть, источаемая Кэролайн, казалось, просачивается сквозь ткань ее розовой рубашки навывпуск. А Франни просто стояла и терпеливо сносила объятия. Она еще не научилась ненавидеть мать, но всякий раз, когда плакала в аэропорту, расставаясь с отцом, узнавала еще чуть больше о том, как возникает и крепнет это чувство.

Беверли расцеловала дочерей. А злючку Кэролайн, которая резко отдернула голову, — расцеловала дважды.

— Как же я рада, что вы приехали, — сказала она. Но Кэролайн и Франни были не рады, что приехали. Ни капельки не рады. В таких растрепанных чувствах барышни Китинг и прибыли в Арлингтон, где их ждала встреча со сводными братьями и сестрами.

Холли, конечно, была славная. Принялась прыгать от радости и даже в ладоши захлопала, когда они вошли в дом. Стала просить, мол, давайте устроим в гостиной вечер танцев, как прошлым летом. Вот только футболка на Холли была та самая, красная с белой

аппликацией, которую мать перед отъездом велела Кэролайн положить в коробку для бедных — дескать, она уже и мала стала, и вылиняла. Но Холли-то была не бедная!

Кэролайн жила в большой комнате с двумя двухъярусными кроватями, а Франни, как младшая, — в комнате поменьше с одной широкой кроватью. Связывала сестер Китинг не любовь и не семейная схожесть, а крохотная ванная комната, куда можно было войти из обеих спален. С сентября по май жизнь была сносной: две девочки одну ванную уж как-нибудь да поделят. Но в июне, по возвращении из Калифорнии, Кэролайн заставала в своей комнате Холли и Джанетт, с удобством расположившихся на второй двухъярусной кровати, а Франни и вовсе лишалась своей комнаты — ее отдавали мальчикам. Четыре девочки в одной комнате, два мальчика в другой — итого шесть человек: многовато на одну ванную не просторней телефонной будки.

Кэролайн и Франни поволокли свои чемоданы наверх. Их вещи — им и тащить. В открытую дверь главной спальни увидели Кэла — он развалился поперек родительской кровати, грязными ногами на подушках, и на полную громкость включил по телевизору теннис. Девочкам никогда не дозволялось входить в родительскую спальню или сидеть на кровати, даже свесив ноги на пол, а равно и смотреть телевизор без особого разрешения. Кэл неотрывно глядел на экран и сестер, кажется, вообще не заметил.

Холли же шла за Франни и Кэролайн следом, да так близко, что налетела на них, когда они остановились.

— А давайте мы вчетвером будем танцевать в белых ночных рубашках! Правда, здорово будет? Можем прямо после обеда начать репетировать. Я уже танец немножко придумала, хотите покажу?

Что касается «вчетвером», тут дело было не так просто — в наличии имелись только три танцовщицы. Джанетт будто в воздухе растворилась. Никто не заметил бы ее исчезновения, если бы вместе с ней не подевался куда-то и кот Франни, Лютик. Он не вышел поприветствовать хозяйку — а ведь ее не было две недели! Единственный вмняемый обитатель дома сгинул бесследно. Вконец замотавшаяся с детьми Беверли не могла точно вспомнить, когда видела кота в последний раз, но внезапные, отчаянные рыдания Франни заставили ее пуститься в тщательные поиски по всему дому.

Беверли нашла Джанетт — под теплым одеялом в глубине стенового шкафа (сколько же она провела тут, пока ее не хватились?). Она гладила спящего кота.

— Пусть отдает моего котика! — закричала Франни, и Беверли, наклонившись, отняла кота у Джанетт, которая лишь на полсекунды вцепилась в него — и потом отпустила. Все это время Элби неотступно следовал за Беверли, изображая «стриптиз-музыку» — так объяснили ей дети.

Бум-чика-бум, бум-бум-чика-бум.

Когда Беверли останавливалась, музыкальное сопровождение замирало. Если она делала один шаг, Элби говорил «бум» — голосом, странно чувственным для шестилетнего ребенка. Беверли честно старалась не обращать внимания, но в конце концов не выдержала. «А ну прекрати!» — рывкнула она на Элби. Тот лишь глянул на нее. Карие глаза невероятной величины, растрепанные каштановые кудри — не мальчик, а зверек из мультфильма.

— Я не шучу. — Беверли старалась говорить ровно. — Прекрати так делать сейчас же. — Она постаралась выговорить это как можно убедительнее и педагогичнее, но, когда повернулась и пошла дальше, вслед раздалось тихое «бум-чика-бум».

Беверли захотелось убить его. И от мысли, что ей захотелось убить ребенка, руки у Беверли затряслись. Она двинулась в свою комнату — запереть дверь, лечь в постель, уснуть — но уже в коридоре услышала стук теннисного мяча и рокот толпы. Беверли помялась у притолоки и произнесла как можно спокойнее:

— Кэл, уйди из моей комнаты.

Кэл глазом не повел, бровью не шевельнул.

— Еще не кончилось, — пояснил он, словно Беверли никогда раньше не видела теннис и не понимала, что, пока мячик летает, игра продолжается.

Берт считал, что детям не надо смотреть телевизор. В самом лучшем, в самом безвредном случае это пустая трата времени и бессмысленный шум. В худшем — пагубное воздействие на мозги. По его мнению, Тереза совершала большую ошибку, разрешая детям сидеть перед экраном сколько хотят. Он говорил ей, а она не слушала, как и всегда, когда дело касалось воспитания — да и вообще чего угодно. По этой причине у них с Беверли в доме был только один

телевизор, и стоял он у них в спальне, куда детям — ну, то есть ее детям — доступ был закрыт. Сейчас ей хотелось отключить его и перетащить в ту комнату, которую риэлтор назвал «для семейного досуга», хотя, кажется, ни один член семьи никогда там не бывал. Она шла по коридору. Элби следовал за ней на почтительном расстоянии, продолжая бубнить свой «бум-чика-бум». Неужели это мать его научила? От кого-то же он ее слышал? Шестилетние мальчики — даже такие, как этот, — не околачиваются по стрип-клубам. Беверли сунулась было в спальню дочерей, но там Холли читала «Ребекку».

— Беверли, а ты читала «Ребекку»? — спросила она, как только Беверли шагнула через порог, и личико ее прямо сияло. — Миссис Данверс пугает меня до смерти, но я все же дочитаю до конца. Мне вот совершенно не хотелось бы жить в Мандерли. Я в таком страшном месте ни за что бы не осталась.

Беверли слегка кивнула и ретировалась. Подумала было прилечь в комнате мальчиков, которая раньше принадлежала Франни, но там витал запах несвежего белья и невымытых волос.

Тогда она опять спустилась на первый этаж и обнаружила Кэролайн, в диком раже сновавшую по кухне: она заявила, что собирается испечь пирожные брауни и послать их отцу, которому надо же что-то есть.

— Твой отец не любит, когда кладут орехи, — сказала Беверли, сама не зная зачем. Наверно, чтобы показать, что и от нее есть толк.

— Любит! — Кэролайн обернулась так стремительно, что высыпала на стол полпакета муки. — Может, не любил, когда ты его знала, но сейчас ты его не знаешь! Теперь он любит, чтобы орехи были везде!

Элби сидел в столовой. Беверли даже из кухни, сквозь закрытую дверь слышала, как он поет. Поразительно, как он умудрился так заикнуться на этой мелодии. Франни была в гостинной — пыталась продеть передние лапы кота в рукава кукольного платья и плакала так тихо, что ее мать окончательно уверилась: все, что она сделала в своей жизни вплоть до этой минуты, было ошибкой.

Деваться от детей было некуда, спрятаться негде — места ей не нашлось бы даже в бельевом стенном шкафу, потому что после выдачи кота Джанетт шкаф так и не покинула. Беверли взяла ключи от машины и вышла на улицу. И как только закрыла за собой дверь,

словно оказалась под водой — таким плотным был хлынувший в легкие горячий воздух. Она вспомнила задний дворик в Дауни, где сиживала под вечер: Франни блаженно сопела у нее на коленях, Кэролайн раскатывала неподалеку на трехколесном велосипеде, и повсюду был одуряющий запах цветущих апельсиновых деревьев. Фиксу пришлось продать дом, чтобы выплатить ей половину их «совместно нажитого» и обеспечить алименты детям. Зачем она заставила его сделать это? Здесь, в Виргинии, так не посидишь. По пути к машине комары укусили ее пять раз, и каждый укус уже распух и превратился в волдырь размером с четвертак. У Беверли была аллергия на комаров.

В машине было не меньше 105 градусов. Беверли завела мотор, включила кондиционер, а радио выключила. Улеглась на обжигающем виниловом сиденье так, чтобы никто не мог заметить ее из окна. И подумала: стой машина не под навесом, а в гараже, вышло бы самоубийство.

Из-за того что учебный год в калифорнийских государственных школах длится немного дольше, чем в виргинских католических, между отъездом одних детей и прибытием других образовался пятидневный зазор, и Берт с Беверли оказались дома вдвоем. Как-то вечером они занялись любовью на ковре в столовой. Это оказалось не очень удобно. Беверли сильно похудела после переезда в Виргинию, позвонки и ключицы проступали под кожей так, что хоть анатомическим пособием на работу устраивайся. От каждого толчка она уезжала на четверть дюйма назад, спина елозила по грубой шерсти. Натертая кожа горела, но они все равно наслаждались своей любовной шалостью. «Мы с тобой не ошиблись», — шептал ей Берт, когда потом они лежали рядом, глядя в потолок. Беверли впервые заметила, что в люстре не хватает пяти хрустальных подвесок.

— Все, что происходило в нашей жизни, все, что мы делали, было ради того, чтобы мы с тобой встретились. — Берт стиснул ее руку.

— Ты правда в это веришь? — спросила Беверли.

— Мы наколдовали, — ответил он.

Потом, уже ночью, он втирал ей в спину неоспорин. Спала Беверли на животе. Вот такие у них получились летние каникулы.

В отношениях детей Казинсов и детей Китингов была одна примечательная особенность: они не испытывали друг к другу ненависти, но и не хранили ни грана племенной верности. Казинсы не водились исключительно со своими, а Кэролайн Китинг прекрасно могла обойтись без Франни, как и Франни без Кэролайн. Девочки, хоть и злились, что толкнутся вчетвером в одной комнате, друг на дружку не срывались. А мальчиков, которые постоянно злились вообще на все на свете, казалось, вовсе не заботило, что вокруг такая прорва девочек. Одна общая для шестерых детей черта глушила в зародыше всякую взаимную враждебность. То была неприязнь к родителям. А если точнее, ненависть.

Огорчало это обстоятельство одну только Франни, потому что Франни всегда любила мать. Когда не было этой чехарды с побывками, они иногда под вечер после школы укладывались рядом, задремывали, а порой засыпали — и сны обеим снились одни и те же. Франни любила сидеть на крышке унитаза по утрам и смотреть, как мать красится, а по вечерам — разговаривать с ней, покуда та лежала в ванне. Франни ни капли не сомневалась в том, что мать любит ее не только больше Кэролайн — больше всех на свете. Но летом Франни превращалась для Беверли просто в ребенка номер четыре, одного из шести. Когда Элби допекал ее, Беверли требовала, чтобы «все дети шли из дома», и Франни оказывалась в числе «всех». Мороженое в доме есть не полагалось. И арбуз — тоже. С каких это пор ей не доверяют есть арбуз за кухонным столом?! Это было оскорбительно, причем не только для Франни. Может, Элби и не может умять свою порцию мороженого, не заляпав пол, но остальные вполне способны справиться с такой задачей. И все равно — они все шли из дома. Выходили, шарахнув дверь, и вприпрыжку неслись вниз по улице, по горячей мостовой, как стая бродячих собак.

Четверо Казинсов-младших не винили Беверли в том, что у них такие гадостные каникулы. Винили отца — и высказали бы ему это в лицо, случись он рядом. Ни Кэл, ни Холли никак не показывали, что Беверли, по их мнению, совершает что-то запредельное (Джанетт вообще ничего никогда не говорила, что же касается Элби... ах, господи, да кто же знал, что касается Элби), однако Кэролайн и Франни были в ужасе. Летом мать не ставила еду на стол — дети шли на кухню с тарелками в руках и выстраивались по старшинству в

очередь к плите. Летом Кэролайн и Франни неведомым образом из цивилизованного мира попадали в сиротский приют из «Оливера Твиста».

Июльским вечером, в четверг, Берт собрал в гостиной всех домочадцев и объявил, что утром они отправляются на озеро Анна. Еще сказал, что взял в пятницу выходной и забронировал три номера в мотеле «Сосновая шишка». В воскресенье утром они поедут в Шарлоттсвилл повидать его родителей, а потом вернуться домой.

— Каникулы ведь, — сказал Берт. — Надо развлекаться.

Дети опешили оттого, что им предстоял день, который будет не похож на остальные дни, а Беверли — оттого, что Берт и словом не обмолвился ей о своих планах. Дети видели, как она старается поймать его взгляд — безуспешно. Мотель, озеро, обед в ресторане, поездка к родителям Берта — до крайности негостеприимным людям, у которых были лошади, пруд и легендарная чернокожая повариха по имени Эрнестина, прошлым летом учившая девочек печь пироги. Имей дети привычку сообщать о своих чувствах родителям, они сказали бы скорей всего что-то вроде «Круто!» — но подобной привычки они не имели, а потому и не произнесли ни слова.

Утро встретило их вязкой жарой. Птицы молчали, стараясь сберечь силы. Берт велел детям залезать в машину, но все понимали: просто так в машину никто не залезет. Прежде должна была произойти безобразная склока из-за того, кому сидеть с Элби — и в ожидании ее начала дети столпились на выезде. О переднем сиденье, предназначенном для родителей, и речи быть не могло, хотя и Кэролайн, и Франни в обычной жизни ездили там с матерью. Итак, оставались задние сиденья, еще более задние и совсем-совсем задние. В конце концов детей неизменно разбивали на пары по возрасту или полу, то есть Кэлу или Джанетт приходилось мучиться с Элби почти всегда, Франни — иногда, а Кэролайн или Холли — никогда не приходилось. Все знали, что Элби будет горланить оригинальную вариацию песни «Девяносто девять бутылок пива», в которой число бутылок не уменьшается по мере того, как они падают, и вслед за пятьюдесятью семью бутылками следуют семьдесят восемь, вслед за семьюдесятью восемью — четыре бутылки, а вслед за четырьмя — сто четыре. Еще он будет уверять, что его сейчас стошнит, и издавать соответствующие звуки, вынудит Берта поспешно зарулить на обочину

автострады, причем — совершенно попусту, меж тем как Джанетт стошнит обязательно, причем без предварительного оповещения. На каждом указателе выезда или поворота Элби будет спрашивать, не сюда ли им надо.

— А когда мы приедем? — будет он твердить как попугай и радостно хохотать. Словом, сидеть рядом с Элби не хотел никто.

Когда они только начали пихаться на подъездной дорожке, появился Берт, неся парусиновую сумку размером с обувную коробку. Берт любил ездить налегке.

— Кэл, — произнес он. — Ты поедешь с братом.

— Я в последний раз с ним ехал, — возразил Кэл. Так ли это было или не так — никто не мог бы сказать определенно, да и что такое «в последний раз»? В последний раз просто в машине? В последний раз в семейной поездке? Так семейной поездки у них еще не случалось.

— И теперь тоже с ним поедешь, — отрезал Берт, бросил сумку назад и хлопнул дверцей багажника.

Кэл поглядел вокруг. Элби гонялся за девочками и тыкал их указательным пальцем, отчего те взвизгивали. В голове у Кэла все перепуталось — где родные сестры, где — сводные, он никак не мог сообразить, какую из них заставить отдуваться. А потом он поглядел на Беверли, на ее ярко-красную полосатую майку, по-модному закрученные золотистые волосы, темные очки, большие, как у кинозвезды.

— А пусть она, — сказал он отцу.

Тот взглянул сначала на своего старшего сына, потом на жену:

— Что «пусть она»?

— Пусть она едет с Элби. Пусть она с ним сзади сядет.

Берт хлопнул Кэла по щеке. Оплеуха была звонкая, но едва ли сильная: ладонь лишь скользнула по скуле. Кэл мотнул головой, чтобы все выглядело посерьезней. В школе ему случалось получать и круче, и вообще стоило схлопотать по роже хотя бы для того, чтобы увидеть, как и без того бледное лицо Беверли совсем помертвело. Кэл не сомневался: за ту долю секунды, пока не стало ясно, на чьей стороне Берт, она успела представить, как весь путь до озера просидит рядышком с Элби, — и чуть богу душу не отдала. Берт сказал, что вся эта чушь собачья ему надоела и чтобы все рассаживались по местам. И они все, включая Беверли, расселись в мрачном и горьком молчании.

На магистрали Берт опустил стекло, выставил локоть наружу, в сторону пролетавших мимо холмов, и замолчал. Спустя три часа, когда они подкатили к закусочной «Эрроухед Дайнер», он заставил всех выстроиться и рассчитаться по порядку: Кэл был первым, Кэролайн — второй, Холли — третьей.

— Господа бога мать... — сказал себе под нос Кэл. — Мы ему «Поющая семья Трапп», что ли?

Франни взглянула на него с ужасом, не веря своим ушам. Он помянул имя Господа всуе. Большой грех.

— Ругаться нельзя, — сказала она.

Берту можно было ругаться, хоть это и очень дурно, а детям — нельзя. Франни свято в это верила. Она и летом оставалась ученицей школы «Сердце Иисусово».

Кэл — не только самый старший, но и самый длинный из детей — положил правую ладонь ей на макушку, обхватил пальцами и сдавил. Не так сильно, как кому-нибудь из родных сестер, но все же достаточно, чтобы ясно было, кто тут главный.

Кэролайн, как самой старшей из девочек, пришлось решать, кто с кем будет делить кровать в мотеле, и за обедом она объявила, что будет спать с Холли. Это значило, что Франни досталась Джанетт. Франни это вполне устраивало. Впрочем, ее бы устроила и Холли. Франни не желала лишь спать с Кэролайн — сестра могла сподобиться придушить ее подушкой посреди ночи. Мальчики получили собственный номер и отдельные кровати. В семь часов родители начали зевать и маяться, а потом сообщили, что очень устали и вообще пора спать, а развлечения будут утром.

Однако утром дети обнаружили под дверью комнаты девочек записку: «Позавтракайте в кафетерии. Деньги у вас есть. Мы встанем поздно. Не стучите». Почерк был Беверли, но внизу не стояло ни «Целую», ни даже «Мама». И вообще подписи не было. Похоже, развлекаться предстояло собственными силами.

Все ярко-синие двери вдоль длинного фасада «Сосновой шишки» были закрыты, шторы на всех окнах задернуты. Припаркованные тут же автомобили блестели от росы — или, быть может, ночью прошел дождь. Девочки постучали к Кэлу — мальчиков поселили совсем рядом, через дверь. Кэл отворил, не снимая цепочки, и глянул в щель одним глазом.

— Мы идем завтракать, — сообщила Холли. — Ты с нами или нет?

Кэл прикрыл дверь и, сняв цепочку, снова открыл. В номере на двуспальной кровати они увидели Элби, который листал комиксы и ритмично пинал матрас. Всякий раз, когда девочкам хотелось посокрушаться о том, что они теснятся вчетвером в одной комнате, да еще и на двух кроватях, они вспоминали, что Кэлу-то приходится жить с Элби. Впрочем, он и дома жил с ним в одной комнате, так что, может быть, и привык. А может быть, и нет.

— Ну пошли, — сказал он.

Кэл пошел в отца — смугловатая кожа, каштановые волосы, а летом и кожа, и волосы становились одинаково золотистыми. И глаза синие, отцовские, тогда как остальные юные Казинсы были в мать — темноглазые. Элби был бы, пожалуй, похож на веснушчатую Холли, однако избыток здравого смысла у сестры и полное отсутствие оно у брата устранили всякое подобие сходства. Все Казинсы были худощавы, но Джанетт — на свой особый манер. Никто не замечал ни ее миловидного личика, ни шелковистых волос цвета темного меда. Все смотрели лишь на ее узловатые локти и коленки. И когда все шестеро стояли рядом, казалось, что они не из одной семьи, а из разных и вместе оказались по чистой случайности, как ребята в летнем лагере. Родство, даже среди единокровных, чувствовалось очень слабо.

— До полудня проспят, — заметила в кафетерии Холли, вилкой гоняя по тарелке вареные яйца. Разговор шел о родителях.

— А когда встанут наконец, скажут, что, пожалуй, еще немного вздремнут, — подхватила Кэролайн. И это была сушая правда. Спали их родители как младенцы.

Все согласно покивали. Кэл, сидевший у окна, отвернулся от остальных и уставился на дорогу. Элби меж тем, перевернув бутылку кетчупа, похлопывал по доньшку ладонью до тех пор, пока на оладьи не шлепнулась густейшая клякса.

— Черт бы тебя... — сказал Кэл и отнял у него бутылку. — Ты можешь пять минут посидеть тихо и не выделываться?!

— Гляди, — ответил Элби и поднял над столом оладью, с которой стекал кетчуп.

Джанетт, двумя пальцами прижав свой тост к тарелке, ножом соскребала пригоревшее.

— Не буду я целый день тут торчать и ждать их, — сказала Кэролайн.

— А что нам еще делать? — спросила Франни, потому что делать и впрямь было нечего. Может, в мотеле есть какие-нибудь настольные игры? Или карты? Было еще совсем рано, не больше семи, и в окно кафетерия, как приглашение, поданное им к столу на серебряном подносе, глядело солнце. Вот бы сходить искупаться.

— Мы приехали на озеро, и мы пойдем на озеро, — сказала Кэролайн, угадав мысли сестры или по крайней мере половину их. Под одеждой у нее был купальник. И у всех — тоже. Но Кэролайн злилась больше остальных. Злость постоянно плескалась в ее голосе. Впрочем, самым злым был все-таки Кэл. И его злоба выказывала себя по-разному.

Джанетт подняла глаза от тоста и сказала:

— Пошли.

С тех пор как накануне они покинули Арлингтон, она впервые подала голос, и потому он стал решающим. С какой стати им ждать, пока встанут родители? Когда они куда-нибудь отправлялись вместе с родителями, детей делили на две группы: большие — Кэл, Кэролайн, Холли — и маленькие — Джанетт, Франни и Элби. Большим разрешалось идти самим по себе, заплывать на глубину без спасательных жилетов, теряться из виду и выбирать, что они хотят на обед. А маленьких можно было привязывать к дереву и заставлять есть втроем с одной тарелки. Маленьким доверия не было вовсе. Не вступая в дальнейшее обсуждение, все шестеро решили: надо хватать удачу за хвост.

На кассе они добавили к счету шесть банок кока-колы и двенадцать шоколадных батончиков — хватит продержаться до обеда.

— А далеко до озера? — спросила Холли кассиршу.

— Мили две, может, чуть меньше. Надо будет вернуться на 98-ю магистраль.

— А пешком если?

Кассирша минуту рассматривала детей. Сколько в этой стайке ребятишек одного размера, хоть близнецов и нет! У Франни и Джанетт разница в возрасте составляла тридцать восемь дней.

— А родители ваши где?

— Одеваются, — протянула Кэролайн скучливым детским голоском. — Сказали, чтобы мы все отправлялись и что это будет вроде приключения. Нам бы еще узнать, как туда попасть.

Остальные ухмылялись, слушая, как ловко она врет. Кассирша вытащила из стопки салфетку, перевернула:

— Пешком быстрее всего вот так, — слева она прямоугольником с буквой «М» обозначила мотель, справа изобразила кружок и пометила его буквой «О» — озеро. Провела от «М» к «О» пунктирную линию — путь к свободе.

На парковке Кэл подергал все двери их фургона. Франни осведомилась, зачем он это делает, и получила в ответ: «Что надо, то и делаю. Не лезь». Сделав из ладоней щиток, Кэл попытался что-то разглядеть сквозь окно.

— Я могу открыть, — предложила Кэролайн. — Если тебе правда так нужно.

— Не ври, — ответил Кэл, не достаивая ее взглядом.

— Я и не вру, — сказала она, а потом обратилась к Джанетт: — Ну-ка, принеси мне вешалку из шкафа в номере.

Кэролайн и впрямь не врала. Отец научил ее и Франни вскрывать замки как раз этим летом. Дядя Джо Майк оставил ключи в машине тети Бонни, когда они ездили к деду и бабушке, и отец отпер дверцу проволочной вешалкой, чтобы преподобный не тратил двадцать долларов на слесаря. Фокус девочкам понравился, и Фикс их тоже научил. Сказал, что это — вещь полезная и может в жизни пригодиться.

— Люди обычно думают, что надо тянуть, тогда как следует толкать. Не повторяйте эту ошибку, — добавил он.

Кэролайн принялась расплетать проволоку — это было самое трудное.

— Только время теряем, — сказал Кэл.

— Ну и не теряй, — ответила Холли. — Если так торопишься — иди.

Ей было очень любопытно, что получится, и все понимали, что и Кэлу — тоже.

Элби слонялся вокруг машины, вихляя бедрами и напевая «бум-чика-бум».

— Заглохни! — шикнул Кэл. — Разбудишь отца — он тебе голову оторвет.

Тут все вспомнили, у чьей комнаты припаркован автомобиль, и притихли.

Кэролайн ногтем указательного пальца оттянула резиновый уплотнитель внизу окошка и всунула в щель проволоку, а дети придвинулись ближе. Кэролайн немного волновалась — ведь у разных машин и замки могут быть устроены по-разному. Это был «олдсмобил», а у тети Бонни — какой-то другой, кажется «додж». Высунув от усердия кончик языка, она вслепую повела проволоку туда, где, по словам Фикса, располагалось «волшебное место» — дюймах в десяти от кнопки блокиратора дверей. Нашупала, прижала проволоку, перебарывая искушение зацепить кнопку. Послышался щелчок, она двинула проволоку вниз, как учил отец.

Замок поддался.

Слава богу, девочки помнили, где находятся, и не завопили от восторга. Кэролайн высвободила проволоку и с самым непринужденным видом открыла дверь. Даже Элби обхватил ее за талию.

«Вскрыла!» — его громкий шепот прозвучал репликой из гангстерского боевика.

— Вскрыла, — согласилась она и протянула ему проволоку — на память. Элби немедленно отошел к соседней машине и принялся тыкать ей под стекло. Кэролайн сейчас отдала бы все на свете, чтобы позвонить отцу. Чтобы рассказать, как блестяще она справилась.

Кэл отнял проволоку у брата и принялся изучать ее в свете неожиданно открывшихся возможностей.

— Научишь меня? — обратился он не то к Кэролайн, не то к вешалке.

— Так можно только полицейским, — сказала Франни. — И их детям. А остальные, кто так делает, — преступники.

— А я и буду преступником, — отвечал Кэл. Он уселся на переднее сиденье, открыл бардачок. Вытащил оттуда револьвер и бутылку джина, еще запечатанную.

Тому, что у Берта есть револьвер, никто не удивился, хотя только Кэл знал, где он лежит, а знал потому, что несколько дней назад, дожидаясь в машине, пока Беверли вернется из бакалеи, порылся в

бардачке — на ловца, как говорится, и зверь бежит. Но никто, включая Кэла, не мог понять, почему Берт оставил оружие в машине. Может быть, в комнате у него еще один? Берт любил, чтобы револьвер был под рукой — в портфеле, на ночном столике, в ящике письменного стола на службе. Любил рассказывать, сколько преступников ему довелось уложить, рассуждать о том, что наперед ничего не знаешь, а мужчина должен уметь защитить семью, и надо всегда жать на курок первым, а не дожидаться, когда тебя подстрелят, — но на самом деле он просто любил оружие.

А вот джин детей просто поразил. Конечно, родители любили время от времени пропустить по стаканчику — но не настолько же, чтобы таскать с собой целую бутылку. Никогда прежде они не видели в машине спиртное. Чудеса да и только.

— Ты же знаешь — это нельзя трогать, — сказала Холли, оглянувшись на дверь родительского номера. Она говорила разом и про джин, и про револьвер.

— Ну, на всякий случай, — ответил Кэл.

И сунул бутылку в коричневый бумажный пакет с колой и шоколадными батончиками. Джанетт уже вытащила оттуда одну банку и два батончика и переложила в свою сумочку. Теперь она взяла у брата джин и принялась аккуратно отковыривать ноготками акцизную марку, покуда та наконец не отошла целиком — если что, всегда можно будет приклеить на место. Бумажку Джанетт спрятала в сумку, бутылку вернула брату. И они отправились к озеру. Возглавляла процессию Кэролайн — она несла карту.

Погода стояла такая же, как и вчера и позавчера, но детям все равно казалось, что день слишком жаркий. С неба, уже ставшего белесым, будто разливалась по всей округе томительная вялость. Холли чесалась и жаловалась на комаров. Она, как и мачеха, была очень чувствительна к их укусам. Кассирша посоветовала детям пройти через поле напрямик: трава там доходила старшим до пояса, а Элби была по грудь, и повсюду покачивались желтые венчики цветов на длинных стеблях.

— Ну, чего там — видно уже озеро? — спросил Элби. Полосатая сине-желтая майка, которую купила ему Беверли, была вымазана кетчупом. Руки были липкие.

— Стой, — сказал Кэл и вскинул руку ладонью вверх. Все остановились разом, как солдаты. — Что у нас сзади? — И все обернулись.

— Что это такое? — спросил он брата, показывая на дом через дорогу.

— «Сосновая шишка», — ответил Элби.

— И сколько от нее до озера? Что сказала кассирша?

Издали доносился гул проносящихся по дороге машин. Где-то глубоко в траве трещали крыльями сверчки, над головами детей перекликались птицы.

— Две мили, может, чуть меньше, — ответила Холли. Она знала, что спрашивают не ее, но удержаться не смогла. Оттого что они стояли в поле, ей было как-то не по себе, сухая трава колола икры. Тропинки не было.

Кэл наставил палец на брата. Забавно, как похож он иногда становился на отца, хоть и был его полной противоположностью.

— Элби!

— Две мили, — сказал тот. Он принялся рубить траву ладонью, а затем стал размахивать рукой, как косой.

— Значит, мы еще не пришли и озера отсюда видно быть не может. — С этими словами Кэл двинулся дальше, а остальные рванулись следом.

Поле было больше, чем казалось издали, и спустя какое-то время они уже не видели «Сосновую шишку» и вообще ничего не видели, кроме травы и бледного, словно вылинявшего, неба. Кое-кто из участников экспедиции засомневался, правильно ли они идут.

— Где мы? — спросил Элби.

— Замолчи, — сказала Холли.

В этот миг из сухой травы выпрыгнул кузнечик размером с детский кулачок и уцепился за ее рубашку. Холли вскрикнула. Франни и Джанетт метнулись влево, припали к земле — и сделались совершенно невидимы для остальных. Они оказались совсем рядом — буквально нос к носу — и Джанетт улыбнулась Франни, прежде чем снова вскочить на ноги.

— Ну, а сейчас-то мы пришли? — Составив ноги вместе, Элби попытался прыгнуть вперед, но трава была слишком густая, и ничего

не вышло. Он оглянулся на старшего брата и повторил: — Сейчас-то пришли?

Кэл снова остановился.

— Я ведь могу отправить тебя назад. — И бросил взгляд на все еще примятую траву — след, проложенный ими в поле.

— А где мы? — спросил Элби.

— В Виргинии, — устало, совсем как взрослый, ответил Кэл. — Помолчи, а?

— Я хочу понести револьвер, — сказал Элби.

— Грешникам в аду снится вода во льду, — повторила Кэролайн присловье своего отца.

— Кэл завел себе ствол! — запел Элби, и под открытым небом его голос зазвучал пугающе громко. — Кэл завел себе ствол!

Они снова остановились. Кэл поплотнее взял под мышку коричневый пакет. Вынырнув невесть откуда, над головами пронеслись две ласточки. Элби все пел. Джанетт вытащила из сумочки банку колы.

— Еще рано! — одернула ее Холли. В этом году она вступила в герлскауты и уже знала правила выживания в походе. — Ее надо растянуть на подольше.

Джанетт тем не менее открыла банку. Тут всех почему-то обуяла жажда. Ну и пусть не получится растянуть — на озере они этой колы еще купят.

— Кэл завел себе ствол! — вывел Элби, но уже без огонька.

Холли взглянула на небо — абсолютно чистое. Ни единого облачка, что укрыло бы их от солнца.

— «Тик-так» бы сейчас пососать, — сказала она. Кэл минутку подумал и кивнул. Потом из заднего кармана извлек маленький пластиковый пакетик с таблетками бенадрила, которые мать велела всегда носить при себе на случай приступа аллергии. Все уселись на траву, и Кэролайн вскрыла коричневый пакет. Со всей аккуратностью достала револьвер, положила рядом с собой, затем вытащила колу. Кэл раздал каждому по две ярко-розовых таблетки.

— А тебе не дам, — сказал он Элби. — Ты меня сегодня достал до печени.

Однако Элби продолжал протягивать руку в безмолвном требовании, и Кэл наконец со вздохом отдал брату его долю.

— То, что надо, — сказала Холли. Она поднесла было таблетки ко рту, но глотать не стала, зажала в ладони. Вытащила из пакета бутылку с джином и глотнула от души — как колу. Вот только на вкус это была совсем не кола. Холли чуть было не выплюнула джин, но все же смогла удержать его во рту, крепко сжав губы. Передала бутылку сестре и повалилась на спину со словами: — Вот теперь я не прочь сходить на озеро.

Джанетт хлебнула, закашлялась и передала свои таблетки Элби:

— Бери, я не буду.

Тот долго смотрел на две добавочные таблетки у себя на ладони. Теперь у него было целых четыре. Под палящим солнцем, на фоне бесцветной травы они казались невероятно яркими.

— Ты чего? — спросил он с подозрением, а может быть, и без.

Джанетт пожала плечами.

— У меня от «тик-така» живот болит. — Вот это было похоже на правду. У Джанетт живот болел от всего на свете. Потому, наверно, она и была такая тощая.

Франни следила за тем, как Кэролайн незаметно сплюнула таблетки в ладонь и сразу же запрокинула голову, словно запивая их большим глотком колы. Кэролайн умела притворяться. Франни ясно видела, что она не выпила и джин. Рот ее был закрыт, когда она отнимала горлышко бутылки от губ. Когда же пришла очередь Франни, та решила пойти на компромисс — спиртного глотнуть, а таблетки спрятать в руке. Джин ее просто ошеломил. Она прислушалась к тому, как обжигающая волна опускается из гортани в грудь, в живот. Джин был горяч и ярок, словно солнце угнездилося у Франни между ног, словно это жжение до предела обострило все ее чувства. Она глотнула еще и лишь потом передала бутылку Элби. А тот выпил больше всех.

Пришлось подождать, но оно того стоило. Солнце припекало, а кола еще не успела нагреться. И было так славно полежать в траве, глядя в небесную пустоту, когда Элби не тархтит безостановочно над ухом. Когда они наконец поднялись, Кэл поставил пустую банку возле ноги брата.

— Мусорить не надо, — сказала Холли.

— На обратном пути подберем, — ответил он. — Нам же надо будет вернуться сюда за ним.

И все поставили порожние банки рядом с Элби, который спал так, как спят лишь в знойное утро после четырех таблеток бенадрила и хорошей порции джина. Кэл забрал таблетки у Холли и своих сводных сестер, спрятал в пакетик, а пакетик — в карман. Уже подтаявшие шоколадные батончики и раскалившийся на солнце револьвер они опять положили в пакет. И направились к озеру.

А уж на озере все пятеро заплывали туда, куда родители в жизни бы им не разрешили. Франни и Джанетт отправились искать пещеры, и двое каких-то парней, что околачивались на берегу, научили их рыбачить. Кэл украл в лавочке на пристани упаковку шоколадных рулетиков, и ему не пришлось даже доставать из пакета револьвер, потому что никто ничего не заметил. Кэролайн и Холли взбирались на верхушку высокой скалы и оттуда сигналы в воду — снова и снова, до тех пор, пока совсем невмоготу стало карабкаться и плавать, плавать и карабкаться. Все обгорели на солнце, но обсыхали, лежа в траве, потому что никто не догадался захватить полотенце. Обсыхать было скучно, и в конце концов дети решили, что пора назад.

Успели они как раз вовремя. Элби проснулся, но просто сидел посреди поля, в окружении пустых банок из-под колы, тихий и растерянный, и изо всех сил старался не плакать. Он не стал спрашивать ни куда они уходили, ни что с ним самим приключилось, — поднялся с земли и безропотно пристроился в хвост процессии. Он тоже здорово обгорел. Когда дети вернулись в мотель, был лишь третий час пополудни. Но самое невероятное случилось спустя пару минут после того, как они прямо в мокрых купальниках рухнули на кровати в комнате девочек и включили телевизор. В дверь постучали преисполненные раскаяния родители. Как они только умудрились так заспать! Наверное, совсем устали. Но ничего, сейчас они заглядят свою вину пиццей и походом в кино. Они не заметили ни купальников, ни солнечных ожогов, ни комариных укусов. Юные Казинсы и юные Китинги одарили родителей блаженными всепрощающими улыбками. Они проделали все то, о чем мечтали, устроили себе чудо-чудный день, и никто даже не понял, что они сбежали.

Так прошел остаток лета. И так было каждое лето, когда они собирались вшестером. Не то чтобы они веселились все дни

напролет — по большей части дни были невеселыми. Но хулиганили дети по-крупному и ни разу не попались.

Музыка не менялась. Из динамиков бесконечно лилась одна и та же двухчасовая подборка.

Администрация полагала, что к тому моменту, как песни начнут повторяться, клиент или расплатится и уйдет, или напьется и не заметит. Надо быть очень уж трезвым и очень уж внимательным и к тому же просидеть в баре не меньше двух часов кряду, чтобы сообразить, что Джордж Бенсон по второму разу затянул «Этот маскарад». Так что осточертеть повторы могли только работникам, да и среди них трезвых и внимательных можно было по пальцам пересчитать. За восьмичасовую смену каждому приходилось целиком прослушать подборку четыре раза, а тому, кто закрывал бар, — четыре с половиной. Отработав первый месяц, Франни пошла с этим к Фреду — из двоих ночных администраторов, ведавших и баром, и более оживленным, но менее прибыльным гостиничным рестораном, он был более симпатичным. Фред сказал ей не заморачиваться.

— Ну да — не заморачивайся, — сказала Франни. — Я рехнусь от этого.

На ней была тесная белая блузка и черное платье без рукавов, узкое и короткое. Черные туфли на высоких каблуках. Прямые светлые волосы заплетены в косу. По мнению режиссеров видеоклипов, именно так выглядят девочки из католических школ. Устраиваясь на работу, Франни, и впрямь закончившая когда-то католическую школу, не была уверена, готова ли она еще раз пройти испытание формой, но оказалось, что форма — это только цветочки. А вот музыка... Стоило Синатре завести «Хороший год», и Франни начинало казаться, что еще немного, и она как есть, изящно удерживая на одной руке поднос с коктейлями, шагнет в дверь-вертушку и навсегда растворится в зимней ночи.

Фред кивнул. Выглядел он солидно, таким отцом семейства, но мудрого папочку из себя не корчил, и в его ответе не было ни снисходительности, ни высокомерия. Толку, правда, не было тоже.

— К этому привыкаешь. Поверь мне, я тут уже почти пять лет.

— Но я не собираюсь застревать здесь на пять лет. И не желаю привыкать.

В глазах ночного администратора мелькнула едва заметная обида. Франни попыталась исправиться:

— А нельзя ли разжиться еще парой кассет? Даже тех же исполнителей? К самой музыке у меня никаких претензий. То есть немного разнообразия нам бы не помешало, но беда не в этом. Беда в бесконечной шарманке. Ведь есть же у этих ребят и другие песни.

— А у нас где-то были другие кассеты, — сказал Фред, оглядывая свой крошечный кабинет без окон, — только переставлять их некому.

— Давайте я буду переставлять.

Фред поднялся из-за стола, заваленного бумагами, и легонько потрепал Франни по плечу. В этом баре всяк норовил потрогать ближнего своего: официантки, прощаясь в конце смены, целовались, администратор мог приобнять, а уборщик посуды, если не сунуть ему сколько положено чаевых, — как бы невзначай облапить за бедра, протискиваясь к мойкам. И посетители, о боже, посетители вечно распускали руки. За два года на юридическом к Франни никто не прикоснулся, но то было на юридическом: любой, продержавшийся там первые две недели, быстро ухватывал связь между деянием и наказанием. Фред стоял так близко, что до Франни доносился легкий водочный душок, и Франни удивилась тому, что ее нос еще способен улавливать и различать запахи спиртного.

— Просто потерпи, — сказал Фред ободряюще. — Это пройдет.

Франни поплелась прочь — по узкому коридору из кабинета в кухню, где на покрытом толстым слоем жира магнитофоне повара крутили пиратские кассеты NWA, убавив громкость так, что за грохотом кастрюль нельзя было разобрать, кто и на чем вертел полицию. Повара кивали в такт и подпевали почти беззвучно, чтобы не слишком испытывать терпение администраторов.

— Заинька, — окликнул ее Джеррел, стоявший на раздаче, — сделай доброе дело, добудь мне лимонада.

Он потянулся поверх пылающей плиты к окошку выдачи и вручил Франни свой большой пластиковый стакан с крышкой и соломинкой.

— Сейчас, — сказала Франни.

Она взяла стакан. Повара, сплошь здоровенные черные мужики, полностью зависели от официанток, сплошь хрупких белых девочек, носивших им из бара попить и не дававших согнуть в огнедышащей кухонной Сахаре.

— Смотри, не забудь, — сказал Джеррел и ткнул в ее сторону сырым стейком, прежде чем бросить его на раскаленную жаровню.

Но Франни никогда не забывала ни про лимонад, ни про сахар и соленые крендельки, чтобы Джеррел мог восполнить потерю соли, покидавшей его тело с ручьями пота, непрерывно капающего на раскаленную плиту и обращающегося в пар со зловещим «пшшшш!». И всегда знала, кому из поваров что налить. Франни была профессионалом. Держала в голове заказы каждого из десятерых посетителей, сидевших за одним столиком: помнила, кто из них спросил голландской, а кто — шведской водки. Умела поболтать с одиноким тоскующим бизнесменом, но так, чтобы время осталось и на всех остальных клиентов. Вздрагивая на рассвете от ледяных пощечин чикагского ветра, Франни думала, насколько было бы лучше, стань она скверной официанткой, но хорошей студенткой. Она вылетела с юридического в середине — ну, ближе к началу — первого семестра на третьем курсе. На Франни повис огромный долг — кредит она брала в надежде на будущие доходы партнера юридической фирмы и жестоко просчиталась. А подавать в баре коктейли — единственная возможность заработать денег, если ты ничего не умеешь, не представляешь, чего хочешь от жизни, кроме как забиться куда-нибудь и читать, и не желаешь раздеваться. Такие у Франни были нехитрые принципы: не раздеваться и не связываться больше с юриспруденцией. Она попыталась было поработать в обычной забегаловке, ходила в черных кроссовках и таскала подносы с едой, но жалованья не хватало даже на взносы по кредиту. А в роскошном бархатном сумраке бара Палмер-Хауса мужчины, неизвестно почему, то и дело оставляли двадцатку-другую сверх восемнадцатидолларового счета.

Франни зачерпнула пластиковым стаканом дробленого льда, налила лимонада и, увидев, что бармен Генрих занят — выслушивает посетителя, который жалуется на все горести мира сего, добавила в ледяное крошево немного куантро. Бутылка стояла на самом краю бара, возле аппарата с газировкой, и ее легче всего было умыкнуть. К тому же Франни подумала, что куантро к лимонаду — самое оно. Она прекрасно могла заплатить за ликер, но сотрудникам во время смены запрещалось покупать спиртное себе и тем более тем, кто работал с ножами и раскаленными поверхностями. Джеррел обещал давать ей десятку всякий раз, как она сумеет плеснуть ему в стакан что-нибудь

«сверх программы», но Франни не хотелось брать с него деньги. На кухне ее считали кем-то вроде доброй феи — прочие официантки хоть и принимали от поваров заказы на напитки, частенько о них забывали, а если не забывали, никогда не отказывались от чаевых.

Чтобы отвлечься от музыки, Франни принялась повторять в уме положения гражданского права — заглушала то, что ненавидела, тем, что презирала. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью квалифицируется как таковая, если имеются основания опасаться осуществления этой угрозы. Вечер близился к концу. Половодье джин-тоников сошло на нет, бар погрузился в тихую заводь джестивов — клиенты, сообразившие, что еще не настолько пьяны, чтобы идти в номер, тянули бренди из коньячных бокалов и ликеры из маленьких рюмочек. Сегодня бар закрывала Франни. Она оглядела зал: по два человека за двумя столиками да неприкаянная душа у стойки. Две другие официантки уже отработали смену и собирались уходить: одна торопилась за ребенком, спящим сейчас на диване в доме у бывшего мужа, вторая — пропустить по стаканчику в баре подешевле, с коллегой из Палмер-Хауса. Перед уходом обе расцеловались вначале с Франни, потом — друг с дружкой. Генрих, похоже, вышел покурить в коридор за кухней, так что Франни проскользнула за барную стойку и сбросила туфли. Она размяла пальцы ног, потерлась ими о влажную резину черного ячеистого коврика, а потом сунула в рот три коктейльных вишенки и три ломтика апельсина, потому что вместе было вкусней. Вот так — босиком и с полным ртом проспиртованных фруктов — ее и застал Леон Поузен. Конечно, следовало только глянуть на него мельком и отвернуться, но, когда он посмотрел на нее, у Франни не стало ни сил, ни желания отводить глаза.

— Привет, — сказал он.

Леон Поузен сидел через два стула от нее. На нем был темно-серый костюм с белой сорочкой. Верхняя пуговица расстегнута, а свернутый галстук, должно быть, лежал в кармане пиджака. Протяни сейчас Леон руку к ней, а она — к нему, их пальцы соприкоснулись бы. Обычно Франни вовсе не замечала людей у стойки: раз они не за столиком, ей с ними говорить не о чем. Так что она понятия не имела, сколько Поузен уже тут сидит. Десять минут? Час?

— Привет, — сказала она.

— Вы как-то уменьшились, — заметил он.

— Правда?

— Разулись, я думаю.

Франни взглянула на саднящие красные полукружия на стопах, отчетливо видные сквозь чулки. Исчезнут они лишь спустя несколько часов.

— Да, разулась.

Он кивнул. Волосы у него были черные с сединой, густые, курчавые. Должно быть, трудно такие расчесывать.

— Оно, конечно, красиво, но, боюсь, со временем вы загубите себе ноги.

— Или привыкну, — сказала Франни, вспомнив слова Фреда. Теперь она нарочно вслушивалась в музыку, чтобы ощутить себя в этом мире и в этом баре, где она оказалась вдруг лицом к лицу с Леоном Поузенем. Лу Ролз пел «Никого, кроме меня». Забавно, именно эта песня, единственная из всех, до сих пор не надоела Франни — до того ладно сочетались в ней глаголы и существительные. «Водителя нет, чтоб меня возить, слуги нет, чтобы мне услужить».

Леон Поузен приподнял двумя пальцами опустевший стакан со льдом и кивнул. Он еще сидел напротив нее, а Франни уже воображала, что будет дальше. Вначале она доберется до дома, тут же снимет с полки «Первый город» и «Септимуса Портера». Отыщет фрагменты, подчеркнутые еще во время учебы в университете, и перечтет. Потом разбудит Кумара и расскажет, как встретила в баре Леона Поузена и как тот завел с ней разговор о туфлях и каблуках. Тут Кумар, отличающийся редкостным умением не интересоваться вообще ничем, потребует подробностей, и едва она дойдет до конца, попросит начать сначала. В сущности, еще ничего не произошло, но Франни уже знала, что историю о встрече с Леоном Поузенем в гостиничном баре она будет рассказывать очень долго. «Только представь себе, если бы я не поступила на юридический в Чикаго, а потом не вылетела бы оттуда, в жизни не попала бы в этот бар». Так она скажет отцу и Берту.

А Леон Поузен все не уходил. Пока Франни о нем фантазировала, он сидел у стойки и ждал, когда официантка вернется с небес на землю.

— Зачем привыкать?

— А? К чему привыкать?

Она уже забыла, о чем шла беседа.

— К туфлям.

Он выглядел точь-в-точь как на фотографиях: нос на пол-лица и печальные глаза под набрякшими веками. Поузен был настоящей карикатурой на самого себя, такой самое место в «Нью-Йоркере», рядом с рецензией на книгу.

— Ну, как же... Это моя форменная одежда. Носишь форму — больше зарабатываешь.

Франни не стала упоминать, что форма была из чистой синтетики. Синтетику можно ругать за что угодно, но она отлично стирается и не требует глажки. А еще Франни не приходилось думать, в чем бы ей пойти на работу — как раньше не приходилось думать, что бы надеть в католическую школу.

— То есть, если на вас неудобные туфли, я дам бóльшие чаевые?

— Обязательно, — сказала она. Она работала в баре давно и знала, как все устроено. — Все дают.

Поузен бросил на нее печальный взгляд, а может, у него всегда был такой вид — будто он разделяет боль всех женщин, вынужденных мучиться в тесной обуви. Франни почувствовала, что ее неудержимо тянет к нему.

— Ну, покуда я еще не дал никаких чаевых. Но, если вы утверждаете, что тут есть причинно-следственная связь, можете снова взлезть на каблуки. Посмотрим, что будет.

— Я не ваша официантка, — сказала она, жалея об этом всей душой.

Да отвали же ты от барной стойки, Леон Поузен! Вон столики со свечками — выбирай любой. Сядь в красное кожаное кресло и расслабься.

— Но если я закажу еще выпить, то получится, что вы все-таки моя официантка. — Он поднял стакан, в котором сиротливо болтался кусочек льда. — Как вас зовут?

Она назвалась.

— У меня ни одной знакомой Франни, — произнес Поузен так, будто ее имя стало для него неожиданным подарком. — Франни, я бы хотел еще скотча.

Сиди он за столиком, Франни тут же приняла бы заказ, но, увы, он сидел у стойки. Профсоюза в Палмер-Хаусе не было, но принцип разделения труда здесь блюли свято. Франни знала свое место.

— Какого именно?

Он снова улыбнулся ей. Уже во второй раз!

— На выбор заведения, — сказал он. — Но учтите, может оказаться, что я один из тех чудиков, которые дают чаевые, исходя из величины счета, а не из высоты каблучков официантки, так что — флаг вам в руки.

Она как раз сунула левую ногу обратно в туфлю, когда отдохнувший, покуривший, благоухающий мятными пастилками Генрих обогнул стойку и направился к ним. Поймав взгляд Леона Поузена, он поднял два пальца, безмолвно осведомляясь, не хочет ли тот повторить. Генрих не трудился облечь свой вопрос в слова, будто его отношения с клиентом уже достигли той степени интимности, при которой надобность в вербальных средствах общения пропадает. Тут ему пришлось подхватить едва не влетевшую в него Франни — она кинулась было ему наперерез, но потеряла левую туфлю. Генрих взглянул на ее ноги в чулках. Он был ровесником Леона Поузена и ее отца, то есть уже углубился в чащобу шестого десятка. Он принадлежал к поколению, привыкшему соблюдать приличия. Барная стойка была его владениями, и Франни понимала, что делать ей там нечего.

— Можно тебя на минуточку? — прошептала Франни.

Как тут было не зашептать — она, по сути, оказалась у Генриха в объятиях.

Бармен повернулся к Леону Поузену и вопросительно приподнял брови. Леон Поузен кивнул.

— Пошли, — сказал Генрих.

Он провел Франни до конца длинной стойки, где бутылки кюрасао и вандерминта на стеклянных полках ожидали, когда с них сотрут пыль.

— Это же сам Леон Поузен, — тихонько объяснила Франни.

Генрих покивал, хотя было непонятно, означает ли это «сам знаю» или «ну, и?..». Как-то — Франни слышала — он говорил по телефону по-немецки, тогда голос его звучал куда решительней. На каком языке он читает, и читает ли вообще? А Леона Поузена переводили на немецкий?

— Прошу тебя, — взмолилась Франни. — Дай мне его обслужить.

Кожа у Франни была такая нежная и бледная, что казалось, почти просвечивает — и никак не защищает свою хозяйку. Франни единственная из официанток отдавала уборщикам посуды причитающиеся им десять процентов чаевых и к барменам относилась с таким же уважением и всегда с ними делилась. Генриху виделось в ней что-то немецкое: светлые волосы, льдистая голубизна глаз, — но куда американцам до немцев. Американцы — дворняжки, все как один.

— Ты не бармен, — сказал он.

— Налить скотча в стакан я сумею.

— Ты работаешь в зале. Я не лезу в твой зал, потому что мне клиент приглянулся.

Он прикидывал, что бы такое запросить за услугу. Перед глазами у него замелькали заманчивые картинки. А если ненадолго уединиться в кладовке? Они там будут не первыми.

— Бога ради, Генрих, у меня был спецкурс по английской литературе. Я тебе начало «Ворона» могу наизусть прочесть.

Генрих и сам изучал английскую литературу, когда учился у себя, в Западном Берлине, правда, его больше интересовала Британия XIX века. Ах, как славно было читать Тrolлопа, зная, что тем, за стеною, такая роскошь недоступна. Он хотел спросить: «И куда нас завели книги?» — но вместо этого протянул руку и погладил золотистую косу, стекающую по спине Франни. Ему давно хотелось так сделать.

Франни было все равно. В ту минуту она готова была отрезать косу и подарить Генриху на память. Она вернулась за барную стойку, сняла с полки бутылку «Макаллана», не четвертьвекового — двенадцатилетнего. Незачем вводить человека в расход. Кинула в стакан несколько кубиков льда и залила их скотчем. Из каждой бутылки выглядывал сверкающий клювик дозатора, наливать через такой — одно удовольствие. Франни наслаждалась своими точными движениями и ощущением власти. Никто бы сейчас не убедил ее, что работа у бармена трудней, чем у официантки.

Леон Поузен бросил взгляд на противоположный конец стойки, где Генрих снимал с подставки винные бокалы, один за другим, и тщательно их протирал.

— И что вы ему теперь должны?

— Пока не знаю.

Франни положила салфетку и поставила стакан.

— Всегда узнавайте цену наперед. Пусть это станет уроком, который вы извлечете из нашей встречи.

Он отсалютовал ей стаканом, как бы говоря «спасибо, милая Франни, и доброй ночи». Франни понимала, что на этом их разговор окончен и что ей пора заняться делом, например пойти проведать свои столики, но не двинулась с места. Нет, она не хотела болтать с Поузенем о литературе или спрашивать, чем он занимался с тех пор, как двенадцать лет назад издал «Септимуса Портера». Она не собиралась портить ему вечер. Но, глядя на него через барную стойку, она вдруг ясно увидела свою жизнь — скучную и тяжелую. Решение пойти на юридический было чудовищной ошибкой, совершенной в угоду другим, и теперь из-за этой ошибки она была в долгах, как диккенсовский персонаж, как те несчастные, рыдающие в студии у Опры; она ничего не умела, ей нечего было предъявить миру, пока в бар Палмер-Хауса не зашел Леон Поузен. Он пил из стакана, наполненного ее рукой. Он словно светился, и Франни по ту сторону барной стойки не была еще готова оторваться от этого света. Вот так день за днем бросаешь в парке хлебные крошки птицам — и вдруг на спинку скамьи опускается странствующий голубь. Это была не просто удивительная случайность, это было чудо, и Франни боялась шевельнуться — лишь бы его не спугнуть.

— Вы здесь живете? — спросила она.

— Каково это, — спросила она странствующего голубя, — жить, когда весь мир думает, что вы вымерли?

Он оглядел зал через плечо, подняв тяжелые веки.

— В Палмер-Хаусе?

— В Чикаго.

На ходу выпутываясь из пальто, шарфов и шляп, в бар вошла парочка — и устроилась у стойки через два стула от Поузена. Кругом столько пустых стульев, выбирай не хочу, зачем садиться так близко? До Франни долетал запах женских духов, тяжелый, приятно терпкий. Тут она сообразила, что посетители нарочно уселись прямо перед ней. Она же бармен.

— В Лос-Анджелесе, — ответил Леон Поузен после некоторой внутренней борьбы. — Зависит от того, как посмотреть.

— Виски-сауэр, — сказал мужчина, сваливая верхнюю одежду на соседний стул.

Шерстяная куча тут же начала съезжать, но он успел ухватить пальто за рукав, а потом кивнул в сторону своей спутницы:

— Дайкири.

— С содовой, — сказала женщина, снимая перчатки.

Франни замялась, не зная, как бы им объяснить, что она не по этой части, но тут на выручку пришел Леон Поузен.

— Она не смешивает напитки, — сказал он. — Может налить стакан скотча, но для коктейля нужно звать специалиста.

Он посмотрел на Франни:

— Так ведь?

Франни кивнула. Она влезла не в свое дело, оказалась не на своем месте и теперь сбивала людей с толку.

— Я могу сделать виски-сауэр, — сказал Леон Поузен мужчине, потом взглянул на женщину и покачал головой. — А дайкири не смогу. Но ручаюсь, у них где-то в загатнике есть смесь.

— Не знаю, — ответила Франни.

— Попросите немца. — Леон Поузен указал парочке на Генриха, который по-прежнему полировал бокалы у дальнего конца стойки, старательно не обращая на посетителей внимания. — Ему будет приятно. Сейчас он чувствует себя задетым.

— А вы неплохо разбираетесь в здешних нравах, — сказала женщина.

Час был поздний. Кольца у нее под перчаткой не было.

— Не в здешних, — ответил Леон. — Все бары устроены одинаковы.

Он спросил Франни, как зовут бармена. Генрих, чьи уши улавливали такие высокие частоты, какие не снились ни одной собаке, услышал вопрос и отложил полотенце.

— Виски-сауэр, — снова сказал мужчина.

Когда заказ был сделан и Генрих продемонстрировал, как изящно он управляется с шейкером, парочка собрала вещи и отнесла их к угловому столику, — к столику, который должна была бы обслуживать Франни, не возникни у них с Генрихом мгновенной молчаливой договоренности о том, что он возьмет на себя и клиентов, и чаевые.

— Я родилась в Лос-Анджелесе, — сказала Франни, когда мужчина и женщина отошли, слава богу, от стойки.

Она столько ждала, чтобы сообщить это, что уже сомневалась — не забыл ли Поузен, о чем был разговор.

— Но вам хватило ума уехать.

— Я люблю Лос-Анджелес.

В Лос-Анджелесе она навсегда осталась ребенком. Там она плавала в бассейне у матери Марджори, скользила вдоль голубого дна в своем отдельном купальнике. Тень Кэролайн, дремавшей на надувном плотике, парила над ней прямоугольным облаком. Фикс сидел в шезлонге у самого бортика и читал «Крестного отца».

— Вы так говорите, потому что мы в Чикаго, а на дворе февраль.

— Если вам так не нравится Лос-Анджелес, что же вы там живете?

— У меня там жена, — сказал он. — Но я над этим работаю.

— Ну да, за этим и едут в Чикаго, — отозвалась Франни. — Подальше от жены.

«Бракоразводное законодательство, — подумала она, — вот уж к этой области права я на пушечный выстрел не подойду». И тут же вспомнила, что больше не подойдет ни на какое расстояние ни к какой области права.

— Слова настоящего бармена.

— Я только подаю коктейли. Я их не смешиваю.

— Вы — бармен для тех, кому не надо ничего смешивать, а вот, скажем, я хочу еще скотча. Вы замечательно налили мне первую порцию.

Он смотрел на нее изучающе, словно только что увидел.

— Вы опять стали выше.

— Вы пообещали, что это отразится на моих чаевых.

Он покачал головой:

— Нет, это вы мне сказали, что это может отразиться на чаевых, но вы ошибаетесь. Мне абсолютно все равно, какого вы роста. Снимайте туфли, а я вас чем-нибудь угощу.

Когда, интересно, он успел допить свой скотч? Ничего себе фокус. Она ведь наблюдала за ним и все равно ничего не заметила. Может быть, когда Генрих готовил виски-сауэр? Она на минутку отвлеклась. Франни взяла стоявшую перед ней бутылку.

— Вы ничем не можете меня угостить. Правила не позволяют.
Леон подался вперед.

— *Verboten?*^[1] — спросил он, понизив голос.

Франни кивнула. Лед в его стакане не потускнел и ни капли не подтаял, так что менять его на свежий не было смысла. И виски она отмерять не стала, просто плеснула на глазок. Сверкающий дозатор сделал ее самонадеянной: Франни чересчур высоко подняла бутылку и пролила немного виски на стойку рядом со стаканом. Устранила беспорядок, положила свежую бумажную салфетку. По правде сказать, даже если не нужно ничего смешивать, бармен из нее никудышный.

— Так что вы делаете в Чикаго?

— Вы, должно быть, психоаналитик.

Он вынул из кармана пиджака пачку сигарет и вытряс одну.

— Когда я стану хвастаться, что обслуживала Леона Поузена, меня непременно спросят, что он забыл в Чикаго.

— Леона Поузена? — переспросил он.

Вот это номер, такого Франни не ожидала. Но ведь она ни разу не видела его живьем. Знала его лишь по фотографиям на обложках, да еще и старым.

— Вы не Леон Поузен?

— Он самый, — сказал он. — Но с людьми вашего поколения я редко имею дело. Не думал, что мое лицо окажется вам знакомо.

— Вы решили, что вам просто попалась необычайно услужливая официантка?

Он пожал плечами:

— А может, вам захотелось меня обольстить.

Франни почувствовала, как заливается краской, кажется, в баре это с нею случилось впервые. Леон Поузен махнул рукой, словно отгоняя только что высказанное предположение.

— Забудьте. Нелепая мысль. Вы умница, вы читаете книжки, вы сегодня наливали скотч Леону Поузону, и, пожалуйста, зовите меня Лео.

Лео. Могла ли она назвать Леона Поузена — Лео?

— Лео, — произнесла она, пробуя имя на вкус.

— Франни, — сказал он.

— Дело не только в том, что вы Леон Поузен, — сказала она. — Лео Поузен. Мне вообще интересно общаться с людьми.

— Так вы хотите знать, что я забыл в Чикаго?

Все шло не совсем так, как она планировала.

— Да, в общем, нет. Я просто поддерживаю разговор.

Он поднял стакан и сделал крошечный глоточек, чуть-чуть пригубил, будто из вежливости.

— Вы журналистка?

Она прижала руку к сердцу:

— Честное слово, я официантка. Я подаю коктейли.

Вообще-то Франни повторяла это себе каждый день перед уходом на работу, почистив зубы и глядя в зеркало в ванной: «Я — официантка, я подаю коктейли». Совершенство достигается упражнением. Она вынула из кармана передника увесистую зажигалку «Зиппо», большим пальцем откинула крышку. Леон Поузен наклонился было, но тут же отшатнулся назад и покачал головой.

— Нет-нет, не смотрите на сигарету, смотрите на меня. Когда вы даете человеку прикурить, смотрите ему в глаза.

Это оказалось крайне сложно, но Франни сумела. Леон Поузен склонился к язычку пламени в ее руке, твердо глядя ей в глаза. Франни ощутила, как у нее в груди что-то дрогнуло.

— Вот, — сказал он и выдохнул дым в сторону. — Вот как получают большие чаевые. А не за туфли.

— Я запомню, — ответила она, гася огонек.

— Итак, я приехал в Чикаго, чтобы выпить, — сказал он. — А живу я покуда в Айова-Сити. Вы бывали в Айова-Сити?

— Я думала, вы живете в Лос-Анджелесе.

Он покачал головой:

— Не увливайтесь. Я задал вам вопрос.

— Я никогда не была в Айова-Сити.

Он отпил еще, словно проверяя, не стал ли виски вкуснее от сигареты, — похоже, что стал.

— Туда не поедешь просто так, без дела. Вот если ты выращиваешь кукурузу, торгуешь свиньями или пишешь стихи — тогда тебе дорога в Айова-Сити.

— Потому-то я там и не была.

Он кивнул:

— В тамошних барах полно студентов. Терпеть не могу пить в барах, где полно студентов, но хуже всего не это.

Он замолчал. Теперь ее реплика. В этом спектакле Лео Поузену был нужен напарник.

— А что тогда хуже всего?

— Оказывается, лед у них в барах содержит гербициды — ну, гербициды, пестициды, еще какое-то там жидкое удобрение. Их чувствуешь прямо на вкус. Ну, то есть не только лед, разумеется, а вообще вся вода, вся, кроме той, что привозят в бутылках из Франции. Говорят, по весне, когда начинает таять снег, становится совсем скверно. Концентрация всей этой дряни увеличивается. Даже зубная щетка отдает удобрениями.

Франни кивнула:

— То есть вы приехали в Чикаго выпить, потому что лед в Айове отдает удобрениями?

— Ну да. И еще из-за студентов.

— Вы что, преподаете там?

Он небрежно затыкнулся.

— Один семестр. Большая глупость с моей стороны. Поначалу думаешь — хорошие деньги, но когда сообразишь, во что это все тебе выльется, уже никаких денег не надо. И никто ведь заранее не растолкует, что там с водой, пока ты не подпишешь контракт.

— А не проще ли делать лед дома? Брать воду из Франции. И зубы ею чистить.

— Теоретически, конечно, можно, но на практике осуществить будет трудно. Придется или таскать с собой в бар ведро со льдом, или пить дома в одиночестве, а я этого не люблю.

— Ну, так приезжайте в Чикаго и пейте здесь, — сказала Франни, она была рада ему, а почему он здесь оказался, ей было наплевать. — Всегда хорошо улизнуть ненадолго.

— Вот, теперь вы понимаете, — сказал он, хлопнув по стойке ладонью. — Сидар-Рапидс не спасет, больно близко.

— И Де-Мойн не спасет.

— Вы опять уменьшились.

— Вы мне велели снять туфли.

— Вы хотите сказать, что я велел вам снять туфли, и вы взяли и сняли?

— Мне больше нравится босиком.

Он покачал головой, то ли восхищенно, то ли огорченно — она не поняла, потом загасил окурок в маленькой стеклянной пепельнице.

— Вы никогда не хотели стать писателем?

— Нет, — честно ответила она. — Я всегда хотела быть только читателем.

Он похлопал ее по руке. Франни нарочно придвинула ее поближе — вдруг она ему понадобится.

— Ценю. Я проделал немалый путь, чтобы выпить подальше от других писателей.

— Налить вам еще?

— Вы чудесная девушка, Франни.

Большой вопрос, обеспокоенно думала Франни, долго ли Лео Поузен просидел в баре, пока она его не заметила, и исправно ли Генрих исполнял свои обязанности, пока она не отняла у него работу. Может, Поузен и казался совершенно трезвым, но Франни была готова поспорить на что угодно, что он выглядит так всегда, независимо от количества выпитого. Бывают такие люди. Прямиком переходящие из состояния «ни в одном глазу» в состояние «вусмерть», минуя промежуточные стадии.

— Вы остановились здесь, в отеле? — осторожно спросила она.

Он слегка склонил голову и с благосклонным выражением на лице ждал продолжения.

Франни покачала головой:

— Я спрашиваю просто потому, что, если вы сядете в машину и кого-нибудь собьете ночью на обратном пути в Айову, меня могут отправить в тюрьму.

— Вас — в тюрьму? Странная логика.

— Гражданская ответственность питейных заведений, закон штата Иллинойс. — Она подняла руку, как в суде, подчеркивая серьезность своих слов.

— Питейных заведений?

— Да, название надо бы осовременить.

— А прочие работники питейных заведений осведомлены об этом законе?

Только те, что вылетели с юридического, хотела сказать она, но вместо этого кивнула.

— Ну, не беспокойтесь. Мне всего-то и добраться до лифта.

Франни поставила бутылку скотча на стойку.

— Ну, в лифте-то можете творить что хотите.

Внезапно в зале стало ровно вдвое темнее. Переключая лампы на ночной режим, Генрих всегда убавлял свет так резко, что казалось, будто в баре случилась авария. И всякий раз Франни на долю секунды пугалась, не у нее ли в голове лопнуло что-то маленькое и важное.

— Это знак, — сказал Лео Поузен, возведя глаза к потолку. — Налейте-ка мне двойной.

Франни принесла стакан побольше, потом сунула ноги в туфли и пошла к своим столикам. Ей было неловко просить клиентов закругляться, она ведь давно бросила их на произвол судьбы, но, похоже, за обоими столиками на нее не держали зла. За одним ей сунули кредитную карту, а за другим двое предпринимателей вручили непостижимо крупную сумму наличными и стали натягивать пальто. Когда Франни вернулась к бару, Генрих закрывал пластиковой пленкой миски из нержавеющей стали, укладывая на ночь в холодильник коктейльные вишни.

— Вам дали чаевые за туфли? — спросил Лео Поузен.

Скотч исчез. Лео Поузен сидел, облокотясь на барную стойку и глядя в пустоту.

— Дали.

— И сколько же?

Генрих оторвался от работы и поднял глаза. Он тоже был не прочь услышать ответ на сей неприличный вопрос. Пусть говорить о чаевых не принято, но интересно же.

Франни замялась:

— Восемнадцать долларов.

— Это нам ничего не скажет, пока мы не выясним, на какую сумму был счет. Если эти двое пили винтажное монтраше, то они вас обобрали.

— Не пили они монтраше, — сказал Генрих.

Франни вздохнула. Не объяснять же, что ей нужны деньги, что она ночует на диване у Кумара, чтобы оплатить следующий взнос по займу.

— Двадцать два доллара.

У Генриха вырвалось что-то вроде резкого выдоха, как если бы его ударили в живот.

— Не тем я занялся в жизни, — сказал Лео Поузен.

Генрих взглянул на него с сомнением:

— Вам бы они столько не дали.

— А что другой столик? — спросил Лео.

Франни подняла руку, мол, хватит.

— Я бы в жизни не догадался, — сказал Лео Генриху.

Он полез в карман, вынул и бросил на стойку коричневый кожаный бумажник, распухший от кредитных карт, фотографий, наличных и сложенных счетов. Бумажник упал с мягким «бум», будто бейсбольный мяч, прилетевший в перчатку.

— Вот, — сказал он. — Берите все. У меня сейчас нелады с математикой.

Франни выбила чек, свернула бумажку и сунула ее в чистый бокал для виски. Так было принято в Палмер-Хаусе, маленькое напоминание клиенту, на что он умудрился просадить столько денег. Странствующий голубь весь вечер просидел на скамье рядом с Франни, но что с ним делать дальше? Нельзя сунуть его в сумочку и унести домой, нельзя поселиться с ним в парке, пока он сам не улетит. Слишком холодно и темно.

Лео Поузен вздохнул и открыл бумажник.

— Вы мне даже не поможете? — спросил он.

Франни покачала головой и принялась протирать стойку. Она подозревала, что отчасти дело в математике. Чем пьянее человек, тем менее тверд в дробях, вот и решает — если обсчитываться, так пощедрому. И еще она думала, не потому ли клиенты дают такие большие чаевые, что им стыдно перед нею за свое пьянство? Или они рассчитывают, что Франни бросится за ними вдогонку и сообщит, что за восемнадцать долларов они могут получить еще ночь любви?

Лео Поузен по-прежнему сидел на месте, только аккуратно положил деньги поверх счета; его стакан и салфетку уже убрали. Все остальные посетители бара Палмер-Хауса ушли. Заглянул из ресторана Хесус, уборщик посуды, — убедиться, что на столах ничего не осталось. Он посмотрел Лео Поузену в спину. Пора было браться за пылесос.

Закрыв смену и надев пальто, Франни вернулась в бар. Пальто у нее было длинное, стеганое, мать купила его для Франни, когда та поступила на юридический. «Спальник с рукавами», говорила мать, и

так оно и было: забираясь в постель, Франни частенько накрывалась им поверх одеяла. Она остановилась возле стула Лео Поузена.

— Я уйду, — сказала она, впервые за все время работы здесь желая, чтобы вечер длился подольше. — Было здорово.

Он взглянул на нее.

— Мне понадобится ваша помощь, — произнес он ровным голосом.

Голубь вспорхнул со скамейки и уселся Франни на колени, тычась головой в складки ее пальто.

— Я позову Генриха.

Она говорила очень тихо, хотя никого, кроме них двоих, в зале не было. Вот поэтому и не следует перехватывать клиентов у Генриха, даже если эти клиенты — знаменитые романисты. Отвечать за них в итоге все равно Генриху.

— Он проводит вас к лифту.

Лео Поузен слегка повернул голову влево, словно хотел помотать ею в знак несогласия, да потерял мысль.

— Не надо звать немца. Меня просто нужно...

Он сделал паузу, подбирая слово.

— Что нужно?

— Направить.

— Найдем кого-нибудь покрупнее.

— Я же вас не прошу меня нести.

— Так будет лучше.

— Мне нужно к лифту. Вам что — не по пути?

Оказывает ли он ей честь своей просьбой? Это была бы самая интересная часть истории, только она никому не станет рассказывать, что Лео Поузен так напился, что не мог сам выйти из бара и ей пришлось ему помочь. Не самое лучшее решение из тех, что случалось принимать Франни, но далеко не самое худшее. И он уже столько для нее сделал задолго до их встречи — всеми своими романами. Она сняла его руку со стойки и забросила себе на плечо. Он привалился к ней.

— Поднимайтесь, — сказала Франни.

Если человека стащить с высокого барного стула и поставить на ноги, он порой оказывается неожиданно рослым. Плечо Франни, хотя

она была уже на каблуках, оказалось на уровне его подмышки. Она не ожидала, что он навалится на нее так грузно, но все же устояла.

— Просто постоите секундочку, для равновесия, — попросила она.

— А у вас хорошо получается.

Франни попыталась сдвинуть его руку, ненароком накрывшую ее левую грудь. Куда девался Генрих? Если ушел курить, то и слава богу. А то еще потом припомнит это Франни, хотя с Генрихом никогда не знаешь, что именно его заденет. Она обхватила Лео Поузена за поясницу и стала прокладывать курс меж темными айсбергами столиков.

— Погодите, — сказал он.

Франни остановилась. Он вскинул подбородок с таким видом, словно пытался что-то вспомнить или собирался заказать еще выпить.

— Песня, — сказал он.

Франни прислушалась. Кассета играла для пустого бара. Пели Глэдис Найт и «Пипс» — о том, что отношения закончились, но ни одна сторона не желает это признать. Первые тридцать раз песня Франни нравилась. Потом перестала.

— А что с нею не так?

Лео убрал руку с груди Франни и показал куда-то в пространство.

— Ее крутили, когда я вошел. «Я все думаю, как мне жить без тебя», — вполголоса пропел он.

Генрих любил говорить, что бар — это Западная Германия, и трудовая политика здесь и впрямь царила гибкая и прогрессивная. Вестибюль и стойку портье, однако, контролировала Восточная Германия, и там кишмя кишели советские шпионы, которых еще поди распознай.

— Держись подальше от лобби, — велел Генрих, когда Франни только начинала работать. — Выйдешь в вестибюль — и ты сама по себе. Бар тебе не защита.

Но как оказалось, те, кто работали за стойкой портье, знали Франни в лицо не лучше, чем она их. Рабочая форма, конечно, выдавала бы ее с головой, но форму надежно скрывало пальто, а туфли на каблуке может надеть любая дура-постоялица. Роскошный вестибюль Палмер-Хауса был обставлен громадными, обитыми тканью диванами всевозможных видов — были тут и классические, и со спинками-

валиками, и круглые, с высокими, похожими на фески серединками. Восточного ковра хватило бы, чтобы застелить баскетбольную площадку. Потолок над галереей второго этажа был Сикстинской капеллой в миниатюре, только место Бога и Адама здесь заняли персонажи греческой мифологии — Афродита и нимфы, то тут, то там выглядывающие из-за блуждающих облаков. В таких вестибюлях туристы любят фотографироваться на фоне гигантских цветочных композиций: ух ты, пионы в феврале! Даже в час ночи здесь бесцельно бродил народ, а за мраморной стойкой выстроились в шеренгу услужливые молодые люди и девушки в строгих темных костюмах. Бар, по крайней мере, закрывался на ночь. Администраторы работали до утра.

Франни нажала на стрелку, указывающую наверх. Где-то минуту они с Лео изучали свое отражение в медных дверях лифта.

— Нет, вам рядом со мною не место, — сказал Лео, поддавшись почти кинематографическому очарованию этой сцены.

Он начал легонько покачиваться из стороны в сторону, чтобы посмотреть, как закачаются их отражения: влево-вправо, влево-вправо.

Она шепотом велела ему стоять ровно. Лифт спешил к ним, на табло зажигались цифры — пять, четыре, три, два, — потом двери разъехались в стороны.

— Ну, вперед, — шепнула она и попыталась подтолкнуть его.

Предчувствия у Франни были нехорошие.

Он глянул на нее из-под руки.

— Куда вперед?

— В лифт, вам же было нужно в лифт.

Он по-прежнему наваливался на нее всем своим весом, и приходилось признать, что он ни капли не притворяется. Вряд ли он вообще сумеет войти в лифт без нее. Лео Поузен молчал. Двери начали закрываться, и Франни, продемонстрировав чудеса эквилибристики, выставила вперед ногу, чтобы заставить их опять разъехаться.

— Ладно, — сказала она вслух самой себе. — Ладно, ладно, ладно.

Она втощила его за собой внутрь лифта, и двери съехали.

— На каком вы этаже?

— Что ладно?

— На каком этаже вы живете?

— Понятия не имею.

Говорил он с трудом, но отчетливо, каждое слово падало, как пушечное ядро в пыль.

— Вы остановились в этом отеле?

— Уверен, что да, — сказал он с едва заметной оборонительной интонацией, от которой в душе у Франни зашевелились подозрения.

Двери снова начали открываться, и Франни нажала на кнопку, чтобы они закрылись, а потом отправила лифт на двадцать третий этаж. Всего в отеле было двадцать четыре этажа, но на самом верху находился пентхаус. Чтобы подняться туда, требовался отдельный лифтовый ключ.

— У вас есть ключ от номера? Посмотрите в карманах.

— Вы не хотите, чтобы вас со мной видели?

Франни втиснула Лео Поузена в угол лифта, он встал как влитой. Обшарила карманы его пиджака, наружные, внутренние, потом карманы брюк. Когда-то они с Кэролайн так играли во время летних каникул. Отец учил их обыскивать и допрашивать подозреваемых и вскрывать закрытые машины. Фикс никогда не упускал случая приобщить дочерей к полицейской науке. В карманах Лео Поузена Франни нашла сложенный платок (отглаженный, без монограммы), очки для чтения, упаковку мятных пастилок (двух не хватало), багажный ярлык авиакомпании LAX и бумажник. Она принялась рыться в бумажнике. Нынешние ключи от гостиничных номеров выглядят как кредитные карты. Случается, их и засовывают в отделение для кредиток.

— Эй, — веселье в голосе Лео уже почти угасло, — вы не хотите, чтобы вас со мной видели?

Лифт тихонько звякнул, объявляя о прибытии к месту назначения. Двери разъехались, открывая огромную площадку на двадцать третьем этаже: там помещался длинный ромбовидный диван с сиденьями по всем четырем сторонам, десятифутовое зеркало и старомодный телефонный аппарат на столе. Франни нажала на кнопку пятого этажа:

— Я не хочу, чтобы меня с вами видели.

Он легонько похлопал рукой по карманам пиджака, проверяя, не пропустила ли Франни что-нибудь.

— Сплошные от меня неудобства.

— Вы устроили в баре натуральное представление, всучили мне кучу денег, а теперь мы с вами идем к вам в номер. У нас за это увольняют.

Конечно, случись такое, она бы тут же позвонила в бюро студенческой юридической помощи университета Чикаго, где третьекурсники-юристы давали бесплатные консультации — правда, толку от консультаций было ровно столько, сколько за них платили. В бюро у нее были друзья. Они могли бы положить ее дело в стопку *pro bono*^[2] на самый верх. Франни объяснила бы, что ее уволили за приставания к клиентам, в то время как она всего лишь исполнила свой долг специалиста по английской литературе — доставила Лео Поузена в его номер в целости и сохранности (но насколько это убедительный довод? мало ли на свете специалистов по английской литературе, желающих забраться в постель к Лео Поузену... а как насчет нее самой? что, и она бы?.. нет, сейчас, пожалуй, нет, точно нет). В конце концов, университет не меньше ее заинтересован, чтобы она сохранила работу и продолжала выплачивать ссуду. Тут Франни вспомнила, что университету она больше ничего не должна. Ее заем уже дважды перепродали, и теперь он принадлежал Фермерскому трастовому банку Северной Дакоты. Бедный заем, его принудили к проституции. Двери открылись, мелькнула точно такая же площадка на пятом этаже, двери закрылись. Франни и Лео снова ехали на двадцать третий. Интересно, в вестибюле уже обратили внимание на подозрительные перемещения лифта? Франни все копалась в бумажнике: водительские права штата Пенсильвания на имя Леона Ариэля Поузена; кредитные карточки «Американ Экспресс», «МастерКард», «Виза», «Адмиралс Клуб», читательский билет библиотеки города Пасадены; несколько школьных фотографий рыженькой девочки, взрослевшей по мере того, как Франни перебирала снимки; сложенные счета — их Франни разворачивать не стала; и карточка-ключ отеля Палмер-Хаус. Ура! Франни принялась разглядывать карточку — приятный темно-зеленый цвет, раскудряво напечатанное название отеля, и на обороте — магнитная полоса, открывающая дверь одной из комнат этого отеля.

— Какой у вас номер?

— Восемьсот двенадцатый.

Двери снова распахнулись. Давно не виделись, двадцать третий этаж. Франни нажала на кнопку восьмого.

— А раньше вы говорили, что не знаете.

— Раньше я и не знал, — ответил он, глядя в сторону.

Ему тяжело давалась эта поездка. Останавливаясь и трогаясь с места, лифт коротко вздрагивал — два дюйма вверх, два дюйма вниз, — будто специально, чтобы напомнить пассажирам о тресе, на котором висела кабина. Возможно, Лео назвал первый пришедший в голову номер, лишь бы Франни доставила его «на твердую землю». Двери снова открылись, и Лео попытался двинуться вперед, словно хотел выйти без ее помощи. Франни снова забросила его руку себе на плечо. Внутри пальто, специально созданного, чтобы обогреть человека в минус двадцать, было мучительно жарко. Лицо Франни блестело от пота. Пот сбегал сзади по ногам, прямо в туфли.

— Вы не лишитесь работы, — сказал Лео Поузен.

Он говорил тихо, и Франни была ему благодарна. Не все пьяные способны так держать себя в руках.

— Я скажу, что мы друзья. Мы же друзья?

— Я не уверена, что здесь нашу дружбу оценят, — ответила она.

Коридоры были такими же широченными, как и площадки перед лифтами, — европейский шик. Столько места пропадает зря. До сих пор Франни ни разу не бывала наверху и теперь чувствовала себя так, будто совершила взлом с проникновением. Коридоры казались бесконечными, по стенам рядами висели черно-белые фотографии знаменитостей в пору их расцвета: Дороти Дэндридж, Фрэнк Синатра, Джуди Гарленд. Фотографиям, казалось, конца не было. Франни не сводила с них глаз. Привет, Джерри Льюис. Смотреть под ноги, на ковер, разукрашенный павлиньими перьями — желтыми, персиковыми, розовыми и зелеными, — было тяжело. У Франни зарябило в глазах, а ведь она была трезва. А каково глядеть на такое после скотча? В коридоре скучал одинокий сервировочный столик: надкусанный сэндвич, россыпь жареной картошки, роза в узкой вазе и перевернутая вверх дном винная бутылка в серебряном ведерке... Восемьсот шестой, восемьсот восьмой, восемьсот десятый, восемьсот двенадцатый. Пришли. Она подперла Лео Поузена бедром для устойчивости и сунула карточку в замок. Красный огонек дважды мигнул и погас.

— Т-твою мать, — пробормотала Франни и попыталась еще раз.
Красный.

— А если мне поехать к вам домой?

— Не получится.

— Я мог бы поспать на диване.

— На диване сплю я, — сказала она. Иногда она спала с Кумаром, но это случалось нечасто, у них с Кумаром были другие отношения. Кумар был друг. А ей надо было где-то жить.

— Тысяча восемьсот двенадцатый, — сказал он, пробуя встать прямо. — Точно, вспомнил.

Она могла бы отвести его обратно, на замечательный ромбовидный диван, где так удобно прилечь, если, ожидая лифт, вы вконец обессилели. Она бы оставила его там, спустилась и уже из дому позвонила бы портье — вы знаете, на площадке восьмого этажа спит на диване какой-то мужчина.

— Тысяча восемьсот двенадцатый.

Франни покачала головой:

— Это вы увертюру вспомнили или войну. Вы не живете в тысяча восемьсот двенадцатом.

Он задумался, уставясь на запертую дверь, перед которой они стояли.

— Может быть, и войну, — сказал он. — Постоим еще немножко? Мне нужно отдохнуть.

— Мне тоже, — сказала Франни.

Она заступила на смену в четыре тридцать. На восемнадцатый этаж она не поедет. С тем же успехом они могли бы начать со второго и совать карточку во все замки подряд.

— По-моему, вы встревожены, — пробормотал он словно во сне. — У вас что, уже бывали неприятности?

Он устроился поудобней, то есть почти повис у нее на плечах, ноги у него заплетались. Франни казалось, что она волочет Лео Поузена по неровной каменистой дороге. Они миновали площадку перед лифтом и двинулись дальше.

— У меня неприятности прямо сейчас, — сказала она.

Она даст ему последний шанс, а потом бросит. Он не будет на нее в обиде. Он ее даже не вспомнит. Если они упадут в коридоре, тут-то им обоим и крышка. Он выше ее на десять дюймов, а тяжелее фунтов

на восемьдесят. Он придавит ее своим весом, и она будет лежать со сломанной лодыжкой и сломанным запястьем, пока в три часа утра на них не набредет коридорный, подсовывающий счета под двери. К тому же у нее нет медицинской страховки. Когда они добрались до номера восемьсот двадцать один, Франни вынула из кармана карточку и сунула в замок. Красный огонек, красный, потом зеленый. Замок щелкнул, и Франни повернула ручку. Восемь-два-один, а не восемь-один-два — вот и весь секрет. Как удачно, что она такой специалист по ошибкам.

Лео Поузен не догадался оставить в номере свет. Франни дотащила его до кровати и, усадив на край, щелкнула выключателем торшера. Миленькая комнатка — мягкое изголовье, тяжелые шторы, изящный «писательский» письменный стол. В общем, жирновато для комнатки, единственное назначение которой — дать проспаться пьяному. На пухлом кресле — пухлая дорожная сумка, пальто небрежно брошено на спинку. Горничная, спасибо ей огромное, успела уже побывать здесь и расстелить постель — откинутае одеяло обнажало нетронутую белизну подушек и простыней, их сонная глубина так манила к себе, что Франни поневоле задумалась: что будет, если она на часок прикорнет тут, на краешке этого огромного ложа? Заметит ли кто? Конечно, если на подушке обнаружат ее волосы, бюро юридической помощи будет куда труднее доказать, что Франни несправедливо уволили за приставания к клиентам.

— Давайте-ка сюда руку.

Лео Поузен отвел руку и наклонился вперед, чтобы Франни смогла извлечь его из пиджака. Эта процедура явно была ему не в новинку. Потом он вздохнул так протяжно и устало, словно вдруг осознал все скорби этого мира.

Франни положила пиджак поверх пальто, склонилась к ботинкам. Ботинки у Лео Поузена были красивые, на шнурках, начищенные, мягкие как перчатки. Франни поставила их подальше от кровати, чтобы ночью Лео Поузен о них не споткнулся. Потом оторвала его ноги от пола — он повалился набок — и уложила на кровать. О штанах и ремне даже думать не стала.

— Будет мне наука, — пробормотал он, проваливаясь в постельную нежность, в прохладные простыни, под теплые одеяла.

Она положила руку ему на плечо, пытаясь хоть на секунду удержать его внимание.

— Доброй ночи, — сказала она.

Голос Франни был мягче подушек, — теперь, когда все кончилось и Лео Поузен благополучно оказался в постели, ей снова было легко его любить. Она укрыла его и подоткнула одеяло.

— Вы ведь побудете со мною немножко?

И никакой неловкости — только безмятежность, только мгновение, идеально вместившее в себя просьбу о последнем одолжении, — вот она, подумала Франни, та самая непреодолимая пропасть между мужчинами и женщинами. Закрыв глаза, он уснул, не закончив фразы, так что она не стала отвечать. Набросила покрывало поверх одеяла и погасила свет, потом присела на дальний край кровати и переобулась в темноте. В сумке у нее лежали удобные башмаки на плоской подошве. Рабочие туфли касались только ворса гостиничных ковров, оттого и выглядели как новенькие. Они прослужат ей еще много лет.

* * *

Попроси кто-нибудь Фикса Китинга и Берта Казинса перечислить случаи, когда они бывали друг с другом согласны, список оказался бы невелик. Тем удивительней было, что, даже не поговорив друг с другом и ничего не обсудив (по правде сказать, эти двое старались избегать любых разговоров и обсуждений), они дружно решили, что Кэролайн и Франни должны стать юристами. Девочки были еще маленькими — Кэролайн училась в средних классах, а Франни не ложилась спать без своих кукол, — но Фикс и Берт, будто генералы какие, уже нанесли, каждый в своей ставке, их будущее на карту. И ведь ни Кэролайн, ни Франни ни капли не интересовались американской историей. И с логикой у них было не так чтобы очень. И в дебатах они не блистали, хотя друг с другом скандалили с неиссякаемым воодушевлением. Но Фикс с Бертом старались вовсе не для девочек. Старались они для себя.

Берт возлагал те же надежды на всех детей в семье, даже на Джанетт, — ничего, думал он, займется бумажной работой, если,

конечно, сумеет окончить школу. Ожидая от всех одного и того же, Берт намеревался показать себя справедливым и беспристрастным; а план, продуманный настолько заблаговременно, не мог, по его расчетам, не оказаться успешным хотя бы отчасти. В конце концов, Казинсы отродясь занимались правом. Прадед Берта служил юристом на Пенсильванской железной дороге, дед был судьей в выездном окружном суде. Отец Берта, Уильям Казинс, которого все звали Биллом, был знатоком земельного права, такой благородной разновидностью поверенного, — к его услугам прибегали солидные конторы в центре Шарлоттсвилла, где он по большей части составлял контракты для друзей, скупавших участки у виргинских фермеров в ожидании момента, когда изменения в градостроительных планах позволят превратить фермы в торговые центры. Это приносило недурной доход, но в один прекрасный день по завещанию бездетного дядюшки жена Билла унаследовала права на розлив кока-колы для половины штата — и Билл удалился от дел в расцвете лет. Он полюбил стоять в гостиной у окна и, глядя через стекло на обсаженную благородными платанами подъездную дорожку, думать, как прекрасен этот мир и как было бы славно, если бы он не менялся.

Берт вслед за Джефферсоном верил, что успеха в жизни добьется только тот, кто разбирается в законодательстве, так что, решив кто-нибудь из его детей стать учителем или медсестрой, ему все равно пришлось бы сначала выучиться на юриста. Берт был убежден, что человек, не смыслящий в праве, не может быть ни умен, ни сколь-нибудь интересен, и это убеждение порядком осложнило оба его брака.

Фикс на все это смотрел проще: он хотел, чтобы его девочки стали юристами, потому что у юристов водятся деньги. Чем больше заработают Кэролайн и Франни, тем меньше вероятности, что однажды они променяют мужей на кого-нибудь побогаче. Фикс верил, что история повторяется, и не пытался этого скрывать. То, что случилось однажды, запросто случится еще раз — к бабке не ходи.

И когда Кэролайн было тринадцать, а Франни десять, Фикс купил им к Рождеству по Капланову пособию для подготовки к вступительным экзаменам на юридический. Завернул в красную блестящую бумагу и отправил в Виргинию вместе с обычными, подобранными Марджори подарками — настольными играми,

акварельными красками, плюшевым кроликом, свитером и двумя музыкальными шкатулками.

— Каков подарочек! — хмыкнул Берт, взяв в руки книгу Франни, покуда та копалась в обрывках оберточной бумаги в поисках какого-нибудь случайно оставшегося незамеченным подарка. — А неглупо придумано.

— Ты правда так считаешь? — спросила Беверли.

На ней был длинный, до пола, темно-зеленый бархатный халат с застежкой-молнией, сшитый ее матерью специально к Рождеству. Любая другая женщина в таком наряде выглядела бы тетехой, но Беверли даже в халате была ослепительно элегантна.

— Если будут читать по главе в месяц, — сказал Берт, просматривая содержание, — даже устать не успеют. Им пока не нужно ничего тут понимать. Тут специфический язык, пусть для начала освоятся, зато потом, если будут заниматься систематически, справятся с экзаменом на раз-два.

Его собственные планы по выращиванию в семье целой юридической фирмы пока еще находились в стадии разработки, но почин Фикса казался неплохой отправной точкой.

Кэролайн, в шерстяных носках и в красной фланелевой пижаме с оленями, мучилась несказанно: с одной стороны, следовало немедленно послать Берта куда подальше, с другой — речь шла об отцовском подарке. Она решила рассмотреть его попозже и в одиночестве, чтобы лишиться Берта удовольствия видеть ее с одобренным им пособием в руках. Франни тем временем раскрыла подарок от бабушки — «Дерево растет в Бруклине» в твердой обложке. Прочитала первое предложение и поняла, что вот этой книге она и посвятит рождественские каникулы, а Капланово пособие подождет. Но чуть позже этим же утром позвонил отец, поздравил Кэролайн и Франни с Рождеством, стал говорить, как ужасно по ним скучает и как хотел бы сейчас быть с ними (девочки тут же расплакались у параллельных телефонов, Кэролайн в кухне, а Франни — сидя на полу у кровати в комнате матери и Берта), — а потом ошаршил новостью: он поступил в Юго-западный юридический колледж и с января будет учиться на вечернем отделении. У вечерников программа рассчитана на четыре года, а не на три, но ничего, Дик Спенсер тоже так учился.

Конечно, лучше было бы Фиксу спохватиться пораньше, но чего уж теперь жалеть.

— Задумайся я об этом в вашем возрасте, сейчас был бы уже старшим партнером, — сказал девочкам отец. Раньше он любил петь по утрам «Юнцом я служил когда-то в конторе у адвоката». — Зато у вас полно времени впереди. Если вы начнете заниматься прямо сейчас, и я начну заниматься прямо сейчас, то летом, когда вы приедете, сможем учиться вместе.

Но Франни не хотела заниматься ни в рождественские каникулы, ни летом. Отец уже пообещал свозить их на озеро Тахо и взять напрокат понтонную лодку, чтобы с нее нырять. Кому захочется торчать вместо этого за кухонным столом и зазубривать толстенный том абракадабры?

Зато Кэролайн повесила трубку с чувством, будто только что подала документы в университет. Сунув Капланово пособие под мышку, она поднялась к себе и захлопнула дверь. Она будет учиться вместе с папой.

Франни высморкалась, вытерла глаза и вернулась в гостиную. Ее мать собирала в мусорный мешок усеявшие пол обрывки оберточной бумаги и закрученные хвостики упаковочных лент, а Берт сидел на диване с чашкой кофе и любовался рождественской картинкой: елка, красавица-жена, огонь в камине, миленькая падчерица.

— Папа поступил в юридическую школу, — сказала Франни, удобно устроившись в синем кресле со своей книжкой. — Поэтому он хочет, чтобы мы занимались тоже. Хочет, чтобы мы учились вместе с ним.

Беверли распрямилась, ее мешок был забит до отказа и невесом.

— Фикс поступил на юридический?

Берт покачал головой:

— Староват он для этого.

— Нет, — сказала Франни, радуясь, что может объяснить. — Он будет как Дик Спенсер.

Франни любила Спенсеров. Летом, когда девочки приезжали в Лос-Анджелес, Спенсеры водили всех обедать в «Лори».

Имя показалось Берту смутно знакомым. Дик Спенсер... Дик Спенсер из окружной прокуратуры, тот, что когда-то был

полицейским; тот самый Дик Спенсер, что позвал его с собою на крестины. На Франнины крестины.

— Куда он поступил? — спросил Берт. Спенсер, припомнил он, закончил Калифорнийский университет.

— В Юго-западный юридический колледж, — ответила Франни, и сама изумилась тому, что запомнила это.

— Господи, — сказал Берт.

— Ну что ж, — заметила Беверли, отбрасывая с глаз золотистую прядь, — я считаю, молодец он.

— Еще бы, — сказал Берт. — Хотя будет нелегко ходить в юридическую школу каждый вечер после работы. Не представляю, где он найдет время заниматься.

Франни взглянула на отчима. Волосы ее, тоже золотистые и длинные, висели сосульками. С утра она так торопилась вниз, к подаркам, что забыла причесаться.

— А ты что, не учился в юридической школе?

— Конечно, учился, — ответил Берт. — В Университете Виргинии. Только не на вечернем отделении, а днем, как все.

— То есть тебе было проще, — сказала Франни. Она гордилась отцом, который будет делать сразу два дела. Монахини внушили ей, что Господу угодны идущие тернистым путем.

— Не сказал бы, что мне было просто, — отозвался Берт, отпивая кофе.

Кэролайн снова спустилась и прошла через гостиную в кухню за добавкой рождественского кофейного пирога — она чувствовала, что перед учебой ей необходимо подкрепиться.

— Так ваш отец поступил на юридический, — с улыбкой сказала ей Беверли. — Здорово.

Кэролайн застыла на месте, словно мать выстрелила ей в шею отравленным дротиком. Ужас на ее лице мешался с яростью. Всем стало ясно как день, что Беверли совершила страшную, непоправимую ошибку.

— Ты им что, сказала? — Кэролайн резко повернулась к Франни.

— Я не... — Голос Франни прозвучал слабо, а потом и вовсе угас.

Не знала, хотела она сказать, что говорить нельзя, не знала, что это секрет, но слова будто высохли у нее во рту.

— По-твоему, папа хотел, чтобы они знали? А почему он не попросил их позвать к телефону — об этом ты не подумала?

Кэролайн в два прыжка оказалась возле сестры и наотмашь хлестнула ее по костлявому плечу; от удара младшая девочка боком вылетела из кресла. Было больно, и той руке, на которую пришелся удар, и той, на которую она упала. Франни поняла, что Кэролайн взбешена намного сильнее обычного. До сих пор сестра старалась не бить ее на людях.

— Господи, Кэролайн, — воскликнул Берт, опуская чашку. — Прекрати. Беверли, не позволяй ей тиранить Франни.

«Какое тяжкое время — Рождество...» — подумали, каждый на свой лад, все четверо. Беверли потихоньку отодвинулась от девочек. Всем было жалко Франни, но, сказать по правде, Беверли побаивалась своей старшей дочери и не вмешивалась до первой крови.

— Не смей ко мне обращаться, — сказала Кэролайн Берту, изо всех сил сдерживая рвущуюся из нее злость. — С доносчицей своей разговаривай.

Франни плакала. К вечеру красный отпечаток сестрицыной руки превратится в фиолетовый синяк. Кэролайн развернулась и с грохотом взбежала по лестнице. Придется ей заниматься без пирога.

С той поры как Фикс пошел в юридическую школу, его разговоры с девочками вертелись вокруг правонарушений.

— Миссис Полсграф стояла на железнодорожной станции Лонг-Айленд, в Восточном Нью-Йорке, возле весов, — рассказывал он непринужденно, словно о соседке.

Слушала его только Кэролайн, потому что Франни положила телефонную трубку и вернулась к «Кристин, дочери Лавранса». Каждое «юридическое лето», как они потом стали называть это время, Кэролайн и Фикс садились рядышком за кухонным столом, и Фикс разбирает дела. Он говорил, что ему так легче; что если он сумеет объяснить суть дела девочкам, то запомнит и встроенный туда закон.

— Говорят, будто на юридическом учат думать, — так вот, это неправда. Там учат запоминать.

Он стал загибать пальцы:

— Преступная небрежность, насильственная смерть, вторжение в частную жизнь, клевета, нарушение границ владения...

Кэролайн делала заметки. Франни читала. Отцовская учеба позволила ей одолеть «Дэвида Копперфильда» и «Большие надежды», всю Джейн Остин, всех сестер Бронте и в конце концов «Мир по Гарпу».

Между Кэролайн и Фиксом всегда была особая связь, и обсуждение свода Федеральных правил гражданского процесса ее лишь укрепило. Отец и дочь были единомышленны в том, что нет ничего скучнее имущественного права — оно было в пять раз крючкотворнее любого другого, перед ним пасовали и чутье, и здравый смысл. Оставалось только рыться в делах, бесконечно зубрить и изобретать хитрые мнемонические приемы. Что такое предложение? Что такое согласие? Что такое сделка? Как возникает выгода для третьей стороны? Имущественное право требовало самого пристального внимания.

— Хорошо, что в семье будет два юриста, — сказал Фикс Франни за обедом, имея в виду Кэролайн и себя. — Кто-то должен зарабатывать, чтобы покупать тебе все эти книжки.

— Они бесплатные, — сказала Франни. — Я их беру в библиотеке.

— Хвала Господу за библиотеки, — сказала Кэролайн.

Поразительно, сколько высокомерия можно вложить во фразу «Хвала Господу за библиотеки». Фикс хохотнул и тут же осекся. Франни решила, что он ненарочно.

Кэролайн была любимицей Фикса и до того, как он пошел на юридический. Так вышло потому, что она была старше, и до развода у них было больше времени, чтобы узнать друг друга. И еще потому, что Берта Кэролайн ненавидела смертной ненавистью и, чтобы испортить жизнь матери, готова была в лепешку расшибиться, — а потом самым подробным образом отчитывалась отцу. Фикс просил дочь сбавить обороты, однако слушать отчеты любил. Он тоже был бы не прочь попортить жизнь Беверли. Кэролайн и внешне походила на Фикса: волосы у нее были каштановые, а по коже растекался золотистый загар, стоило только выйти на пляж. Франни слишком напоминала мать: слишком хрупкая и белокожая, слишком неловкая. Слишком хорошенькая, хотя куда ей до Беверли. Когда, взявши теннисные ракетки и нераспечатанные еще упаковки с мячами, они в шесть утра отправлялись в проулок на задах супермаркета, Кэролайн ухитрялась

попасть по мячу двадцать семь раз подряд. Тук, тук, тук — о белую заднюю стену магазина, — казалось, что длиннорукая грациозная Кэролайн рождена для тенниса. Личным рекордом Франни стали три попадания подряд, и то лишь однажды. Но главное различие между Кэролайн и Франни заключалось в том, что Кэролайн ни к чему не была равнодушна. Ей до всего было дело, она интересовалась законами и теннисом, ее заботили школьные оценки — даже по нелюбимым предметам. Ей было интересно все, что отец говорил о матери, ей вообще было с ним интересно, что бы он ни говорил. Франни же просто хотела вернуться в машину и читать Агату Кристи. Чаще всего ее отпускали.

После второго тура экзамена в Коллегию адвокатов Калифорнии отец позвонил девочкам в Виргинию — рассказать, какие психи сдавали вместе с ним. Они шли на экзамен со своими собственными стульями и счастливыми настольными лампами. А один свихнулся настолько, что подрядил приятеля помочь ему притащить счастливый письменный стол. Ну не придурки ли? Экзамен оказался долгим и трудным, как летний забег от парка Макартура до полицейской академии, но для того и занимаешься, чтобы быть готовым, когда придет время себя показать. Фикс был готов и проявил себя достойно. Испытание осталось позади.

Франни поделилась новостью с Бертом. Вошла к нему в кабинет, плотно закрыла за собою дверь и все равно понизила голос:

— Папа сдал экзамен.

Франни с Бертом ладили, даже когда у Берта и Беверли все разладилось и даже несмотря на то, что с Кэролайн у Берта не налажилось ничего. Берт поднял глаза от стопки папок на столе.

— Допущен?

— Он только-только сдал, — сказала Франни. — Наверняка допущен.

Еще бы его не допустили — четыре года он не видел ничего, кроме работы и учебы; все свободное время, все свободные деньги — все принес в жертву будущей карьере. Конечно, он допущен, по-другому и быть не может.

Берт покачал головой:

— В Калифорнии очень лютуют. Многим приходится сдавать по нескольку раз, прежде чем их допустят к юридической практике.

— И ты сдавал несколько раз?

Берт, обычно резкий со всеми, с Франни бывал почти мягок. Он взглянул на нее — девочка стояла не шелохнувшись в ожидании его ответа, — покачал головой, словно извиняясь, и вернулся к работе.

Фикса к юридической практике не допустили.

Позвонила Марджори с подробностями.

— С первого раза никто не проходит. Я знаю кучу юристов, и они все говорят: не берите в голову. Вашему папе просто придется сдать еще разок. По второму разу уже точно знаешь, с чем столкнешься. Никаких неожиданностей, и все как-то понятнее.

— А во второй раз будут те же вопросы? — спросила Кэролайн. Она плакала и закрывала трубку ладонью, чтобы никто не догадался.

— Вряд ли, — с сомнением произнесла Марджори. — Думаю, вопросы каждый раз разные.

— Папа огорчился? — Франни на своем конце провода сообразила, что пришла ее очередь вступить в беседу. — Сильно огорчился, когда узнал?

Фикс просил Франни и Кэролайн молиться за него в день экзамена, и они молились, и попросили монахинь Святого Сердца помолиться тоже, а он все равно не прошел.

— Мы поехали к моей матери, и она приготовила отличный обед.

— О, это здорово, — сказала Франни. Мать Марджори могла поднять настроение любому, что бы с кем ни случилось.

— Она налила ему джину с тоником и сделала мясной рулет. Сказала, как жалко, что он не прошел, но это ничего, потому что он может пересдать. Жизнь, сказала, вечно нас испытывает, и обычно людям дается только одна попытка. По-моему, вашему отцу от этого полегчало.

Готовясь ко второму экзамену, Фикс наделал себе карточек для запоминания. Он подсмотрел эту технику у одного типа, сдавшего со второго раза. Тем летом Фикс показывал дочерям свои сокровища. Разложенные по темам, карточки хранились в обувной коробке. Их было больше тысячи. Кэролайн гоняла Фикса по карточкам, даже когда он останавливался на автомойке, при этом вопросов ему не задавала. Держа карточку у груди, она читала ответ. «Принцип, согласно которому лицо, владеющее землей, принадлежащей на правах собственности другому лицу, может получить законное право

собственности на нее, при условии, что соблюдены определенные нормы общего права, и противная сторона...»

Франни стояла у мойки и следила, как за прозрачной стеной проплывает их машина, как по ней сочно шлепает свисающая с потолка (незаконность) ветошь, как ее купают в мыльной (непрерывность) пене, ополаскивают (открытость) водой и покрывают (добросовестность) полиролью. Девочка позволяла автомойке заполнить свое сознание, поглотить его целиком, и все равно этого было недостаточно, чтобы вытеснить оттуда основные условия приобретательной давности.

Чудодейственные карточки не помогли, хотя на второй экзамен Фикс взял с собой свою настольную лампу. Мать Марджори снова накормила его обедом и сказала, подумаешь, сдаст в следующий раз, стыдиться тут абсолютно нечего, не он первый, не он последний, и Фикс опять пошел сдавать, а когда снова провалился — просто оставил это дело. И больше никто не заикался про юридический, пока туда не поступили Кэролайн и Франни.

К тому моменту, когда доучивавшаяся в Университете Лойолы Кэролайн сдала вступительные экзамены на юридический факультет, ее Каплановское пособие было склеено скотчем, исчеркано маркерами трех цветов и щетинилось закладками. Экзаменуемые — братия суеверная, поэтому на семинарах Кэролайн занималась по изданиям исправленным и дополненным, но в постели перед сном читала экземпляр, присланный ей когда-то отцом на Рождество. Надежды Фикса и Берта на то, что непрерывные многолетние занятия обеспечат девочкам высший результат на экзамене, оправдались не вполне. Максимальная оценка равнялась ста восьмидесяти баллам. Кэролайн Китинг получила сто семьдесят семь. Она не знала, на чем потеряла три балла, но так их себе и не простила.

* * *

Почти через две недели после того, как Франни, чудесным образом вычислив номер, довела Лео Поузена до его комнаты и никем не замеченная выбралась из гостиницы, в бар позвонили. В десять минут седьмого все столики уже были заняты, у стойки — ни одного

свободного стула. Люди с напитками в руках толпились за спинами сидящих, смеялись и трепались во все горло, не забывая посматривать — не освободится ли где сидячее место. Одна из официанток, девица по имени Келли, та, чей ребенок то и дело оставался у бывшего мужа, приобняла Франни за талию и зашептала, почти касаясь ее уха покрашенными губами. Здесь в ходу был задушевный тон, и даже о самых пустяках сообщали, будто поверяли нечто сокровенное.

— Тебя к телефону, — выскользнул из общего гула голос Келли.

Франни никогда не звонили в бар. Келли звонили постоянно: то бывший муж, то няня, то мать, которая иногда присматривала за ребенком. Ни одна смена не обходилась без того, чтобы малютке не потребовалось чего-нибудь невообразимого. Франни быстро перебрала в уме всех, кто мог умереть, потом поняла, что не угадает. Шум в зале стоял оглушительный: перекрикивающие друг друга голоса, непрерывный звон бокалов, Лютер Вандросс с чертовой кассеты, значит, следующий — Бинг Кросби. Трубка была у Генриха — отведя ее подальше от лица, словно телефон вдруг превратился в кусок придорожной падали, бармен продолжал беседовать с посетителем. Слегка опущенный подбородок Генриха выражал крайнее неодобрение. Не было нужды изъяслять его словами. Франни прижала ладонь к уху, словно это и в самом деле могло заглушить царящий вокруг гвалт.

— Это Лео Поузен, — произнес голос в трубке.

— Серьезно? — выпалила Франни.

Будь у нее хоть секунда, чтобы собраться с мыслями, она бы ответила по-другому. Лео Поузен не шел у нее из головы с тех пор, как она дотасила его до постели и в ознаменование этого события перечла «Первый город». Но Франни сильно сомневалась в том, что у самого писателя сохранились хоть какие-то воспоминания о том вечере, и ей и в голову бы не пришло, что он объявится снова. Предположение, будто ей может позвонить Лео Поузен, требовало запредельного для Франни Китинг уровня самомнения.

— Мне следовало позвонить раньше.

— Зачем? — спросила она.

— Из-за меня вы чуть не попали в переплет. А я даже не поинтересовался, не было ли у вас неприятностей.

— Нет, обошлось, — сказала она.

Она глянула поверх стойки и вообразила, что в баре пьют его персонажи: стакан с виски держит сам Септимус Портер, а рядом галдят его девицы.

— Я вас не слышу.

— Я говорю — обошлось. Тут сейчас ужасно шумно. Народу полно.

Генрих не сводил с нее глаз, и она прикрыла трубку ладонью.

— Это Леон Поузен, — сказала она Генриху, но Генрих только покачал головой и отвернулся.

— Вы можете приехать в пятницу в Айова-Сити?

— В Айову?

— Я должен быть на одной вечеринке, и подумал, что вам может быть любопытно составить мне компанию.

Он замолчал. Франни изо всех сил вслушивалась в надежде понять, откуда он звонит, но ничего не вышло — слишком гудел бар. Она посильнее вжала трубку в свое многострадальное ухо.

Наконец Лео Поузен снова заговорил:

— Если честно, я вам соврал. Не будет вам ни капли любопытно, но я подумал, что вечеринка станет выносимой, если вы пойдете туда со мной. Я сниму вам номер в отеле. Не Палмер-Хаус, конечно, но на ночь сойдет.

— У меня нет машины, — сказала Франни.

— Я пришлю вам билет на автобус! Так даже лучше. От этой погоды никогда не знаешь, чего ожидать. Будь вы за рулем, я бы нервничал. Вы не против приехать на автобусе? Я мог бы прислать вам билет в отель. Франни из бара Палмер-Хауса... как ваша фамилия?

Франни увидела, как мужчина на другом конце зала поднял стакан и покачал им из стороны в сторону. Нельзя доводить до того, чтобы клиенты напоминали тебе о твоих обязанностях.

— Китинг. Слушайте, мне нужно бежать. — Она не отрывала взгляда от стакана, следя, как над головами посетителей свет играет в кубиках льда. — Я опять рискую потерять работу. Да, я могу поехать автобусом.

Франни легко нашла, кто выйдет поработать за нее в пятницу вечером. По пятницам чаевые давали щедрее, и Франни начала жалеть

об их утрате, едва договорившись о подмене. Пускай билет и номер в гостинице оплачивала не она, поездка все равно обойдется ей недешево.

— Он надеется с тобой переспать, — сказал Кумар, когда Франни сообщила ему о телефонном звонке.

Когда она вернулась с работы, Кумар еще не ложился, а сидел за кухонным столом над грудой книг и пачкой самоклеящихся листочков. Вид у него был невеселый — Кумару предстояло закончить обзор статьи на сотню страниц с сотней примечаний. У него не было сил даже думать о Франни, не то что спать с ней.

Конечно, Кумар был прав, — зачем еще кому-то тащить из другого штата барную официантку? — но Франни почему-то казалось, что дело тут в другом. Лео Поузен ждал две недели, прежде чем позвонить ей, — почему? Пытался ее забыть, но не смог? В Айове такие целомудренные официантки?

— Может, я поразила его своим умом! — Франни сама рассмеялась над тем, какую милую глупость сморозила. — Или своим обаянием.

Кумар добродушно пожал плечами, но ничего не сказал.

В ночь, когда Франни познакомилась с Лео Поузеном, она, как и собиралась, разбудила Кумара и рассказала обо всем. Было почти два часа. В темноте Франни забралась к нему в постель и потрясла за плечо:

— Угадай, кого я встретила! Угадай!

Кумару нравились книги Лео Поузена. Они с Франни обсуждали их, когда только познакомились. Он рассматривал ее книжные полки, пока Франни на кухне варила кофе, и, когда она вернулась с чашками, увидела у него в руках «Септимуса Портера». Апдайк он оставил на полке, Беллоу и Рота тоже.

— Ты читала Леона Поузена? — спросил он, просто чтобы удостовериться, что книги не оставил кто-то из ее бывших дружков.

Франни и Кумар познакомились вскоре после поступления в Университет Чикаго. Они оказались рядом на гражданском праве и решили заниматься вместе. Подружились, не сообразив, что скоро у них не останется времени на дружбу. Теперь, когда, поиздержавшись, Франни поселилась у него на диване, Кумар никак не мог понять, отчего ему так неприятна ее предстоящая поездка. Оттого, что

женщина, которую он, будь на это время, мог бы даже полюбить, собирается на вечеринку в другом штате и с другим мужчиной? Оттого, что он хотел бы поехать с ней? Или оттого, что ему вдруг захотелось поехать вместо нее?

Лео Поузен подждал ее на автовокзале в Айова-Сити. На нем были черное пальто и серая фетровая шляпа, и он изучал висящее на стене под стеклом расписание автобусов, словно раздумывая, не отправиться ли куда-нибудь самому. Увидев идущую навстречу Франни, он улыбнулся шире и благодарнее, чем тогда, в баре.

— Я и не надеялся, что все получится, — сказал он. Нижние зубы росли у него тесно, один налезал на другой, но выглядело это даже мило.

Он протянул руку для пожатия. Не забыть бы рассказать об этом Кумару — если бы Лео собирался уложить ее в постель, если бы только затем Франни ему и была нужна, он бы сразу ее поцеловал.

— Видите, я доехала благополучно.

— Нет, вы не поняли, — весело отозвался он. — Я думал, буду тут сидеть, морозить зад, смотреть на каждого выходящего из чикагского автобуса, а это будете не вы, и снова не вы, и опять не вы. Потом даже на всякий случай встречу следующий автобус из Чикаго — вдруг я перепутал рейсы? А потом мне станет очень неловко, и я пойму, каким идиотом был, вообразив, будто могу послать незнакомке билет на автобус и ждать, что она выйдет из дверей просто потому, что так мне приспичило. Я все распланировал. Честно говоря, я был настолько уверен, что вы не приедете, что даже думал не идти на вокзал, исключительно чтобы вам отомстить.

— Вот был бы ужас, — сказала Франни, сообразив вдруг, что не знает ни его телефона, ни адреса.

Он тряхнул головой:

— Я собирался до вечера страдать и обзывать себя старым дураком, а потом позвонить на кафедру и сказать, что у меня непредвиденные обстоятельства и на вечеринку я, наверное, прийти не смогу.

— Ну вот, — сказала Франни, не вполне понимая, о чем речь, — судя по всему, я расстроила ваши планы.

— О, еще как, еще как! Вы загубили мне весь день.

Он потер руки, чтобы согреться, потом глубоко засунул их в карманы. Автовокзал оказался симпатичнее, чем ожидала Франни, — полы подметены, никто не спит на скамейках в зале ожидания, — но холод здесь стоял почти как на улице — ледяная февральская стужа продуваемой ветрами среднезападной прерии. Единственный кассир сидел за своим окошечком в шапке, перчатках и теплом пальто.

— Хотите сначала поехать в отель, освежиться? Отдохнуть, может быть?

Франни покачала головой:

— Не особенно.

Невероятно, почему он так удивился при виде ее: ведь всякому ясно, что Франни Китинг ни за что не отклонила бы приглашения Лео Поузена. Значит, вопрос в том, предположила она, насколько он сам себя ощущает Леоном Поузеном. Знаменитый писатель не усомнился бы в том, что она примчится на его зов, но случайному знакомцу из бара и вправду надеяться было не на что. Ради случайного знакомца она в жизни бы не стала трястись в автобусе, да и вообще она не представляла, ради кого могла бы проделать подобный номер. И в комнату никого другого она бы не потащила — Франни пробрала дрожь при одной мысли об этом, и выстуженный автовокзал тут был не виноват. И все-таки, глядя на Лео Поузена, она не испытывала знакомого ощущения, будто совершает огромную ошибку. С той секунды, как она заметила его у доски с расписанием, Франни была рада, что приехала в Айову.

Он снял с ее плеча полотняную сумку — когда-то Франни носила в ней учебники. В те дни сумка казалась жутко тяжелой. Сейчас в ней лежали только ночная рубашка и зубная щетка, смена одежды на завтра и томик рассказов Элис Манро — почитать в автобусе.

— Непохоже, что вы насовсем, — сказал Лео Поузен.

— Только на ночь.

— Тогда я должен хоть немножко показать вам Айову, до того, как стемнеет.

— Я ее отлично разглядела из автобуса, когда мы подъезжали. Похоже на ту часть Иллинойса, которая не Чикаго.

Поездка заняла пять с половиной часов. В промежутках между рассказами Манро Франни смотрела на бескрайние заснеженные поля, очерившиеся обломанными кукурузными стеблями, и на длинные

тени от этих стеблей в предзакатном свете. Она прислонилась головой к оконному стеклу. Поля, поля и снова поля — никаких бессмысленных украшательств типа деревьев.

— Значит, общее представление вы получили, — сказал он и кивнул на большие двойные двери, ведущие на стоянку. — Тогда едемте ужинать.

Они вместе вышли на мороз, мягкий снег только начал замечать недавно очищенные тротуары.

Старый снег устилал землю, покоился на давно оставленных кем-то машинах, на крепеньких кустиках, которым придется удерживать его невыносимую тяжесть до весны. Франни остро ощутила собственную хрупкость, когда мороз вступил в бой с ее пальто. Не сказать что хуже, чем в Чикаго, может, даже теплее на градус-другой, но все равно ощущение было, будто продираешься сквозь битое стекло. Франни представила себе первых поселенцев в крытых фургонах, пересекающих прерию в поисках лучшей доли. Почему они здесь остановились? Лошади захромали? Наступила весна? Так проголодались, что бросили вожжи со словами: «Мы уже достаточно далеко забрались»?

— Напомните, чем это лучше Лос-Анджелеса? — спросила Франни.

Жаль, что она не может взять его под руку и прижаться к нему. За высоким Лео Поузенем можно было бы спрятаться от ветра.

— В Айове я ни на ком не женат.

— Как и в большинстве штатов, надеюсь.

— Вот это мне в вас и нравится. Вы с оптимизмом смотрите на жизнь.

Он приобнял Франни и повел ее к итальянскому ресторану, выглядевшему как недавно переделанная придорожная закусочная.

— Не рассчитал я, — сказал Лео, посмотрев на часы. — Кажется, мы не успеваем пообедать. Только выпить. Сумеете пока продержаться на одной выпивке? Попозже у нас с вами будет полно еды.

Франни была рада хоть куда-то уйти с мороза. Арктическое дыхание влетевшего вместе с ними ветра заставило посетителей обернуться к двери. В ресторане, в отличие от автовокзала, топили от души.

— Отлично продержусь.

Франни принялась расстегивать молнию пальто, выпутываться из шарфа и стаскивать шапку. Башмаки ее на резиновом ходу были отделаны чем-то похожим на шерсть отслуживших свое плюшевых мишек. Зимой не до щегольства.

На вид женщина за барной стойкой то ли приближалась, то ли уже перевалила за отметку «шестьдесят». Ее светленькие кудряшки были собраны на макушке в подобие башни, а черный жилет едва сдерживал напор могучей груди. Слева на жилете было затейливо вышито «Рэй».

— Кто к нам пришел! — воскликнула Рэй. — Решил забежать перед работой?

— Подумал, что хорошо бы, — отозвался Лео.

— Я пыталась от него отделаться, — обратилась Рэй к Франни, поблескивая глазами из-за частокола густо накрашенных ресниц, — но ничего не вышло. Что будешь пить, милая?

— То же, что и он, — сказала Франни, мотнув головой в сторону Лео. — И наверное, немного хлебных палочек и стакан воды.

— Чтобы осадить виски? — спросила женщина, оборачиваясь к полкам и снимая бутылку скотча. — Разумно. Так что, ты его представишь?

— Вы незнакомы? — растерялась Франни.

Похоже, барменша ее с кем-то перепутала. Франни указала на сидевшего рядом с ней мужчину.

— Вы знакомы с Лео Поузенем?

Это невероятно развеселило Лео и барменшу. От их хохота в угрюмом ресторанчике даже вроде бы стало светлее.

— Рэй, очень приятно, — сказала барменша и протянула Лео ладонь, которую тот пожал обеими руками, словно приветствуя дорогого друга.

— Она делает для меня лед, — сказал он.

— Он у меня прямо тут, в пакете.

Рэй открыла морозилку под барной стойкой и вытащила пакет на молнии, на котором толстым черным маркером было написано «НЕ ТРОГАТЬ».

— Он думает, Айова пытается его отравить испорченным льдом.

— Он мне говорил, — кивнула Франни.

— Говорил? — спросил Лео, снимая шарф и высвобождаясь из пальто.

На нем опять был костюм, на этот раз темно-синий, и полосатый галстук.

— Так кому я должна буду вас представить?

— Аудитории, которая соберется сегодня на чтения, — сказала Рэй, зачерпнув стаканом две порции льда. — В этом городе никому нет дела до знаменитых писателей, но лично я люблю сходить на чтения, когда выдается свободный вечер. Уже много лет хожу. Интересно для разнообразия посмотреть на клиентов за работой. А знаешь, что все они мне говорят? Говорят: Рэй, это ты должна писать книги.

Лео кивнул, искренне соглашаясь:

— И должна.

Рэй улыбнулась ему и снова повернулась к Франни:

— Иногда кто-то из студентов, занятых в программе, представляет старших. К слову, мне нужно твое удостоверение личности.

Франни порылась в сумке в поисках бумажника и протянула барменше права; та вынула из кармана штанов очки для чтения и сделала то, чего Франни не делала никогда, — стала искать дату рождения. Франни вообще редко спрашивала документы, а когда спрашивала, справедливо полагала, что, если уж у человека имеется удостоверение личности как таковое, его смело можно считать совершеннолетним.

Удовлетворенная увиденным, Рэй поставила перед Лео оба стакана и протянула ему Франнины права.

— Погляди-ка, — сказала она. — Ей почти двадцать пять. Ей-богу, Франсис, я бы ни за что не дала тебе больше семнадцати. Вот так и понимаешь, что стареешь. Все кругом выглядят все моложе и моложе.

Лео взял очки и сам посмотрел.

— Содружество Виргиния? — удивился он и перевернул права, возможно заинтересовавшись, не собирается ли Франни после смерти стать донором органов. — Я думал, вы из Лос-Анджелеса.

— Да, но водить училась в Виргинии.

— То есть девочка — не твоя студентка и не знает, что через двадцать минут у тебя чтения. И кто же она тебе?

Рэй говорила все тем же веселым голосом, но смотрела теперь только на Лео, а Лео продолжал разглядывать водительские права.

— Она мой бармен, — рассеянно сказал он, потом, опомнившись, поднял глаза на Рэй и улыбнулся. — Другой мой бармен.

Франни не стала его поправлять. Вряд ли женщине за стойкой хотелось, чтобы она встряла. Рэй налила «Дьюарс» в два стакана и подтолкнула их вперед.

— Восемь долларов, — сказала она.

Забыв о воде и хлебных палочках, она отошла к противоположному — дальнему от двери и самому теплomu — концу стойки, где уже толпился народ.

Лео Поузен положил на стойку десятидолларовую купюру. Если он и понял, какую пакость секунду назад сделал приятельнице, готовой таскать на работу пакеты со специально для него сделанным дома льдом, то не подал виду. Он сосредоточил все свое внимание на выпивке.

— Вначале мне придется читать, а потом будет вечеринка в мою честь. Это входит в мои служебные обязанности. Их немного, и они все перечислены в контракте. На прочие вечеринки мне ходить не обязательно.

— Когда вы собирались сказать мне про чтения? Лео слегка покачал головой:

— Я полагал, что мне и не придется говорить. Для начала я не думал, что вы вправду приедете сюда на автобусе из Чикаго, а если и приедете, думал я, вы будете измучены поездкой и захотите отдохнуть в отеле. Когда я приезжаю в новое место, я всегда чувствую себя усталым. Меня утомляет поездка, утомляет новизна, и я никогда никуда не езжу на автобусе, так что я думал, если вы приедете, то захотите сразу же лечь. У вас явно больше сил, чем у меня.

— Даже если бы вам удалось бросить меня в отеле, пока вы читаете, а потом забрать перед вечеринкой, неужели вы думаете, что меня никто бы не спросил, как мне понравились чтения?

На чтения она бы приехала и так. Узнай она, что Леон Поузен читает в Айова-Сити, тут же села бы в автобус и приехала. А Кумар впервые в жизни пренебрег бы своими обязанностями редактора юридического обозрения и поехал бы с ней. Этого-то Лео Поузен и не понимал.

— Еще вам могли сказать: «Господи, сегодняшним чтениям конца не было». И к слову, я вас не бросать собирался на время чтений, а

спасать от чтений. Мной двигала вежливость.

Франни улыбнулась, а Лео Поузен посмотрел на часы, а потом вытянул шею в сторону Рэй. Она смеялась с новыми посетителями у другого конца стойки, решительно повернувшись к Лео и Франни широкой кормой.

— Скажите как профессионал — чем бы эдаким привлечь внимание бармена, если торопишься?

— Пригласить бармена с собой на чтения, — сказала Франни. — Срабатывает железно.

Он задумчиво постучал по циферблату своих часов, словно решая, верить Франни или нет.

— Просто хорошо было бы пропустить еще по одной перед уходом.

Франни придвинула к нему свой стакан. Столь заботливо сделанный лед только начал таять, смягчая «Дьюарс» водой из древнего источника, разлитой по бутылкам во Франции.

— Я вообще-то не пью, — сказала она. — Просто делаю вид. Когда-то я обнаружила, что так больше нравлюсь людям.

Лео взглянул на стакан, потом на Франни.

— Господи, — сказал он. — Да вы волшебница.

В коридоре возле их квартиры стоял незнакомый велосипед; по идее, там нельзя было оставлять велосипеды, но, конечно, одного велосипеда было недостаточно, чтобы Джанетт насторожилась. Она открыла дверь — пакеты с покупками оттянули руки, в потяжелевших за четыре лестничных пролета пальто и сапогах было очень жарко, — и увидела, что на диване сидит ее брат и держит на коленях ее сына.

— Смотри, кто к нам пришел! — сказал ее муж.

Фоде обнял Джанетт, забыв от радости забрать у нее покупки. Бинту, их няня, кинулась избавлять ее от пакетов, потом помогла ей высвободиться из пальто. Эти двое вечно обращались с Джанетт, словно она — королева Уильямсберга.

— Элби?

Никаких сомнений — это ее брат, но до чего же отличался этот мужчина от того мальчика. Волосы Элби, когда-то очаровательные, вечно спутанные темные кудряшки, были теперь заплетены в толстую косу, такую длинную, что Джанетт задумалась, стригся ли он хоть раз с тех пор, как они расстались. И в кого он такой скуластый? В семье поговаривали, будто у матери в роду были индейцы мэттапони. Быть может, мэттапони возродились в младшем ребенке Казинсов. Элби, похоже, нравилось быть индейцем.

— Мой маленький дикарь, — приговаривала Тереза, когда он с воплями носился по дому.

И вот он, пожалуйста, — стройный, как лезвие ножа, тихий, как удар ножом.

— Сюрприз, — констатировал Элби. — Для меня сюрприз — оказаться у тебя в гостиной. Для тебя сюрприз — увидеть меня тут. — Потом добавил таким тоном, будто главный сюрприз заключался именно в этом: — У тебя ребенок.

Дайо — тот самый ребенок — ухватился за дядюшкины волосы, точно за канат. Он посмотрел на мать и заулыбался во весь рот, показывая, как он рад ее возвращению и как ему нравится их необычный гость.

— Шарф, — спохватилась Бинту и принялась разматывать полоску влажной шерсти с шеи Джанетт.

Она сняла с Джанетт шапку и стряхнула растаявший снег. На дворе стоял февраль.

Джанетт повернулась к мужу.

— Это мой брат, — сказала она, словно это Фоде только что вошел в дом, а не она.

То, что Элби сидел теперь у них в гостиной, было невероятно — это все равно, что натолкнуться на давно потерянного родственника в аэропорту или на похоронах.

— Я увидел его на улице! — сказал Фоде. — Он ехал на велосипеде от нашего дома, а я возвращался с работы.

Элби кивнул, подтверждая эту удивительную историю:

— Он бежал за мной. Я думал — псих какой-то.

— Нью-Йорк, — сказала Бинту.

Чувства переполняли Фоде, он еще вздрагивал от бодрящей свежести пережитого.

— Да, но я кричал тебе: Элби! Элби! Откуда психу знать, как тебя зовут?

Джанетт хотелось только одного: выйти на пять минут в коридор и привести мысли в порядок. В комнате было слишком тесно: на диване, будто гости, сидели Элби и Дайо, а она, Фоде и Бинту продолжали стоять. Интересно, они тоже только что вошли или какое-то время ждали ее? Много ли она упустила из их разговора?

— Ты просто ехал себе по улице? — спросила она Элби.

«Из всех улиц на свете ты выбрал мою?»

— Я приехал повидаться с тобой, — ответил он. — Позвонил в дверь, — пожал он плечами, словно говоря: я, по крайней мере, попытался.

— Только он звонил не в ту дверь, — сказала Бинту. — У нас ничего слышно не было.

Джанетт повернулась к мужу. Все это не укладывалось в голове:

— Как же ты его узнал?

Фотографий Элби у них в квартире не было, и Фоде никогда с ним не встречался. Джанетт попыталась припомнить — когда она сама в последний раз видела брата? Когда он садился в автобус до Лос-Анджелеса. Ему было восемнадцать. Целую вечность назад.

Фоде расхохотался, Бинту прикрыла рот ладонью.

— Ты посмотри на себя, — сказал он.

Вместо этого она посмотрела на брата. Он был словно более четкой версией ее самой: выше, тоньше, темнее. Джанетт не сказала бы, что они так уж похожи, разве что по сравнению со стоящими тут же выходцами из Западной Африки. И представить-то трудно, что тут, у них в гостиной, вдруг оказалось похожее на нее существо, если даже Дайо похож на своих отца и няньку. Когда по вечерам Бинту встречала ее в дверях — Дайо хитро примотан к груди длиннющим куском ярко-желтой ткани, — Джанетт невольно думала: «Неужели это мой сын? Как такое может быть?»

— Мы с тобой похожи? — спросила она брата, но Элби не ответил. Он пытался выпутать маленькие пальчики из своих волос.

— Я хотела дождаться и посмотреть, как вы обрадуетесь, — сказала Бинту, сжав руку Джанетт. — Пойду теперь, не буду вам мешать.

Она склонилась к ребенку и несколько раз чмокнула его в макушку.

— До завтра, маленький мой.

Потом добавила что-то на сусу, несколько быстрых щебечущих слов, чтобы малыш не терял связи с Конакри, с родиной предков.

— Я провожу, — сказал Фоде. — А потом уже наговоримся.

Ему нужно было выйти из дому. Он не мог больше ни минуты сдерживать радость от приезда родни, его распирали восторг. Фоде надел пальто Джанетт, натянул ее шапку и обмотался ее шарфом — потому что они первыми попались под руку и потому что Фоде вообще не видел большой разницы между своими и ее вещами.

— До свиданья! До свиданья! — повторял он, размахивая рукой с таким энтузиазмом, будто собирался провожать Бинту как минимум до Гвинеи. Сколь бы короткой ни была предстоящая разлука, Фоде всегда прощался очень торжественно.

— Объясни-ка мне вот что, — сказал Элби, когда дверь закрылась и две пары ног, постепенно удаляясь, затопали вниз по лестнице, а над звуками шагов раскатился бойкий горошек французской речи, — оставаясь наедине, Фоде и Бинту переходили на французский. — Они муж и жена?

Джанетт было неприятно это признавать, но она испытала облегчение от ухода мужа и няни — в гостиной стало просторнее, стало возможно дышать.

— Фоде — мой муж.

— И у него две жены?

— Бинту — наша няня. Они оба из Гвинеи, оба живут в Бруклине.

От этого они не становятся мужем и женой.

— Уверена?

Да, Джанетт была уверена.

— Вот только не надо придумывать, как вывести меня из себя.

Достаточно и того, что ты здесь. Мама знает об этом?

Он пропустил ее вопрос мимо ушей.

— И это, выходит, в самом деле твой ребенок.

Он вытянул руки, насколько позволяла коса, за которую уцепился Дайо, и качал малыша взад-вперед, а тот хохотал, болтая ножками.

— Ты только представь, что сказали бы на это старые Казинсы.

Они бы заставили тебя отдать его Эрнестине.

— Эрнестина умерла, — сказала Джанетт.

Диабет уносил Эрнестину по частям — вначале ногу, потом зрение. Бабушка скрупулезно перечисляла утраты домоправительницы в ежегодном рождественском письме, пока в конце концов не известила о ее уходе в мир иной. С тех пор Джанетт почти не вспоминала об Эрнестине, но теперь перед глазами вдруг ясно возникло ее лицо, и в нем Джанетт увидела отражение своего предательства. В доме бабушки и деда Эрнестина была единственной, кого Джанетт любила.

Элби помолчал минутку, обдумывая услышанное.

— А еще кто?

Умирили и другие — конечно, умирали, — но она не могла вспомнить никого, кто бы имел отношение к Элби. Она покачала головой. Малыш попытался попробовать на вкус дядюшкину косу, и Джанетт подхватила его на руки — вряд ли брат захочет, чтобы ребенок облизывал ему волосы, да и она сама, пожалуй, не хотела, чтобы ребенок тянул эти волосы в рот. Она подставила Дайо запястье, и он мгновенно впился в него зудящими деснами, царапая кожу первыми, недавно прорезавшимися зубками. Не прекращая жевать и посасывать, он уставился ей в глаза. От того, что малыш мусолил ее руку, Джанетт почему-то стало спокойнее, легче ощутить себя самое — в эту секунду, в этой гостинной.

— Допустим, ты решила родить негритенка, но неужели нельзя было хотя бы дать ему менее негритянское имя?

Джанетт запустила пальцы в мягкие волосы малыша.

— Сказать по правде, я дала ему имя Кэлвин, но не могу заставить себя его называть так. Мы долго говорили просто «малыш». Это Фоде начал звать его Дайо.

Элби невольно вздрогнул, потом снова склонился к мальчику и заглянул ему в глаза:

— Кэл?

— Где ты был? — спросила Джанетт.

— В Калифорнии. Но пришла пора убираться.

— В Калифорнии? Все это время?

Элби слегка улыбнулся ее невероятному предположению, и в этой улыбке мелькнула тень брата, которого Джанетт знала раньше.

— Еще чего не хватало, — ответил он.

Из-под засученных рукавов черного свитера Элби змеились узорчатые ленты черных татуировок, охватывали запястья широкими браслетами. Все у него было черным: татуировки, свитер, джинсы, грубые ботинки. Джанетт задумалась, не подведены ли у него и глаза, или это просто ресницы такие темные.

— Так где ты теперь живешь?

Не о том она хотела спросить, но одним вопросом все равно было не обойтись.

— Не знаю.

Элби протянул руку и коснулся пальцем подбородка Дайо, отчего малыш опять засмеялся.

— Посмотрим, как пойдет.

Тут она увидела, что возле дивана, почти касаясь носков ее зимних сапог, стоит рюкзак. Джанетт как-то ухитрилась его не заметить, все время глядя на брата.

— Твой муж сказал, что я могу поспать на диване, пока не найду жилье. — Элби пожал плечами, словно стремясь показать: он тут ни при чем.

На диване, где же еще, не на кофейном же столике, не в единственном кресле, в котором сидел Фоде, когда занимался, и не на крохотном кухонном столе. Ребенок спал с ними в спальне, в колыбельке, втиснутой между кроватью и стеной. Если среди ночи

Джанетт требовалось в туалет, приходилось вылезать из-под одеял и перебираться к изножью кровати. Джанетт села на диван, и малыш, только недавно начавший ползать, вытянул ручки — запросился на пол. Она опустила его.

— Я тут, в общем, почти не буду показываться, — сказал Элби.

Это прозвучало почти извинением, и Джанетт вздрогнула. Да, у них не было ни места, ни времени, ни денег, чтобы его оставить, да, она до сих пор не простила ему исчезновения на восемь долгих лет, когда они только из изредка приходящих открыток узнавали, что он жив, но от мысли, что Элби может уйти, Джанетт захотелось вскочить и запереть дверь перед его носом. Сколько раз ему, наверное, было негде переночевать, но он не звонил ни ей, ни Холли, ни матери? Если сейчас он здесь, значит, что-то изменилось. Малыш уже добрался до молнии на рюкзаке и пытался ее «разъяснить».

— Будешь, куда ты денешься, — сказала Джанетт.

Элби и Джанетт не были виргинцами. Они оба родились в Калифорнии и потому были командой, пусть и командой поневоле. Джанетт впервые подала документы на паспорт в двадцать шесть, после того как забеременела, после того как они с Фоде поженились. Он хотел свозить ее в Гвинею и познакомить с семьей. Заполняя на почте анкету, она запнулась на пункте «Место рождения». Ей хотелось написать: «Не Виргиния». Она была из «не-Виргинии». Кэл изводил их с Элби тем, что они родились в худшем, чем он, штате.

— Полюбуйтесь хорошенько, — как-то сказал Кэл, когда они ехали из Далласа в Арлингтон, и пейзаж вокруг складывался из самых невероятных оттенков зеленого, каких не увидишь в Южной Калифорнии. — Вас пока впускают только потому, что вы маленькие. Папа получил разрешение на ваш ввоз. Станете старше — и вас будут тормозить в аэропорту и сажать обратно в самолет.

— Кэл, — коротко сказала мачеха.

Она вела машину и не собиралась ввязываться в назревающую свару, только подняла голову — в зеркале заднего вида на мгновение мелькнули ее большие солнечные очки а-ля Джеки Онассис, — чтобы Кэл понял, что она не шутит.

— Тебя тоже вышлют обратно, — сказал он ей, отвернувшись к окну. — Рано или поздно.

После смерти Кэла не могло быть и речи о том, чтобы Джанетт, Холли и Элби опять приехали в Виргинию. Время от времени отец прилетал в Лос-Анджелес, водил их в океанариум и на аттракционы, обедал с ними в ресторане в Западном Голливуде, где в огромном аквариуме вдоль стеклянной стены плавали живые девушки; но бесконечные, свободные от пригляда взрослых, летние виргинские дни остались в прошлом. Правда, Элби после пожара пришлось вернуться на один злополучный учебный год, и Холли уже взрослой приезжала на две ночи, пытаясь понять, насколько она продвинулась по пути дхармы к внутреннему миру и прощению, но Джанетт поставила крест и на штате, и на всех его жителях, включая отца, оба комплекта бабушек и дедушек, весь набор дядьев, теток и кузенов, мачеху и двух сводных сестер. Будьте все здоровы, не поминайте лихом. Она осталась с теми, кого считала своей настоящей семьей: с Терезой, Холли и Элби — с теми тремя, кто был рядом с ней дома в Торрансе, когда она чистила перед сном зубы. Смешно, но она только теперь поняла, до какой степени у нее не было отца, только сейчас сообразила, что отец ушел, бросил их много лет назад и никогда больше не вернется, разве что на денек — свозить их покататься на аттракционах. Мать и Элби спали поодиночке, каждый в своей комнате. У Джанетт, слава богу, была Холли. Ночами она лежала в кровати, вслушиваясь в мерное дыхание сестры, и обещала себе стараться поменьше ненавидеть Элби. Пускай он невыносим и непостижим одновременно, но ведь он ее брат, теперь единственный.

Но то была неподходящая пора для возвращивания в себе любви к ближнему, и сколько бы ночей ни уговаривала себя Джанетт быть добрее, доброты в ней не прибывало. Без отца, без Кэла четверо оставшихся южнокалифорнийских Казинсов спрятались в свои раковины, словно все социальные навыки, обретенные ими в течение жизни, стерлись в одно короткое мгновение — достаточное, чтобы пчела укусила мальчика. Мать с удвоенной скоростью носилась по кругу между работой, школой, магазином и домом. Теперь у нее было лишь два состояния — только прибежала и уже убегает. Она постоянно теряла кошелек и ключи от машины. Не успевала приготовить обед. Холли нашла в ящике стола в гостиной коробку оплаченных счетов и стала тренироваться расписываться, как мать: Тереза Казинс, Тереза Казинс, Тереза Казинс, — пока не наловчилась выводить ее имя с

должным нажимом и безупречным наклоном пера. Благодаря усердным трудам Холли на ниве фальсификации документов дети могли ездить на экскурсии и приносить в школу должным образом завизированные дневники. Полагая, что всякое достижение заслуживает признания, девочка продемонстрировала свои умения матери, и Тереза тут же возложила на нее обязанность следить за счетами, даже не сказав, в наказание или в награду. Неспособность Терезы вести домашнюю бухгалтерию потрясала окружающих, еще когда они с Бертом были счастливо женаты. До того как заботу о чековой книжке приняла на себя Холли, предупреждения об отключении воды и света так и сыпались в почтовый ящик Казинсов и тут же благополучно терялись, так что раз или два в год дом погружался во тьму. Без электричества еще можно было обойтись, разве что телевизора было жаль, а во время романтических обедов из хлопьев, но при свечах можно было воображать себя такими влюбленными миллионерами. Но когда пустели сливные бачки и пересыхал душ, жизнь становилась по-настоящему невыносимой. Со счетами за воду шутки плохи — это понимали все. Холли, преуспевавшая в свои почти четырнадцать практически во всем, за что бы ни бралась, и в математике разбиралась. Она стала вести баланс чековой книжки, как ее учили на уроках домоводства (там же Холли научили, как в случае надобности что-нибудь зашить и залатать и сымпровизировать на ужин жаркое из того, что есть под рукой). Поняв, в каком катастрофическом состоянии находятся семейные финансы, Холли стала каждую неделю клеить скотчем на холодильник некое примитивное подобие бюджета — в точности, как наставляла миссис Шепард, готовя учениц к будущей замужней жизни. Внизу Холли писала красным водостойким маркером: «Мы можем потратить не больше...» И даже Элби относился к этому серьезно.

Джанетт — та вытаскивала во двор кухонную стремянку, срывала с веток апельсины, что висели пониже, и волокла их в кухню в ведре, чтобы надавить сока в старой металлической соковыжималке. Работа была адова, но их семья привыкла к тому, что дома всегда есть апельсиновый сок. По вечерам мать доставала из холодильника кувшин и смешивала себе «отвертку». Она ни разу не спросила, кто из детей столь предусмотрительно выжимает сок, а Джанетт, в отличие от сестры, стеснялась признаться. Мать не теряла связи с окружающим

миром, — если она проливала сок из кувшина, то вытирала за собой, — но любопытства в ней не осталось ни на грош. Ее ничто не занимало, кроме Кэла.

Обычно она не поминала Кэла вслух, но прокалывалась на мелочах — взять хоть замороженную пиццу. Когда-то они штабелями таскали ее из магазина, а теперь Терезу передергивало при одном взгляде на цветные коробки в отделе замороженных полуфабрикатов. В том ли было дело, что Кэл без конца лопал эту пиццу с сосисками и пепперони, или просто от морозильных шкафов на Терезу веяло могильным холодом? Обсуждать это она не желала. Теперь пиццу заказывали с доставкой, и ее приносили горячей прямо к дверям.

Но как-то вечером, когда они все ели пиццу и смотрели телевизор, мать заговорила наконец о том, что беспрестанно ее мучило:

— Расскажите мне про Кэла.

Они смотрели старую передачу с Жаком Ивом Кусто. Подумайте, какая связь.

— Что рассказать? — спросила Холли.

Дети правда не сообразили, о чем говорит Тереза. Прошло больше полугодом с тех пор, как Кэл умер.

— Что случилось в тот день, — сказала Тереза, а потом добавила, на случай, если они вдруг не поняли: — В доме у ваших бабушки и дедушки.

Ей что, никто не рассказал? Отец не объяснил, как все было? Нехорошо было переключать все это на Холли, но что оставалось делать? Джанетт устала в тарелку, а Элби... ну, Элби все равно ничего не знал. Вот тогда Холли мысленно поблагодарила Кэролайн за то, что та составила для нее сценарий. Иначе Холли и не сумела бы ответить. А так она рассказала матери, что Кэл вышел, а девочки задержались в доме, потому что Франни боялась клещей и решила вернуться и переодеться в длинные брюки, и что от кухонной двери Казинсов к амбару вели две дорожки, и что Кэл пошел по одной, а девочки — по другой, потому что нашли они его уже на обратном пути. Мать, конечно, бывала у Казинсов. Их с Бертом обвенчали на веранде перед домом, и они танцевали под навесом на лужайке под взглядами двух сотен гостей. В шкафу в коридоре лежал переплетенный в кремовую кожу альбом со свадебными фотографиями. Отец казался красавцем. Мама, бледная и веснушчатая,

с тонюсенькой талией и темными волосами выглядела невестой из сказки, невестой-ребенком.

— Зачем вы ждали, пока она переоденется? — спросила мама. — Почему с ней не осталась ее сестра?

— Она осталась, — сказала Холли. — Мы все остались. Все девочки вместе.

Она рассказала, как они увидели, что Кэл лежит на траве, и как поначалу решили, что он их разыгрывает. Потом девочки побежали в дом, только Франни на всякий случай осталась с Кэлом.

— На какой случай?

Терезе не понравилось, что с ним осталась именно Франни.

Холли было трудно выговорить эти слова. Они были из той жизни, в которой она все еще верила, что все могло обернуться иначе.

— На случай, если он проснется, — ответила она.

— Я все видел, — сказал Элби, не отрываясь от телевизора.

Шла реклама, хорошенькая девушка намазывала арахисовое масло на кусок хлеба.

— Ничего ты не видел, — сказала Холли.

Элби с ними не было, и с Кэлом он тоже не пошел. Элби спал. По крайней мере, в этом отношении все было чисто.

— Я убежал до того, как вы пришли. Я видел все, что случилось, пока вас не было.

— Элби, — сказала мать.

Голос у нее был исполнен сочувствия — Тереза думала, что понимает, каково сейчас сыну. Ей тоже не осталось места в этой истории.

— Ты спал, — сказала Холли.

Элби обернулся и бросил в сестру вилку, метнул, как копье, надеясь пронзить ей грудь, но вилка отскочила от плеча Холли, не причинив вреда. Элби было десять, он был еще довольно неуклюж.

— Его застрелили, и я один это видел.

— Элби, прекрати, — сказала мать.

Она пригладила руками волосы. Дети видели — она уже жалеет о том, что начала этот разговор.

— Да пусть его, — произнесла Холли таким спокойным и пренебрежительным тоном, что Элби взбесился.

— Это был Нед, из амбара! — закричал он. — Он застрелил Кэла из папиного револьвера. Из того, который Кэролайн достала из машины! Я это видел, а вы нет, потому что это я там был. Они даже не знали, что я был там.

Джанетт и Холли заплакали. Их мать тоже. Элби кричал, что он их ненавидит, ненавидит, что они все врут. На том все и закончилось.

В тот день, худший из августовских дней в Виргинии, Кэролайн уже знала, что станет юристом, и растолковала остальным девочкам — Холли, Франни и Джанетт, — что именно произошло, хотя все случилось при них. Это было уже после того, как дети, не чуя под собой ног, примчались домой, и Эрнестина вызвала неотложку после того, как они отвели Эрнестину к Кэлу. Эрнестина — пятьдесят фунтов лишнего веса — бежала за ними через поле в своих растоптанных башмаках, пока миссис Казинс ждала в доме, чтобы показать неотложке, куда ехать. Посреди этой кутерьмы Кэролайн и сложила в уме историю. И когда только нашла время? На бегу? Или когда уже вернулись в дом? Кэла повезли в машине неотложки, с мигалкой и воющей сиреной (проку в этом уже не было, хотя сам Кэл оценил бы), а Казинсы ехали следом на своей машине. Эрнестина тщетно пыталась отыскать Элби, который в суматохе куда-то запропастился. Их отец в эту минуту бежал по стоянке у своей арлингтонской юридической фирмы, чтобы прыгнуть в машину и гнать до Шарлоттсвилла — повидать сына в последний раз. Где была Беверли, никто не знал. Тогда-то Кэролайн отвела трех оставшихся девочек в ванную на втором этаже дома Казинсов, втолкнула их внутрь и заперла за собой дверь. Плакала только Франни, наверное, потому, что пробыла с Кэлом на пятнадцать минут дольше, пока остальные бегали домой и обратно. Франни одна понимала, что Кэл умер. Даже те, из неотложки, не сказали этого вслух, хотя достаточно было лишь взглянуть на Кэла. Кэролайн велела сестре заткнуться.

— Слушайте меня, — приказала Кэролайн, хотя они и без того всегда ее слушали.

Ей в то лето исполнилось четырнадцать. Голос у нее был напористый, резкий. К ногам и теннисным туфлям пристали скошенные травинки.

— Нас с ним не было, поняли? Кэл пошел в амбар один. Мы вышли позже, нашли его на траве и сразу побежали домой — звать на помощь. Больше мы ничего не знаем. Если нас кто-нибудь спросит, так и нужно говорить.

— Почему мы должны врать? — спросила Франни.

О чем тут было врать, тем более что врать вообще нельзя? Разве в этот день случилось мало плохого, к чему еще все запутывать? Вне себя от происходящего и от сестриной глупости Кэролайн со всей силы ударила Франни по лицу. Франни этого не ожидала и не приготовилась — удар отбросил ее вбок, и она врезалась головой в дверь бельевого шкафа. На левом виске мгновенно начала расти шишка. Теперь и это придется объяснять.

Стук, с которым голова сестры врезалась в дверь, разозлил Кэролайн еще сильнее, она ведь так старалась, чтобы девочки вели себя тихо. Она снова повернулась к Холли и Джанетт, те были надежнее.

— Психовать можем сколько угодно. От нас ничего другого не ждут. Но мы психуем, потому что это мы его нашли, потому что с ним такое случилось, а не потому, что мы там были, ясно?

Если бы в ту минуту она сказала им, что единственный выход для них — отрастить хвосты и ускакать прочь по деревьям, они бы так и сделали. Кэролайн думала о том, что это они виноваты, и, возможно, — иначе она не была бы Кэролайн — о том, как это скажется на ее шансах поступить в колледж. Осенью она шла в выпускной класс.

— Расскажи мне еще раз, как это случилось, — попросила Тереза Джанетт однажды вечером.

К тому времени прошло уже больше года со дня смерти Кэла. Обычно семейство не задавало Джанетт никаких вопросов. Но Холли ушла заниматься к подруге, жившей неподалеку, а Элби недавно нашел себе дружков и теперь гонял с ними на велосипеде. Джанетт с матерью остались дома вдвоем, чего не случалось почти никогда. И мать спросила, как бы между прочим, тоном, каким обычно спрашивают: «Где моя помада?» или «Кто звонил?».

Даже теперь перед глазами у Джанетт стояла Кэролайн, а в ушах раздавались ее отрывистые наставления. Джанетт видела, как волосы

на висках у Кэролайн темнеют от пота, как пропитывается потом ворот ее желтой футболки. Но Кэла она больше не видела. Всего за год лицо брата растаяло в ее памяти.

— Меня там не было, — сказала Джанетт.

— Да была же, — сказала мать, словно Джанетт просто забыла.

«Если хочешь найти виновного, задавай все время одни и те же вопросы», — как-то сказала ей Франни. Это было летом в Виргинии, задолго до смерти Кэла. Франни пыталась научить ее полицейским приемам — как вскрыть машину, как развинтить телефонную трубку, чтобы незаметно слушать чужие разговоры. «Рано или поздно кто-нибудь проболтается», — объясняла Франни.

Не пытается ли мать заставить ее проболтаться, подумала Джанетт.

— Ему надоело нас ждать, — сказала она. — Он хотел пойти проведать лошадей, а мы собирались его догнать.

— И догнали, — сказала мать.

Джанетт не следовало в такой ситуации пожимать плечами — ужасный, грубый жест, — но она пожалала:

— Было уже поздно.

Именно после смерти Кэла с Терезино лица сошли наконец — будто бросили ее — веснушки. Джанетт сосредоточенно глядела матери в переносицу, пытаясь вспомнить, как выглядела Тереза до того, как все случилось.

— Так кто дал Элби таблетки? — спросила мать.

— Кэл, — сказала Джанетт и сама удивилась, как, оказывается, приятно, когда можно хоть в чем-то не соврать. — Он всегда так делал.

В тот день случилось столько всего, что исчезновение Элби обеспокоило только Эрнестину. Она поискала на чердаке и в подвале, потом сказала себе, что, должно быть, он где-то с Беверли. А где Беверли, не знал никто. Она взяла одну из бабушкиных машин и уехала, никому не сказавшись. Если она поехала в город, то Элби, наверное, с нею. В любой другой день от одной мысли, что Беверли куда-то — куда угодно! — взяла с собой Элби, девочки лопнули бы со смеху.

* * *

«Черти колесатые» — стали они называть себя вслед за соседями по Торрансу. Им кричали это вслед всякий раз, когда они срезали путь через газоны, сновали под визг тормозов между машинами или кругами носились по стоянкам у магазинов ради удовольствия поугагать нагруженных покупателями мамаш. Окружающим и хотелось их поубивать, и жутко было — не убить бы в самом деле, и тревожно — не убились бы сами и не убили бы кого. Элби из племени мэттапони, сальвадорец Рауль, родившийся здесь от родившихся там родителей, и двое черных ребят: того, что поменьше и покрасивее, сонного с виду, звали Ленни, а другого, самого долговязого из четверых, — Эдисон. Они начали кататься вместе, когда им было по десять-одиннадцать, когда были просто несносными мальчишками, которых матери выпроваживали из дому после обеда. И с самого начала от них были одни неприятности — они развлекались, подрезая машины и вынуждая их сворачивать на скорости прямо на чужие газоны. Однажды машина перепрыгнула через бордюр и врезалась прямо в телефонный столб, а мальчишки помчались дальше, издавая боевые кличи на индейский, как им казалось, лад. В то лето, когда почти всем им исполнилось по двенадцать, дверь одной из машин неожиданно открылась и отправила Ленни в полет. Остальные вовремя дали по тормозам — и увидели, как их приятель кувыркается, будто гимнаст, на фоне синего неба. Он чуть не погиб, точно погиб бы, приземлился он на голову, но, падая, Ленни выставил правую руку и сломал запястье, так что кость вышла сквозь кожу. Не прошло и двух недель, как навернулся Элби — нежданный ливень «поднял» из асфальта впитавшийся в него когда-то бензин, и велосипед завертелся и вылетел из-под седока. Элби сломал плечо и почти оторвал себе ухо — потребовалось тридцать семь швов, чтобы пришить его обратно. Эдисон и Рауль все оставшееся лето тихо и осторожно колесили по велосипедным дорожкам в парке, не наезжая ни на кого, даже друг на дружку. Эдисон приходил навестить Элби, постоять возле его кресла в полутемной гостиной. Из-за плеча Элби приходилось торчать в кресле почти все время.

— У всех иногда бывает неудачное лето, — говорил Эдисон, и Элби, который очень хорошо знал, каким неудачным может быть лето, включал мультики и угощал приятеля тайленолом с кодеином.

Элби, Ленни и Эдисону, когда они окончили среднюю школу, было по четырнадцать, а Раулю пятнадцать. Все они были довольно рослыми и еще продолжали расти. Издалека уже трудно было понять, кто там едет на велосипеде — мальчики или взрослые мужчины. Они носились сломя голову, бешено крутили педали, будто лидирующая группа в велогонке, в постоянном стремлении выяснить, кто из них самый быстрый.

Став постарше, черти колесатые стали реже таскать в супермаркете конфеты и перешли на взбитые сливки — баллончик легко было спрятать в кармане толстовки. Потом, рассевшись на полу в комнате Элби, парни ловили быстрый сладкий кайф от закиси азота или нюхали авиамодельный клей из бумажных пакетов для завтраков. Матери всех четверых были в отчаянии оттого, с какой дурной компанией связался их сыночек, и все, кроме Терезы, свято верили, что уж их-то мальчик ни в каких безобразиях не повинен — его подбивают остальные трое.

Но как-то жарким летним днем того года, когда почти всем им было по четырнадцать, с велосипеда Рауля соскочила цепь. Они забрались далеко от дома и оказались на узенькой дорожке, шедшей вдоль поля, которое простиралось за промзоной. Рауль, сидя на корточках, возился с цепью, остальные ждали. Поле было заброшенное, оно заросло высокой травой и разнообразными сорняками, давно засохшими. Торранс, что тут скажешь. Элби улегся навзничь на горячий — еще градус-другой, и к нему будет не прикоснуться — асфальт и грел плечо. Ему было хорошо. Сейчас бы еще глаза прикрыть темными очками, но взять очки было негде. Элби вынул из огромного, на пуговице, кармана длинных шортов одноразовую синюю зажигалку. Лежала в кармане и трубочка с деревянной крышечкой и сетчатым фильтром — просто так, для фасону. Трава у Элби давно кончилась, кончились и предназначенные на ее покупку деньги, которые он стащил из заначки у подрабатывавшей нянкой Холли. Поэтому, вместо того чтобы закурить, он поднял руку к солнцу и щелкнул зажигалкой.

— Ты чего? — спросил Ленни.

Он попробовал было усесться на асфальте, но было слишком горячо. А Элби вон валяется — и ничего ему.

— Огонь общается с огнем, — изрек Элби, словно некую мудрость.

Потом повернул голову вправо, к полю, увидел двух бурых мотыльков, порхавших над сухими стеблями, подкрутил колесико зажигалки и просто уронил руку в траву.

Это поле было создано для того, чтобы сгореть. Пламя лизнуло запястье Элби, он отдернул руку и дважды перекатился по асфальту, прежде чем вскочить и подхватить велосипед. Огонь взвыл, потом восторженно захрустел, как целлофан, когда его комкают руками.

— Ты охренел, — воскликнул Рауль, попятившись. — Что ты творишь?

Они попятились, таща за собой велосипеды, уже перекинули ноги через раму, чтобы прыгнуть в седло и удрать, но никто отчего-то так и не удрал. Все четверо оцепенели, замороженные, по коже полз странный холодок, а они все смотрели и смотрели, как невиданный, на глазах растущий зверь пожирает землю повсюду, где есть трава, не смея приблизиться к асфальту. Огонь поднялся им до пояса, потом до груди, они в жизни не видели ничего великолепнее — по воздуху катились рыжие волны, словно мираж в пустыне, словно нечто поту- и посюстороннее одновременно. Над пламенем за клубился черный дым, извещая всю округу о маленькой забаве, устроенной Элби. «Пожар! Пожар!» — должно быть, кричали в промзоне, хотя по кромке поля огонь уже угасал. Ему не хватало еды. Мальчики видели, как он мечется в поисках травы, в поисках чего угодно, что позволит ему прожить еще немного. Он с готовностью сожрал бы их самих, если бы это даровало ему еще минуту жизни.

— Надо валить отсюда, — сказал Эдисон, хотя прозвучало это скорее как: «Нет, вы видели?!»

К черту баллончики, клей и травку. И велосипеды туда же. С той минуты они хотели только одного — первобытного огня. Вдали послышались сирены. Вчера мальчики помчались бы на шум, отправились бы вслед за ярко-красными грузовиками, будто поклонники за рок-группой, — выяснить, что приключилось. Но сегодня приключились они сами, и им хватило ума поскорее убраться.

Как-то летом в Виргинии дедушка Казинс научил Элби и Кэла мастерить спичкострелы. Дело было нехитрое, всего и требовалось что допотопная бельевая прищепка с пружинкой, две резинки, коробка спичек и кусочек наждачной бумаги. Мальчикам велели внимательно слушать старого зануду, которому было поручено вбить в их юные головы сколько-то семейной мудрости. Тогда старик и вспомнил о револьвере, стреляющем зажженными спичками. Конечно, в Виргинии это было совсем другое дело, там, хотя бы в то капризное лето, когда без конца шел дождь, мир был полноводен, сочен и практически не горюч. В Виргинии дрова складывали в гараже в надежде на то, что когда-нибудь они просохнут настолько, чтобы разгореться. Сделав два револьверика, дед укрепил в одном из них спичку и — дзынь! — отправил снаряд с веранды красивой огненной дугой.

— В амбаре даже не вздумайте, — сказал дед, вручая им свои творения. — И вообще не смейте сами этим заниматься. Вы поняли? Стрелять спичками только при мне.

На Кэла спичкострелы не произвели никакого впечатления. При всякой возможности он вытаскивал из бардачка отцовский револьвер и прятал его в носке под джинсами, туго примотав рукоять к лодыжке банданой. Он и в тот день, на веранде, был при револьвере, пока дед возился с бельевой прищепкой.

Но у Элби револьвера не было, и маленький огнемет заинтересовал его, причем заинтересовал настолько, что пять лет спустя в Торрансе Элби сумел воссоздать его по памяти. Разложив детали на обеденном столе, он соорудил по спичкострелу для каждого члена шайки. Разок потренировавшись на заднем дворе Эдисона и спалив с разного расстояния порядочно бумажных полотенец и салфеток, они подожгли гору пустых картонных коробок за винным магазином и два засохших куста перед заправкой. В те дни, когда их шайка просыпалась рано, они стреляли спичками по газетам, ожидающим на дорожках и ступеньках соседских домов. Наловчившись, они принялись стрелять по газетам прямо с велосипедов. Как-то доехали городским автобусом до самой Сансет-стрит и стреляли спичками в пальмы, а потом в сторонке дожидались, когда, заметив, что у них над головой вдруг запылали сухие ветви, со стройных стволов посыплются вниз крысы. Они пытались стрелять и

по крысам, но безуспешно — те шустро бегали и довольно плохо воспламенялись.

Все лето они поджигали все вокруг, не обращая внимания на засуху и ветер, наплевав на строгие предупреждения медведя Смоки на щитах вдоль дорог. К черту Смоки. Их не интересовали неряшливые лесные пожары. Их привлекала точность, изящество огня — одна горящая газета, один заброшенный участок. И первые два месяца нового учебного года в школе Шери они стреляли спичками. Все они состояли на учете в полиции как магазинные воришки, но на поджогах их поймать не удавалось — по крайней мере, пока они не запалили школу.

Последним уроком по пятницам у Рауля было изобразительное искусство, блаженный момент накануне выходных — сиди себе и прорисовывай чешуйки у драконов, плюющихся пламенем в деревья. Прямо перед выходом из класса, через секунду после того, как прозвенел звонок и все принялись яростно запихивать альбомы в рюкзаки, Рауль наклонился и откинул в сторону защелку на окне. Рисовальный класс находился в подвале школы, большие окна были расположены вровень с землей. За Раулем никто не следил, и никто не видел, что он сделал. И сделал-то ни за чем, просто захотелось. Все равно учительница мисс Дель Торре закроет перед уходом домой, а если не додумается — что вполне может случиться, потому что мисс Дель Торре дура набитая, — ну, тогда, наверное, закроет уборщик, придя после уроков мыть полы.

— Надо кое-чего посмотреть, — объявил Рауль приятелям в субботу утром.

Заняться было нечем, так что они даже не спросили, на что он собрался смотреть, просто оседлали велосипеды и двинулись за ним к школе. Рауль провел их за низкую живую изгородь, закрывавшую вид из окна на улицу, и, заглянув в рисовальный класс, толкнул стекло — просто прикоснулся к нему, и окно распахнулось. Похоже, мальчишкам предстояла нескучная суббота. Элби радостно потащил велосипеды за изгородь, пока Ленни, самый мелкий из четверых, первым протискивался внутрь. Оказавшись в классе и распрямившись, Ленни улыбнулся и помахал им через стекло. Обнаружил в другом конце класса окно, открывающееся пошире, — настоящий портал в другое

измерение, — и один за другим черти колесатые проскользнули в школу.

Они не сумели бы объяснить, как школа, главный источник страданий в их жизни, вдруг превратилась в самое притягательное место на земле лишь оттого, что на дворе была суббота. «Как за день все изменилось, — напевала мать Элби в те времена, когда ей еще случалось петь. — За каких-то двадцать четыре часа». Коридоры казались тихими и просторными, когда по ним не носились орды обезумевших детей и не слонялись мрачные, потрепанные жизнью взрослые. Лампы над головой не жужжали, солнечный свет стекал по стенам на линолеум пола, расплывался лужицами у ног мальчишек. Каково это, подумал Эдисон, состариться, стать старым, как отец, и снова вернуться сюда. Наверное, как сейчас, решил он: вся школа окажется в его распоряжении. Эдисону даже в голову не пришло, что много лет спустя тут будут учиться другие дети. Рауль остановился у пробковой доски, где были вывешены работы победителей художественного конкурса. Только две из них чего-то стоили: нарисованная углем девочка в сарафане и небольшой натюрморт — две груши в миске. Обоем достались поощрительные премии, а выиграл нелепый коллаж — небоскреб, сделанный из крошечных журнальных фотографий небоскребов. Не оттого ли, подумал Рауль, мисс Дель Торре редкая — не помешает повторить еще разок — дура и не видит, кто из ее учеников по-настоящему талантлив, что вокруг всегда слишком много народу?

В какой-то момент они потеряли Ленни. Никто не заметил, как он исчез, пока он не попался им в коридоре.

— Эй, — сказал он, маша рукой, точно они могли его не заметить. — Идите сюда. Это надо видеть.

Скрип теннисных туфель эхом отдавался по коридорам, и от этого звука Элби засмеялся, и все они засмеялись, идя вдоль длинного ряда запертых, совершенно одинаковых шкафчиков.

— Вы только гляньте, — сказал Ленни и свернул в мужской туалет.

Для любого новичка в городской школе Торранса нет места ужаснее туалета, особенно если новичок мелкий и никак не может нарастить мышцу. Чего только не придумывал Ленни, чтобы держаться подальше от туалета, — иногда ему начинало казаться, что от одних

только мыслей его начинает туда тянуть. Но сейчас в этом помещении, еще вчера загаженном и опасном, как логово наркомана, где было не вздохнуть от запаха мальчишеского пота, дерьма, мочи и острого детского страха, — сейчас здесь было идеально чисто. Неуловимо, даже приятно, будто в городском бассейне, пахло хлоркой. Во всем устройстве туалета — зеркала и раковины по одной стене, ряд кабинок с зелеными металлическими дверями вдоль другой — была даже какая-то умиротворяющая симметрия. Между кабинками и раковинами достаточно места, чтобы не врезаться ни в кого, если только этот кто-то не старается нарочно врезаться в тебя. Мальчики впервые заметили три полосы кафеля, опоясывающие стены туалета, три синие ленты, никому ни за чем не нужные, кроме как для украшения. Рауль подошел к писсуару, откинул, вслушиваясь в собственное журчание, голову и увидел солнечный свет.

— С каких пор здесь окна?

Остановить их было некому, и они зашли в женский туалет и обнаружили, что он точно такой же, только три полосы кафеля, идущие по стенам, розовые, а вместо писсуаров возле раковин привинчен автомат с тампонами, на белой эмали которого кто-то нацарапал «СЪЕШЬ МЕНЯ». Кто-то другой безуспешно попытался затереть надпись шкуркой. Все это как-то разочаровывало. Даже Элби и Рауль, у которых были сестры, ждали чего-то большего.

Все кладовки в школе были заперты, кабинет директора тоже — жаль, они бы с радостью порылись в ящиках директорского стола. Мальчишки подумали, не переставить ли все из одного класса в другой или, может, просто передвинуть что-нибудь, пусть учителя гадают, не поехала ли у них крыша, но в итоге решили ничего не трогать. Слишком здорово было в школе в субботу, и, если они собираются прийти сюда еще, лучше оставить все как есть.

Так что для Элби не было никакого резона бросать спички в мусорную корзину в рисовальном классе, как раз когда они уже собрались уходить. В те дни у него в кармане всегда был коробок спичек, и он тренировался вытаскивать и зажигать их одной рукой. Потом сильно встряхивал — гасил. Только в тот раз он зажег спичку и бросил весь коробок в мусорную корзину в дальнем углу класса, возле окна, через которое они залезли, почти так же бездумно, как Рауль откинул защелку на окне. Не было у него никаких резонов зажигать

тут спичку или бросать ее. Он не собирался красоваться перед остальными мальчишками — они и сами в те дни все время раскидывали повсюду зажженные спички. Ни в чем перед ним не провинился рисовальный класс, просто оказались они именно там, и, главное, им совершенно незачем было являться в субботу в школу. Поглотившая спичку металлическая корзина для бумаг была громадная, по пояс высотой, раз в десять вместительнее тех, что стояли в обычных классах и годились разве на то, чтобы зашвырнуть в них листок с проваленной контрольной. Корзина в рисовальном классе должна была быть чиста и пуста, как и все в школе, но на дне зеленого пластикового мусорного мешка еще лежали несколько скомканных газетных листов и пара замасленных тряпок, которыми вытирали кисти, отмыв их предварительно в скипидаре. Корзина занялась мгновенно и дыхла пламенем, будто адова пасть. Элби отпрыгнул, точно заяц, а остальные мальчишки обернулись. Пламя перекинулось на толстые, с двойной подкладкой, зеленые шторы из грубой синтетики, призванные затемнять класс, поскольку в том семестре мисс Дель Торре показывала слайды по истории искусства. Шторы были ровесниками родителей мальчишек и загорелись быстрее сухой травы в поле, пламя взвилось до звукоизолирующих плиток на потолке и побежало у чертей колесатых над головами в другой конец класса, где уже ждали краски, кисти, пастельные карандаши, бумага и банки с растворителем, готовым взорваться подобно коктейлю Молотова. Дым не был похож на тот, что так нравился им на улице. Он был какой-то чернильно-смоляной — жирный, вязкий и черный. Он теснил их, заглатывал воздух, пока яркое оранжевое пламя пожирало шторы. Во всех углах бушевал огонь, и казалось, что рисовальный класс сжимается вокруг них. Они забрались сюда через окно, но даже думать было нечего о том, чтобы выбраться тем же путем.

До сих пор они не устраивали пожаров в закрытом помещении, им даже видеть этого не доводилось, и навыки, усвоенные ими на свежем воздухе — стоять не шевелясь, полагая, что огонь обязан их уважать, раз уж они его разожгли, — ничем им не помогли. Сработала школьная пожарная сигнализация. Им был знаком этот звонок, такой громкий, что кажется, будто звенит у тебя в голове. Мальчики радовались избавлению от уроков, девчонки вечно расстраивались, оттого что им не разрешают взять с собой сумочки, все строились и организовано

выбегали на улицу. Звонок привел их в чувство. Звонок спас их. Они столько раз отрабатывали последовательность действий, что в ту секунду действовали автоматически: пригнулись и, держась вместе, побежали к двери. Пламя взметнулось, лизнуло футболку Элби с Красным Бароном и опалило Элби спину. В коридоре Эдисон содрал с него футболку, обжег руку. Пока они бежали к двери, распылители, которых они никогда раньше не замечали, заливали длинные пустые коридоры, растворяя работы участников художественного конкурса. Мальчишки вырвались из боковой двери, выбежали на солнце и упали на траву у парковки, задыхаясь, кашляя и хватая ртом воздух, опаленные и пропахшие дымом. Элби на секунду вспомнил брата. В голове у него мелькнуло — не это ли чувствовал Кэл, умирая? Четверо мальчишек лежали на траве, по их замурзанным щекам текли слезы. Опьяненные ощущением собственной живучести, они не могли сдвинуться с места. Там-то их и застали пожарные, подоспевшие через несколько минут.

Решение отослать Элби в Виргинию, к Беверли и Берту, далось Терезе огромной кровью. Безусловно, Элби нуждался в отце — но не в таком, любой отец был бы предпочтительнее. Беверли и Берт не убивали Кэла. В глубине души, где-то на самом ее доньшке Тереза это понимала. Они недосмотрели, но, как показала недавняя катастрофа с Элби, она тоже недосмотрела. И все же их винить было легче. Это было почти приятно, хотя «приятно», наверное, не то слово. Она могла позвонить Берту и спросить: «Тебе приятно винить меня за Элби? Я правильно выбрала слово?»

Одно было ясно — Тереза не сможет оставить своего второго сына при себе, а поскольку желающих взять его больше не было, выбирать не приходилось. В конце концов Элби отправился в Арлингтон, и, когда у него не получилось в тамошней частной школе, его отослали в интернат в Северной Каролине, а потом в кадетский корпус в Делавэре. В то лето, когда он вернулся в Торранс, ему было восемнадцать и он только что поступил в старшую школу, потому что из-за интерната отстал. Холли и Джанетт приехали домой из колледжа, они пытались водить его на пляж, звали на вечеринки к своим друзьям, которых он мог бы помнить, но Элби лежал на диване, как колода,

смотрел телевикторины и мисками поедал засахаренные кукурузные хлопья. Он свел все общение к двадцати словам в день. Буквально к двадцати — он их считал. Опустошал домашний бар слева направо, хотя в самом баре никакой системы не наблюдалось. Никогда не открывал новой бутылки, если не допил предыдущую.

Однажды он сообщил, что ему звонил Эдисон. У его старого друга была работа, он готовил концерты в каком-то клубе в Сан-Франциско, и сказал, что Элби нужно будет только выгружать усилители из автобусов и втыкать их в розетки. Эдисон снимал квартиру с каким-то парнем пополам, так что Элби мог бы бросить матрас на пол. Элби, казалось, оживился, заинтересовался, стал похож на того Элби, которого помнили Джанетт, Холли и Тереза, — на мальчика, которому было дело до всего на свете. А уж таскать усилители и втыкать провода в розетку ему точно было по силам, так что Тереза купила сыну билет до Сан-Франциско и сделала стопку бутербродов с арахисовым маслом. Холли и Джанетт дали ему по сто долларов из своих сбережений. Он загрузил в багажный отсек автобуса дорожную сумку и велосипед, и Джанетт с сестрой и матерью дождались, пока он займет свое место у окна и поглядит, как они машут ему на прощание. Он снова уезжал. Скоро он станет чьей-то еще неразрешимой проблемой. От этого каждая из них втайне испытывала почти головокружительное облегчение.

В тот вечер Фоде вошел в ванную, когда Элби чистил зубы, стукнул разок и зашел, закрыв за собой дверь. В ванной можно было спокойно поговорить, хоть двое взрослых мужчин и помещались там с трудом. Элби пришлось прижаться к раковине, а Фоде, во фланелевых пижамных штанах и белой футболке, притиснулся к водруженным друг на друга пластиковым ящикам из-под молока, где хранились подгузники, полотенца и игрушки для купания.

— Брат мой, — сказал он, — послушай, я хочу тебе сказать, ты останешься тут, с нами. На неделю, на год, на всю жизнь, сколько тебе нужно, столько и живи, мы тебе рады.

Изо рта у Элби торчала зубная щетка, с нижней губы капала мятная пена, когда муж его сестры положил руку ему на затылок и прикоснулся лбом к его лбу. Обычай его племени? Демонстрация искренности? Какой-то фокус? Все, что он знал о сестре, сводилось к

мутным воспоминаниям подростковой поры, а о ее чокнутом африканском муже Элби не знал ровным счетом ничего. Он кивнул, боднув Фоде в лоб. Ему все-таки нужно было где-то сегодня переночевать.

Фоде улыбнулся:

— Хорошо, хорошо, хорошо. Твоей сестре нужна семья. Кэлвину нужен дядя. А я не отказался бы от брата. Меня занесло очень далеко от дома.

— Это точно, — сказал Элби.

— Ты можешь говорить со мной о чем хочешь. Мы тут обо всем разговариваем. А то вдруг ты посмотришь, как мы живем, и подумаешь: ой, в этом доме все так заняты! Но этот дом теперь твой дом.

Он покачал головой.

— Я хорошо умею останавливаться. Только скажи мне: «Брат, остановись, посиди со мной», — и я приду. И ты скажешь мне, что тебе нужно.

Фоде замолчал и снова взглянул на Элби, его лицо было так близко, что расплывалось.

— Элби, что тебе нужно?

Элби подумал. Наклонился вперед — сплюнуть пасту в раковину. У него раскалывалась голова.

— А тайленол есть?

От этой небольшой просьбы у Фоде засияло все — зубы, очки, широкий лоб, — его лицо было богато отражающими поверхностями. Он потянулся за спину Элби и, открыв аптечку, указал на вторую полку.

— Тайленол, — с гордостью сказал он. — Тебе нездоровится?

— Голова болит.

Он быстро окинул взглядом шкафчик, прикидывая, чем тут можно разжиться. Ничего особенного: тайленол, детский тайленол, ушные капли, глазные, капли в нос.

Фоде наполнил маленький желтый стаканчик из крана и протянул его Элби, как чашу причастия.

— Скоро ты заснешь. Это поможет. Ты долго добирался домой.

Элби проглотил четыре таблетки, одним кивком обозначив и «спасибо», и «спокойной ночи». Фоде торжественно кивнул в ответ,

пяťясь вышел из ванной и закрыл за собой дверь. Джанетт говорила, откуда родом это милейшее создание, но Элби ни черта не помнил: Намибия, Нигерия, Гана? Потом всплыло. Гвинея.

Даже с «бонусом» в виде Бинту, которую, раз уж она не была второй женой его зятя, получилось бы, наверное, оприходовать, пока ребенок спал, Элби не мог сидеть в этой квартире целый день. Для начала, там стояла тропическая жара. Батарея шипела и лязгала, словно кто-то в подвале пытался забить ее насмерть свинцовой трубой. Ни Бинту, ни Дайо даже не вздрагивали от шума, но Элби от него готов был на стену лезть. Неудивительно, что Джанетт и Фоде ушли на работу так рано. Увлажнитель вдувал в крошечную комнату ровную струю тумана — может быть, они так пытались воссоздать субэкваториальный климат в этом бруклинском террариуме.

— Полезно для легких, — с улыбкой сказала Бинту, когда Элби встал посмотреть, можно ли выключить увлажнитель.

Окно, выходящее на пожарную лестницу, было заколочено, так что пришлось пройти четыре пролета, чтобы покурить. На третий раз, выйдя с сигаретой, он взял с собой велосипед и укатил в мягко валивший снег. К часу дня он нашел работу — курьером.

Подобную работу он находил в каждом городе, то было единственное занятие, которое, как Элби казалось, уготовила ему жизнь. Он даже не мог называть себя поджигателем, потому что ему сейчас было двадцать шесть и с четырнадцати лет он ни разу даже камина не разжег. На вопрос, когда он сможет приступить к работе, он ответил — сейчас, а потом целый день изучал Манхэттен. Несложное место.

— Я так тобой горжусь! Это значит, что ты останешься. Туристы в первый же день работу не находят. И гости тоже. Теперь ты полноправный здешний житель. Всего один день здесь, а город уже твой.

Джанетт улыбнулась брату — своей фирменной еле заметной улыбкой, слегка закатив глаза. Африканцы есть африканцы — как бы говорила она, — тут уж ничего не поделаешь. Она так и не переделалась после работы, осталась в юбке и свитере. Джанетт была на втором курсе, изучала биомедицинскую инженерию, когда забеременела. Оказалось, Джанетт не была дурой. Накануне вечером

она рассказала Элби, как, вместо того чтобы последовать первоначальному плану и сделать аборт, они с Фоде решили провести радикальный социальный эксперимент под названием «Давай оставим ребенка», а результат у эксперимента оказался такой, что Джанетт пришлось бросить учебу и пойти работать сервисным инженером в «Филипс». Она устанавливала оборудование, проводила обучение персонала и обслуживала аппараты МРТ в больницах от Куинса до Бронкса.

— Втыкаю вилку в розетку, — равнодушно пояснила она, — и показываю инструкцию.

Ей придется и дальше этим заниматься, объяснила она Элби тем вечером, пока стелила ему постель, хотя работа бессмысленная и угнетающая, по крайней мере, пока Фоде не защитит диссертацию по социальной гигиене в Университете Нью-Йорка, а Дайо не подрастет настолько, чтобы она отважилась отдать его в детский сад. Они говорили «Дайский сад».

— Если я не вернусь в университет, — прошептала она, подтыкая простыню под диванные подушки, — радикальный социальный эксперимент можно будет считать неудавшимся, потому что мне придется покончить с собой.

Элби держал ребенка на руках, пока Джанетт разогревала обед, который оставила им Бинту. Фоде накрыл на стол, откупорил бутылку вина и принялся рассказывать про свой день:

— Американцы обожают делать африканцам прививки. Это же такая прелесть, когда на первой полосе «Нью-Йорк таймс» фотография — чумазенькие нигерийские детишки в очереди на укол. А как своих, нью-йоркских детей прививать, так нет, это прошлый век. Тут мамочки считают, что вакцинация — это против природы, что она может вызвать болезни хуже тех, которые предотвращает. Я сегодня целый день уговаривал женщин с высшим образованием прививать детей, а они со мной препирались. Нужно было пойти на медицинский. Никто не станет меня слушать, пока я не буду врачом.

— Я тебя стану слушать, — сказала Джанетт. — Не ходи на медицинский.

— Одна женщина мне сказала, что не верит в эпидемиологию. — Он закрыл лицо руками. — Кошмар.

— Корь в Нью-Йорке больше не нужно прививать, — похлопала его по плечу Джанетт. — Мы одолели корь.

Джанетт помыла зелень для салата. Фоде завернул нарезанный хлеб в фольгу и поставил его в духовку. Они хлопотали в крохотной кухне, лавируя, уступая друг другу дорогу.

— Расскажи лучше, как у тебя прошел день, — сказал Фоде. — Давай подумаем о чем-нибудь хорошем.

— Хочешь подумать о показе аппаратов МРТ в подвале больницы?

Фоде на мгновение остановился, потом улыбнулся и покачал головой:

— Нет-нет.

Он повернулся к шуруину, радуясь, что есть и другие варианты.

— Что я хотел сказать: Элби, пожалуйста, расскажи про свой день.

Элби переместил племянника с одного колена на другое и начал говорить, обращаясь к малышу:

— Сегодня меня в четырех зданиях остановила охрана. Я показал права, мне разрешили подняться, а потом меня задержал второй охранник, у лифта, который сказал, что наверх мне нельзя.

Фоде уважительно кивнул:

— Неплохо для белого.

— А потом меня чуть не сбил автобус М16.

— Прекрати, — сказала Джанетт, ставя в середину стола миску салата. — Хватит про твой день.

— Тогда остается только Дайо, — сказал Элби.

Фоде забрал у него малыша.

— Дайо. Вот кого мне хочется послушать больше всех. Сын, скажи нам, прекрасен ли был твой день?

— Дядя, — сказал Дайо и вытянул ручки, чтобы его взяли обратно.

Элби, так долго живший на грани, а временами забредавший за грань, выглянул из окна, посмотреть на огни, сиявшие в бесчисленных бруклинских квартирах. Он задумался, неужели этим все и заняты: готовят ужин с семьями, держат на руках детей, рассказывают, как прошел день? Такая у них жизнь?

Велосипед Элби был собран из такого количества деталей разного происхождения, что попросту утратил право называться «Швинном». Работа Элби состояла в том, чтобы развозить мелкие посылки, заверенные нотариусом страховые бланки и многообещающие рукописи. Иногда доставался контракт, и нужно было ждать, пока его подпишут, прежде чем отвезти обратно. Иногда его просили расписаться как свидетеля. Нью-Йорк был страной бесконечных доставок. Здесь кому-то постоянно надо было, чтобы что-то оказалось в другом месте, — с утра до вечера. Элби подрезал автобусы и вклинивался между такси, пугал водителей из Коннектикута, как в те времена, когда был чертом колесатым. Туристы шарахались от летящего прямо на них велосипеда и прижимались к обочине. Добравшись до пункта назначения, Элби вскидывал велосипед на плечо, словно младшего брата, и нес его с собой в лифт. Элби был всего на три дюйма выше отца — высокий, но не великан, — однако необычайная худоба словно добавляла ему роста. Случалось, что администраторы слегка бледнели, видя, как Элби идет к их столам с коричневым конвертом в руке и велосипед седлом вгрызается ему в лопатку. Живой скелет с черными татуировками и толстой черной косой — за клерками будто явилась сама Смерть, готовая увезти их прочь на раме.

— Может, тебе нужно потреблять больше калорий? — спрашивала Джанетт, когда он, прихрамывая, входил вечером в квартиру.

— Издержки профессии, — отвечал он.

Это было и правдой, и неправдой — видал он и толстых курьеров.

Элби прилично зарабатывал, и через пару месяцев, перестав думать, что съедет завтра или послезавтра, стал отдавать половину Джанетт за квартиру, кофе и вино и на образование — Дайо или ей. Оставшуюся половину он менял на сотенные купюры и складывал в то отделение рюкзака, что застегивалось на молнию. Сначала он попытался дать деньги Фоде, но Фоде и смотреть на них не стал. На следующий день Элби дождался сестру в метро и вручил деньги ей. Джанетт кивнула и сунула купюры в карман.

— Ты не думал, что нам стоит сходить к психологу? — спросила она, пока они шли мимо магазина йогуртов, мастерской по ремонту обуви и корейских базарчиков с ведрами нарциссов у входа. Возможно,

она думала, что деньги Элби ей дал как раз на врача. — Когда встанем на ноги в психологическом смысле, сможем устраивать конференции по телефону с мамой и Холли, чтобы они проходили терапию вместе с нами.

Элби сказал, что пока не готов звонить матери, но Джанетт ей звонила. Почти каждый день звонила Терезе с работы и все ей рассказывала.

— А папа? — спросил Элби.

На улице было не протолкнуться, он на ходу обнял Джанетт за плечи. Он не знал почему. Раньше он так никогда не делал, но было славно. Они шли в ногу.

— Папа годами ходил к психологу, точно тебе говорю. Уже небось бросил.

— Безо всяких телефонных конференций?

Джанетт покачала головой:

— Ему бы это в голову не пришло.

Элби приехал в Бруклин, чтобы встать на ноги, и в некоторых отношениях уже стоял, если не считать пьянства. Впрочем, он несколько ограничил потребление крепкого алкоголя и спидбола, скрасившего ему всю вторую половину жизни. Курение было вообще не в счет. Дурные привычки — вопрос перспективы, и, посмотрев на настоящее сквозь призму прошлого, любой бы сказал, что Элби справляется просто потрясающе. Он накопил достаточно денег, чтобы найти квартиру, но пока не искал. Из-за тесноты их жизнь походила на комедию положений, однако Фоде и Джанетт обставили все так, что Элби уже казалось — ему и не надо от них съезжать. Стоило Элби войти, и Дайо тут же пытался на него вскарабкаться, становился обеими ножками ему на ногу, обхватывал ручками мускулистую икру, чтобы подтянуться. Слово «дядя» он выговаривал лучше всего, четко и ясно. Он без конца его повторял. Элби нравился диван, на котором он не помещался. Нравились дни, когда он после обеда катил домой и говорил Бинту, что она может пару часов отдохнуть, пока он сходит с малышом в парк. Ему нравилось чувство, для которого он не знал названия, когда, возвращаясь поздно вечером, он видел на крыльце Фоде — тот сидел и ждал его с пивом в руке. Он, конечно, в конце концов от них съедет, — говорил себе Элби, но пока он привозил домой холодную лапшу с кунжутом из Чайнатауна, каждое утро

складывал одеяла и убирал их за диван, несколько раз в неделю находил поводы допоздна не показываться дома, чтобы дать им побыть наедине, а когда все же возвращался, поворачивал ключ в замке так тихо, что ни разу их не разбудил.

— Где ты был прошлой ночью? — спрашивала Джанетт, и Элби думал: «Ага, соскучилась».

Поначалу Элби ходил по вечерам в бары и в кино, но быстро понял, что бары и кино в Нью-Йорке могут запросто сожрать весь дневной заработок. Он сидел в библиотеке до закрытия, потом шел в читальный зал Общества христианской науки, а когда и тот закрывался, Элби — если книга попадалась хорошая, а спида еще не отпускали — шел в автоматическую прачечную, которая не закрывалась никогда, и сидел среди дохлой моли и стука сушильных машин в вездесущем запахе влажных простыней. Элби знакомился с секретаршами в приемных издательств, куда доставлял конверты, и спрашивал, что они читают, поэтому у него всегда были книги. Обычно в тех конторах, куда Элби ездил, ему ничего не дарили, но издательские секретарши были не прочь презентовать книжку посыльному-велосипедисту, даже если он был посыльным Смерти.

— Расскажите потом, как вам, — говорила одна, и он в ответ ей улыбался. Улыбка у Элби была ослепительная, чудо ортодонтии времен его детства, ничего подобного от человека его внешности никто не ожидал. От этой улыбки секретарше начинало казаться, будто ей тоже что-то подарили.

Как-то за полночь в начале июня Элби сидел в прачечной в Уильямсберге. Мимо по-прежнему пролетали такси, но они стали тише. И люди на улице притихли. Элби читал роман, который начал накануне, и, увлекшись, забыл про время. Роман был интереснее обычно перепевавших ему детективов и триллеров, и вообще от секретарши «Викинга» ему всегда доставались книги получше. Она не просто давала Элби то, что вышло на этой неделе, хотя иногда попадались и новинки. Как-то вручила ему «Дэвида Копперфильда» и сказала, что ей кажется, ему понравится, вот просто так, словно Элби был из тех, на кого посмотришь и подумаешь о Диккенсе, и Элби его прочитал. Эту книгу задавали в школе, когда он учился в Виргинии. Он ее месяц таскал с собой, как и другие ребята в классе, но так и не открыл.

— Будь мы с вами знакомы, когда я жил в Виргинии, — сказал он секретарше, когда дочитал, — я бы сдал экзамен.

— Вы из Виргинии? — спросила она.

Она была примерно одних лет с его матерью, может, чуть моложе, и умная, он это сразу понял. Их разговоры длились не дольше двух-трех минут, но она ему нравилась. Элби надо было ехать дальше, и телефон у нее на столе все время трезвонил. Она сняла трубку, спросила, может ли звонивший подождать — и тут же поставила его в режим удержания вызова.

— Я там не родился, — сказал Элби. — Просто какое-то время жил, в детстве.

— Никуда не уходите, — сказала она. — Секундочку.

Вернувшись, она дала ему книгу в мягкой обложке, называвшуюся «Свои-чужие».

— В прошлом году она наделала много шума, получила Национальную книжную премию, продажи были космические. Не слышали?

Элби покачал головой. В прошлом году он еще жил в Сан-Франциско, тратил зарплату на героин. На Восточном побережье мог упасть метеорит, и он не узнал бы.

Она перевернула книгу и постучала пальцем по крошечной фотографии на задней стороне обложки.

— Первая книга, которую он написал за пятнадцать лет, а то и больше. Все уже махнули на него рукой.

Зазвонил телефон. Все кнопки удержания вызова уже мигали. Пора было возвращаться к работе. Она протянула ему книгу и помахала на прощание. Он слегка склонил голову и улыбнулся, прежде чем выйти.

Оглядываясь назад, он бы сказал, что с самого начала, может с середины первой главы, понял: тут что-то не так, — хотя, когда оглядываешься назад, всегда все ясно. Пожалуй, вернее было сказать, что книга захватила Элби задолго до того, как он увидел в ней себя. Это-то и казалось полным безумием — как сильно он влюбился в книгу, еще не зная, о чем она.

Книга рассказывала о двух соседских семьях из Виргинии. Одна пара жила в своем доме уже давно, вторая только что переехала. У

соседей была общая подъездная дорожка. Они ладили. Одалживали друг другу вещи, присматривали за детьми. Ночами сидели на верандах, выпивали и говорили о политике. Один из мужей был политиком. Дети — в общей сложности их было шестеро — беспрепятственно слонялись по обоим домам, девочки спали друг у друга в кроватях. Не требовалось большого ума, чтобы догадаться, к чему все идет, только вот дело было даже не в той злосчастной интрижке. Книга была про невыносимое бремя жизни: работа, дом, дружба, брак, дети — словно все, чего эти люди хотели и над чем трудились, укрепляло, как цементом, их невозможность стать счастливыми. Дети, милые и забавные поначалу, оказались настоящими змеенышами. Старший и младший — мальчики, между ними четыре девочки. Две девочки у политика, две девочки и два мальчика у женщины-врача, в которую влюблен политик. Лишний муж, лишняя жена. Младший мальчик был невыносим. Может быть, в нем и крылась главная беда. Он был воплощением всех непреодолимых препятствий. Любовники, измученные своими браками, домами и работами, шли на любые хитрости, чтобы улучшить минутку и побыть вместе, но на самом деле пытались сбежать от детей, и особенно от младшего сына. Дети, на которых постоянно вешали маленького братца, давали ему бенадрил, чтобы отделаться. Старший сын носил лекарство в кармане — у него была аллергия на пчелиные укусы. Они кормили малыша бенадрилом и запикивали в корзину для белья под стопку простыней, чтобы поехать на велосипедах в муниципальный бассейн, чтобы вырваться на волю. Разве не этого все хотят, не воли — пусть бы и на мгновение?

Элби прикрыл книгу, заложив страницу большим пальцем. В прачечной как-то внезапно похолодало. Рядом тусовалась парочка панков: парень с шипастой прической и девочка с двумя булавками в носу. Сидели и курили, пока их черное шмотье крутилось в машине. Девочка чуть улыбнулась Элби, может, подумала, что он их поля ягода.

Он знал, что это бенадрил? Они говорили, что это «тик-так» — но ведь он знал? Он просыпался под кроватью, в поле, в машине, на диване, прикрытый одеялами. Однажды проснулся на полу прачечной в Виргинии, погребенный под простынями. Он не понимал, почему просыпается где-то, не помня, что засыпал там. «Потому что ты маленький, — говорила Холли. — Маленькие больше спят».

У него замерзли руки. Он положил книгу обратно в сумку и, ведя велосипед, вышел на улицу, слушая «тик-тик» его спиц, а юные панки глядели ему вслед и думали, что он ушел, забыв свою стирку. Он знал, о чем будет следующая глава, хоть и не читал ее, — о том, как старший сын по имени Патрик умрет: все таблетки скормят младшему, и, когда они понадобятся, пузырек окажется пуст. И книга ведь будет даже не об этом.

Элби шел с велосипедом по улице. Видел ли он себя в датских детективах? В постапокалиптических триллерах? Неужели вся беда действительно в нем — и в том, что он вечно мнит себя центром вселенной?

Беда была не в нем.

Когда Элби вернулся в квартиру, было почти два ночи. Он пошел в спальню и встал в изножье кровати; Джанетт, Фоде и Дайо крепко спали. Может быть, их подсознание признало Элби членом семьи и больше не слышало его шагов, или, может, они просто чертовски устали за день, и кто угодно мог бы стоять у них в спальне, а они бы не проснулись. Шторы были опущены, но в комнате все равно было светло. Ничего не поделаешь — Нью-Йорк. Здесь никогда не бывает по-настоящему темно. Дайо лежал в постели с родителями, между ними, спал на спине. Джанетт положила руку на грудь. Смотреть, как другие спят, было почти невыносимо. Она рассказывала Фоде, что случилось? Наверняка рассказывала, что у нее был брат, который умер, но знал ли он остальное? Элби никому не говорил. Ни друзьям на великах, ни курьерам, с которыми пил по утрам кофе, ни Эльзе из Сан-Франциско, с которой кололся одной иглой. Он никогда не произносил имени Кэла. Элби накрыл ладонью ступню сестры, спрятавшуюся под простыней, одеялом и покрывалом. Сжал ее, и Джанетт попыталась во сне убрать ногу, но он держал, пока сестра не открыла глаза. Никому не хочется проснуться оттого, что у него в спальне кто-то есть. Джанетт вскрикнула тихо и сдавленно — возглас чистого страха, — чуть не надорвав своему брату сердце. Ее муж и сын не проснулись.

— Это я, — прошептал Элби. — Вставай.

Он показал на дверь спальни и вышел в гостиную, подождать Джанетт.

На лето Лео Поузен снял дом в Амагансетте. Без вида на океан — нужно писать совсем другие книги, чтобы позволить себе вид на океан, — но красивый, с просторными холлами и светлыми комнатами, с качелями размером с тахту на веранде и с кухней, где стоял такой огромный стол, что казалось, его сколотили отцы-пилигримы, чтобы отпраздновать грядущий, более удачный День благодарения. Дом принадлежал актрисе, которая в доме жила только летом, а в том году вообще была на съемках в Польше. Дама-брокер из агентства недвижимости дала понять, что собственность никогда раньше не сдавали в аренду, но актриса — большая поклонница Лео. Она рассчитывала получить роль в фильме по «Своим-чужим». Хотела играть влюбленную докторшу и надеялась, что Лео, окруженный ее красивыми вещами и фотографиями, вспомнит о ней.

Лео, дабы избежать недоразумений, сообщил даме, что не продавал права на экранизацию.

Брокерша просто окаменела. Даже она, почти полный профан в кинобизнесе, знала, что права на «Своих-чужих» кто-нибудь да должен был отхватить еще до публикации. На долю секунды она задумалась, а не купить ли ей права самой.

— Не волнуйтесь, — заверила она. — Когда фильмом займутся, она все еще будет претендовать на эту роль.

Лео снял дом, надеясь, что проведет лето, работая над новым романом, который его литературный агент, пока «Свои-чужие» давали обильные урожаи, продал издателю даже без синопсиса. А еще чтобы порадовать Франни. Он сказал, что ей ничего не надо будет делать, просто весь день лежать на большом пуховом диване в гостиной и читать или кататься по пляжу на велосипеде, а потом опять же читать.

— Песок, волны, шиповник на дюнах, — сказал он, пропуская между пальцами пряди ее прелестных волос.

По вечерам, после ужина они будут сидеть на веранде, и он будет читать ей, что написал за день.

— Похоже, неплохой выйдет отпуск.

Но отпуск вышел плохой. Слишком поздно они поняли, что беда была в самом великолепном доме, стоявшем на вершине холма,

открытом вечернему бризу и окруженном высокой живой изгородью — для уединения. Плодовые деревья, разбросанные по лужайке, зацвели с опозданием из-за долгой суровой зимы, так что в начале июня вишни все еще клонились под тяжестью темно-розовых соцветий. За цветочными клумбами, разбитыми тут и там в блистательном беспорядке, ухаживал садовник, приходивший по средам — в тот же день, что и перуанец с сетчатой лопатой, убиравший из бассейна вишневые лепестки. В доме было пять спален, выдержанных в духе романтической мансарды: подоконники-диваны, мягкие пледы, сплетенные вручную коврики на дубовых полах, причем дуб был радиальной распилки. Лео Поузен сказал даме из агентства, что ему бы хотелось чего-нибудь поменьше, но она отмела эту мысль.

— Поменьше вам обойдется дороже, тут вам предлагают сделку, — сказала она. — Даже не представляете, сколько стоил бы этот дом, если бы вы его снимали по честной рыночной цене. Если не хотите пользоваться лишними комнатами, закройте двери.

Это могло бы стать решением проблемы, если бы не то обстоятельство, что природа не терпит пустых комнат летом в Амагансетте, особенно когда принадлежат они актрисе, а снимает их писатель. Гости не заставили себя ждать. Первым позвонил издатель Эрик — тот самый человек, которому полагалось нанять часового с ружьем, чтобы охранял покой писателя, — и сказал, что было бы очень славно пообщаться не в городе и поговорить о новой книге Лео. Эрик мог бы приехать в четверг, чтобы успеть до пробок, но у Марисоль, его жены, в тот вечер открытие выставки. Марисоль, полагал он, придется отважиться на местный автобус в пятницу.

Марисоль? Лео на мгновение запнулся, но потом любезно согласился на все — да-да, мы все отлично проведем время. Он повесил трубку и посмотрел на желтый блокнот, лежавший перед ним, потом выглянул в окно. Шел дождь, и Лео некоторое время любовался вишневыми деревьями и думал, делают ли из них бумагу. Потом спустился узнать, не хочет ли Франни съездить на ланч в город.

— Хорошо, что Эрик приедет, — сказал Лео Франни.

Дождь был легкий, и они сели снаружи, под навесом кафе, в котором обедали третий день подряд. Чудесное было место.

— Я могу попросить его найти тебе работу. Ты потрясающий редактор, знаешь ли, таким, как ты, ему не стать никогда, хотя об этом я упоминать не буду.

Франни покачала головой:

— Не надо, не проси.

Подошла официантка, и Лео коснулся края своего пустого бокала. Было уже начало третьего, очень поздний ланч.

— Я могу не просить напрямую, он сам догадается. Просто скажу, что ты что-то подыскиваешь. Или Марисоль скажу.

— Мы с Эриком знакомы, — сказала она. — Захочет нанять — знает, где меня найти.

Эрик, вероятней всего, заметил, что Лео и Франни живут не в Нью-Йорке и, более того, что они нигде не живут дольше четырех месяцев кряду, и это несколько осложняло вопрос с постоянной работой. В любом случае Франни не была уверена, что хочет стать редактором.

— Эрик тебя знает по званым обедам. Он с тобой пока толком не общался. Так что все выйдет отлично.

Приехав в четверг днем, Эрик сказал, что он лучше бы поужинал дома. Он на той неделе каждый вечер куда-то выходил, и к тому же в доме куда проще поговорить. Эрик был похож на бегуна — невысокий, худой, жилистый. Кто-то когда-то, наверное, сказал, что синий идет к его глазам. Франни всегда видела Эрика только в синем. Он окинул взглядом лестницу, восхищенно погладил перила.

Лео посмотрел на Франни:

— Все хорошо, да?

Ей бы уже тогда следовало все понять, но нет. Она думала: ну, ужин, ну, один раз переночуют. Франни пошла в кухню и позвонила Джеррелу в Палмер-Хаус, спросить, как готовить стейки. У него как раз должна была начаться смена. Скорее всего, рубит петрушку.

— Заинька, — сказал он. — Возвращайся, так тебя растак. Ты же знаешь, я больше никому не позволяю мне наливать.

Она рассмеялась:

— Мне что, от лета отказаться, чтобы лимонада тебе из бара принести? Будь другом, помоги.

Джеррел стоял в кабинете администратора, и администратор тарасился на него во все глаза. Поварам никогда не звонили. Джеррел

велел ей слегка натереть мясо приправой «Олд Бей» и дать ему полежать.

— Немножко, поняла? Эта фигня не для стейков. Потом прочитал ей базовый курс по спарже и печеной картошке.

— Салат и торт купишь. У кого-то там должны быть деньги. Нечего все самой делать.

Франни сходила в бакалейный магазин, к мяснику, в пекарню. Зашла в винный и выбрала вино, запаслась скотчем и джином. Вернувшись домой, разгрузила машину. Лео и Эрик отговорились от поездки в город, сказав, что им нужно сначала обсудить роман, чтобы развязаться с делами. Франни слышала, как они смеются на закрытой веранде с той стороны дома, где, как решил Лео, можно курить. Смеялись громко, от души. Франни отнесла им два стакана со льдом и бутылку «Макаллана», чтобы проявить гостеприимство. На ней была пляжная одежда: обрезанные шорты и шлепанцы, простая белая футболка. Ей было двадцать девять. Они играли в дом. Она играла в хозяйку.

— Эрик, ты только глянь на эту красотку. — Не вставая из кресла, Лео обнял ее за бедра и притянул к себе. — Разве не мечта?

— Мечта, — сказал Эрик и попросил у Франни стакан пеллегрини или перье со льдом.

Франни кивнула, радуясь, что догадалась купить газировку. Вернулась в кухню. Они говорили о Чехове, не о романе. Эрик рассуждал, есть ли спрос на новый перевод и полное собрание сочинений в десяти томах. Интересно, подумала Франни, что у Чехова им кажется смешным.

Будучи феминисткой, Франни должна была бы спросить себя, почему в тот вечер, в четверг, приготовила для Лео и Эрика ужин, даже не ожидая от мужчин никакой помощи. Но вот когда на следующий день из города прибыла Марисоль в вышитой льняной тунике и красном льняном шарфе, уселась на закрытой веранде и заявила, что не отказалась бы от бокала белого вина, хорошего шабли, если есть, — тут Франни будто по лбу щелкнули. Да, конечно, она сама спросила Марисоль, что ей принести, и Марисоль, покопавшись в сумочке и отыскав сигареты, в полном восторге, что можно покурить в компании, ответила. Что же так задело Франни?

— Здесь роскошно! — сказала Марисоль, с улыбкой принимая бокал. — Везет же тебе, Лео.

Примерно по той же причине, что накануне, в тот вечер было решено ужинать в доме. Марисоль взмахнула рукой в сторону вишневых деревьев:

— Уехать от такой красоты в город? Есть со всякой шушерой? Ни за что.

Марисоль управляла художественной галереей в Сохо. Еще бы ей не хотелось пожить в актрисиним доме и послушать актрисиних цикад.

Франни и бровью не повела, но Лео смог уловить в ее лице отблеск беды. Он радостно хлопнул в ладоши.

— Сделаем, как вчера. Вчерашний ужин был превосходен. Вот и повторим. Как думаешь, получится? — спросил он у Франни.

— Марисоль не ест мясо, — сказал Эрик, мило улыбаясь.

Эрик и Марисоль были примерно ровесниками Лео, из когорты тех, кому слегка за шестьдесят. Их сын оканчивал ординатуру по дерматологии в Университете Джона Хопкинса, а дочь сидела дома с ребенком.

— Рыбу, — торжественно призналась Марисоль, воздев руку, будто давала клятву герлскаутов. — Вообще-то я вегетарианка, но в обществе ем рыбу.

Все посмотрели на Франни. Эта тройца, уютно устроившаяся среди подушек цвета слоновой кости, разбросанных по плетеным креслам, была воплощением невинности и предвкушения. Еще раз звонить Джеррелу было нельзя. Он ей просто скажет, что она, так ее растак, идиотка. По поводу рыбы придется звонить матери.

— Что-нибудь еще? — спросила Франни.

Эрик кивнул:

— Чем-нибудь похрустеть? Орешков или маленьких крекеров, может, смесь?

— Ясно, закуски к пиву, — сказала Франни и пошла в кухню искать ключи.

Нет, не так все было заведено у них с Лео. Их отношения, длившиеся уже пять лет, строились на взаимном восхищении и изумлении. Он все эти пять лет изумлялся — тому, что Франни рядом: она была не просто молода (не моложе его — объективно молода), не

просто гораздо красивее, чем он сейчас заслуживал, она стала тем канатом, что втянул его обратно в работу; она была электрической искрой. Франни Китинг была сама жизнь. А для Франни «Леон Поузен» звучало примерно как «Антон Чехов» — и теперь она спала с ним в одной постели. Время шло, а Франни не переставала удивляться этому. И самое поразительное — Лео Поузен находил в существовании Франни смысл, который сама она разглядеть не могла.

Это, конечно, не означало, что все у них было безоблачно. Беспокоило и будущее — вечно неведомое, но, прямо говоря, омраченное разницей в тридцать три года, — и прошлое, ибо формально Лео по-прежнему состоял в браке. Его супруга в Лос-Анджелесе настаивала на доле от грядущих гонораров — трогательно оптимистичное требование, учитывая, как давно он опубликовал последнюю книгу. Лео решительно отказывался отдавать что-либо, еще не написанное. Еще были бестселлер, за который он получил значительный аванс, уже потраченный, литературная премия и процент с продаж за рубежом. Когда пошла новая волна авторских отчислений, жена Лео поняла, что не зря адвокат советовал ей упереться рогом.

Лео мог бы разбогатеть, но для постоянного заработка он был вынужден принимать престижные должности приглашенного автора в различных богатых университетах, а должности эти не давали ему работать над новой книгой. Да, денег было полно, но шли они из одного-единственного источника и растекались по бесчисленным рукавам. Той бывшей жене, с которой он давно и официально развелся, полагались существенные алименты, и не менее крупные суммы отчислялись той, которой предстояло сделаться второй бывшей женой. Она обходилась ему в целое состояние. Деньги постоянно требовались дочери от первого брака, потому что ей нужно было куда больше, чем деньги, но выразить эти нужды с помощью денег было проще всего, и были еще двое сыновей от второго брака, которые вовсе отказывались с ним разговаривать: один — второкурсник в Кеньоне, другой заканчивал подготовительное отделение Гарвард-Уэстлейка в Лос-Анджелесе. Оплата их обучения и исполнение любого их желания были обязанностью Лео.

Франни знала, что ей поздно обдумывать свою жизнь: Лео вцепился в нее, как ребенок в одеяло, и если начистоту — до чего же

это прекрасное ощущение, когда человек, которым ты безмерно восхищаешься, нуждается в тебе и говорит, что без тебя пропадет. Быть человеком, без которого Леон Поузен пропадет, вне всякого сомнения, интереснее, чем подавать документы в магистратуру, не представляя, что ты хочешь изучать. И Франни осталась с Лео. Ездил с ним повсюду, щеголяла в красивых платьях на факультетских обедах то в Стэнфорде, то в Йеле. Иногда она возвращалась на пару месяцев в Чикаго и работала в Палмер-Хаусе, живя в квартире, которую они снимали на северной оконечности Лейкшор-драйв. Лео выплачивал ее ссуду, так что в финансовом плане Франни больше ничего не грозило, но ей не хватало самостоятельных заработков. В любом случае было славно повидаться с друзьями. В Палмер-Хаусе ей всегда были рады.

— Это безумие, — говорил он ей по телефону, много стаканов спустя после того времени, когда нужно было позвонить. — Я тут сижу один, чтобы ты могла побыть официанткой? Поезжай в аэропорт, пожалуйста, сегодня же, прямо утром, просто садись в самолет. Я пришлю тебе билет.

Частенько они так шутили между собой, что, мол, он пришлет ей билет, вот только в этот раз он не шутил.

— Все у тебя будет хорошо, — отвечала она, как всегда в таких разговорах стараясь не говорить ничего важного. Все равно завтра он не вспомнит ни слова. — И для меня это полезно. Мне нужно время от времени работать.

— А ты и работала! Ты меня неизменно вдохновляла, когда больше никто не мог. Я буду тебе платить. Выпишу тебе чек. Черт возьми, это твоя книга, Франни. В ней твоя жизнь.

Конечно, работая над книгой, он говорил не так. Говорил, что ее рассказы лишь дают толчок его воображению. Там будет описана не ее семья. Никто ее родных там не разглядит.

Но они там были.

Если забыть о том, что Лео был намного старше, еще не развелся с предыдущей женой и написал о семье Франни роман, который в процессе создания ей ужасно нравился, но теперь вызывал лишь тошноту, — если обо всем этом забыть, у них все было прекрасно. И она не держала на него зла за роман — великолепный роман, великолепное творение Леона Поузена, которое она сама и вызвала к жизни.

Но если уж составлять список, существовала еще одна проблема, заслуживавшая упоминания, пусть Франни и отказывалась признавать ее: Франни не пила. И сколько бы она ни разубеждала Лео, в ее воздержании ему чудилось осуждение. Он замечал это, когда они сидели с друзьями, замечал, когда после ланча в городе она сразу направлялась к водительской двери, хотя выпил-то он всего три несчастных бокала пино-гри. Замечал, оставшись в одиночестве, когда она была на другом конце страны. Она рассказала ему, что давным-давно села за руль в нетрезвом виде и устроила аварию: вот с тех пор и не пьет. Лео несколько раз заговаривал об этом, но всякий раз остро ощущал, что его собеседница училась на юриста. Он, кстати, считал, что Франни очень много теряет, отказываясь закончить образование.

Он спросил ее как-то:

— Ты что, кого-то убила в той аварии?

— Нет.

— Покалечила? Переехала собаку?

— Не-а.

— Сама пострадала?

Она глубоко вздохнула и закрыла книгу, которую читала, — «Марш Радецкого» Йозефа Рота. Это он ей посоветовал.

— Давай оставим это, а?

— Ты алкоголичка?

Франни пожала плечами:

— Насколько я знаю, нет. Наверное, нет.

— Тогда почему ты просто не выпьешь со мной, не составишь компанию? Можешь выпивать дома. Я не попрошу тебя сесть за руль.

Она наклонилась и поцеловала его, поскольку считала, что это — наилучший способ прекратить спор.

— Напряги свой великий мозг, — мягко сказала она. — Ты можешь придумать повод для ссор получше.

Франни пошла в кухню и позвонила матери в Виргинию.

— На ужин рыба, — сказала она. — Ужин на четверых, осрамиться нельзя.

— В ресторан никак? — спросила мать.

— Скорей всего, никак. Оказывается, у нас тут «Отель Калифорния». Народ переступает порог и больше не хочет уходить. Я

бы, наверное, тоже не хотела, если бы не мне пришлось готовить.

— Ты — и стряпня? — сказала мать.

— Знаю-знаю.

— В шкафы ее заглянула?

Франни рассмеялась в голос. Маме всегда удавалось ухватить самую суть дела.

— Бикини от Этро, целый набор шелковых платьиц на бретельках, куча длинных кашемировых свитеров — совершенно невесомые, и туфли, каких ты в жизни не видела. Она просто лилипутка. Ты не представляешь, какое все крохотное.

— А туфли какого размера?

— Седьмого.

Франни пыталась сунуть ногу в босоножку — несурзная Золушкина сестрица.

— Давай я приеду, помогу тебе с готовкой, — сказала мама.

Франни улыбнулась, вздохнула. У матери ножка была крошечная.

— Больше никаких гостей. Гости сейчас — главная беда.

— Я не гость. Я твоя мать, — весело возразила мама.

На мгновение Франни подумала, как было бы хорошо, если бы мама сидела вот тут, на другом конце дивана, с книжкой. Франни чаще всего ездила домой в Виргинию одна, а когда работала в баре в Чикаго, мать приезжала ее повидать. Несколько раз Лео и ее мать оказывались на одной территории и были друг с другом холодны и вежливы. Мать была моложе Лео. Она читала «Своих-чужих» и, хотя радовалась, что ей выпало стать врачом, обрадовалась бы еще больше, если бы вообще не попала в книгу. Беверли не верила, что Лео Поузен сделает ее дочь счастливой. Она сказала ему об этом в тот единственный раз, когда они выпивали вместе. И для полного отпускного счастья Франни и Лео не хватало только Беверли.

— Бога ради, — сказала Франни. — Просто помоги мне с рыбой.

Мать положила трубку рядом с телефоном и пошла за рецептом чаудера из «даров моря».

— Если хоть раз в жизни последуешь моим указаниям, успех будет оглушительный.

И — ох, как мама была права. Восторгам и похвалам конца не было. Эрик и Марисоль сказали, что и на Манхэттене лучше не накормят. Мать Франни продумала все — и салат с нектаринами, и

сырное печенье строго определенного сорта — Франни была потрясена не меньше своих гостей. Но Лео опять не поехал с ней за покупками, и никто не пришел в кухню и не предложил нарезать сладкий перец, а когда она вышла на веранду сказать, что ужин готов, Эрик, погрузившийся в очередной смешной рассказ Чехова, поднял руку, прося не перебивать, пока он не дочитает, но дочитывал еще почти четверть часа, и Франни испереживалась из-за креветок, которым полагалось томиться всего три минуты. Под конец ужина все так и рассыпались в благодарностях Франни, а Эрик устроил целое представление, засучивая рукава голубой льняной рубашки, прежде чем собрать тарелки и поставить их в раковину, но на том все и закончилось.

Астрид, агент Лео, позвонила в субботу утром. Ее секретарь звонила в офис Эрика накануне совсем по другому делу и в процессе разговора выяснила, что Эрик у Лео в Амагансетте. У Астрид был дом в Саг-Харборе. Летом она приезжала туда в четверг вечером и возвращалась в город по понедельникам. Неужели не повидаются? Астрид сообщила, что они днем приедут в Амагансетт. «Они» — это она сама и один из ее авторов, подающий большие надежды молодой человек, который две недели гостил у Астрид, внося последнюю правку.

— Я дам тебе адрес, — покоряясь судьбе, сказал Лео.

— Вот еще, — ответила Астрид. — Все знают этот дом.

— Это Астрид?

На лице Эрика отразилось тихое отчаяние. Он трудился над кроссвордом в субботней газете. Он не побрился и бриться не желал.

— Она поставила меня перед фактом, — сказал Лео, хотя Астрид ему нравилась. Одно то, что Эрик ее не любил, служило доказательством ее высокого профессионализма.

— Прощай, ланч, — вздохнул Эрик.

Марисоль спустилась по лестнице в красном купальнике и широкополой шляпе.

— Я иду к бассейну, — сообщила она.

— Астрид приезжает, — сказал Эрик.

Марисоль остановилась и надела темные очки.

— Ну, она живет в Саг-Харборе. Вряд ли она здесь останется.

Франни съездила в Бриджхемптон и купила готовой еды к ланчу в несуразно дорогом магазине деликатесов, загрузила багажник, а потом, внезапно и совершенно ясно осознав, что никто не уедет, вернулась и купила все к обеду, расплатившись кредиткой Лео. Два приема пищи обошлись в чудовищную сумму. Когда Франни вернулась домой, там уже была Астрид с бледным молодым писателем по имени Джонас, жгучим брюнетом в желтых льняных штанах. Он съел вдвое больше, чем все они вместе взятые. Франни с грустью поняла, что на завтрашний ланч не останется ничего.

— Зачем переиздавать Чехова? — спросил молодой писатель у Эрика, накладывая себе на тарелку и куриную грудку с травами, и припущенного с лимоном лосося. — Почему не набраться смелости и не напечатать вместо этого кого-то из молодых русских авторов?

— Может быть, потому что у меня не русское издательство. — Эрик наполнил свой бокал, потом подлил вина Марисоль. — Да и русского я не знаю.

— Джонас говорит по-русски, — сообщила Астрид с материнской гордостью.

— *Коньетино*, — произнес Джонас.

Астрид кивнула.

— Он очень много общается с отказниками.

— Нет уже никаких отказников, — сказал Лео. — В семидесятых СССР открыл границы и всех их выпустил.

— Я занимался проблемой отказников, — возразил Джонас. — И поверьте, в России до сих пор множество евреев подвергаются притеснению.

— Так может, мне лучше печатать каких-нибудь молодых русских, пишущих об отказниках, а не американца, который их изучал? Вот это, наверное, будет по-настоящему смелый поступок.

— Вы меня не печатаете.

Эта мысль доставила Эрику такое удовольствие, что он улыбнулся.

— Сойдемся на ничьей, хорошо? Чехов — мой конек, отказники — ваш. Мы оба занимаемся старьем.

— Там кус-кус? — спросила Марисоль у Франни, указывая на салат с огурцами и помидорами.

— Израильский, — сказала Франни, передавая блюдо. — Он просто крупнее.

Дурное предчувствие, посетившее Франни в магазине деликатесов, сбылось. Настало время обеда, а Лео и гости по-прежнему валялись на диванах по всему дому. Джонас вроде бы работал над рукописью, по крайней мере, на коленях у него лежала стопка бумаги, а в зубах торчал карандаш. Собираясь в гости на ланч, рукописи с собой обычно не берут. Эрик вернулся из бассейна и заявил, что, хотя всего два часа назад съесть что-либо еще представлялось ему невозможным, он, похоже, скоро опять проголодается. Во всяком случае, ему нужно выпить.

Лео поднял взгляд и улыбнулся:

— Это мысль.

После очень долгого вечера, когда Франни не пришлось готовить, но пришлось разогревать, раскладывать по тарелкам и подавать, после поглощения запредельного количества вина и последовавшего затем разграбления хозяйских запасов кальвадоса и сотерна — надо же что-то выпить после обеда («Франни, запиши, что мы украли, — сказал Лео, роясь на полках в кладовой. — Хочу все запомнить, чтобы возместить») — все отправились на боковую веранду курить, а Франни осталась в столовой, выглядевшей так, словно там закатил вечеринку Дионис собственной персоной. Она глубоко вздохнула и начала собирать тарелки.

Долговязый молодой романист последовал за ней в кухню. На мгновение ей показалось, что он вознамерился помочь, потом она поняла: намерения у него иные. Джонас был в очках, хотя Франни не помнила, чтобы он их надевал раньше, когда читал.

— У меня контракт с «Кнопфом», — сказал он, взяв бокал и держа его в посудном полотенце. — *Entre nous*^[3], я надеялся на «Фаррар, Строс и Жиру». Я еще студентом мечтал издаваться в ФСЖ, но... — Он пожал плечами и прислонился к мойке. — Знаете, как это бывает.

— Они не взяли книгу? — спросила она.

Джонас, казалось, обиделся.

— Деньги, — сказал он. — Все знают, что в ФСЖ настоящих денег не платят.

Франни споласкивала тарелки, когда вошел Лео.

— Вот ты где! — выкрикнул он, увидев молодого романиста.

Руки он раскинул в стороны, в одной был зажат высокий стакан для коктейля.

— Я хотел показать тебе дерево.

Иногда он, подвыпив, начинал орать, и Франни забеспокоилась, не слышат ли его соседи, тем более что все окна были открыты.

— Дерево? — переспросил Джонас.

Очки у него слегка запотели из-за того, что он стоял возле мойки.

Лео обнял молодого человека за плечи и повел прочь.

— Идем, сам увидишь. Небо ночью такое красивое.

— Серьезно, Лео? — вслед ему сказала Франни. — Дерево? Не мог придумать ничего получше?

Астрид не осталась ночевать, но молодой писатель как-то умудрился. Сказал, что его укачивает в машине, если он выпьет, а он сегодня однозначно выпил. Он осмотрел дом и заявил, что все это — чистый Фицджеральд, так что остаться на ночь — часть сюжета. Астрид, которая и сама бы осталась, если бы ее пригласили, вызвалась приехать за ним завтра к обеду.

Когда весь датский фарфор, принадлежавший актрисе, вернулся в горки со стеклянными дверцами, цинковые столешницы были протерты, а мусор вынесен, Франни остановилась взглянуть на плоды своих славных трудов. Гости обеспечили ей три дня тяжелой работы, но к такому она привыкла. Не готовить, конечно, а наполнять бокалы и вытряхивать пепельницы, расставлять тарелки и молча внимать разговорам. Завтра воскресенье, а в воскресенье все закончится. Франни была горда собой: она держалась молодцом. Лео наверняка ей благодарен за столь доброе отношение к его друзьям.

После похмельного завтрака, к которому все заказали яйца, и все — в разном виде, Лео объявил, что ему нужно работать. Он сложил в холщовую продуктовую сумку блокнот, ручки, бутылку виски и два тома Чехова (Эрик убедил его написать предисловие к новому изданию, хотя, разумеется, не раньше, чем Лео закончит собственный роман) и ушел через лужайку в однокомнатный домик на задах участка. Было очевидно, что домик, где стояли маленький письменный стол, узкая койка, мягчайшее кресло, оттоманка и торшер, был выстроен вовсе не для того, чтобы писать (вот Лео и не писал), а чтобы

скрываться там от мотыльков, роem слетавшихся на благодатный огонь актрисиногo дома.

— Хорошо, что он работает, — сказал Эрик Франни.

Он держал кофейную чашку обеими руками, печально глядя вслед Лео — так женщина на берегу смотрит в точку на горизонте, где скрылся корабль китобоев.

— Нам нужно его поощрять, следить, чтобы он не бросал. Нельзя, чтобы он снова утратил творческий импульс.

Франни не стала упоминать, что никакого импульса нет, потому что нет книги. Она гадала, что Лео сказал Эрику.

— Он будет, будет работать, — туманно ответила она, — как только все уляжется и стихнет.

Прилично ли спросить, на каком автобусе они собираются возвращаться в город? Она взглянула на Эрика, на его седые, длинные, вьющиеся волосы, на очки, поднятые на лоб.

— Дайте мне знать насчет автобуса, — сказала она. — Я вас отвезу. В воскресенье бывает очередь, если слишком задержаться.

Марисоль покачала головой:

— Мне хватило пятницы. Про воскресенье и подумать страшно.

Она посмотрела на мужа:

— Когда ты возвращаешься?

Эрик откинул голову назад, словно пытался продумать поездку.

— Во вторник? Наверное, во вторник. Нужно будет все проверить и уточнить.

Марисоль кивнула и вытащила из газеты вкладку «Мода».

— Что ж, у меня лишний день. Я приехала на день позже тебя.

На кухню пришел Джонас в зеленых купальных трусах и футболке.

— Можно мне пока кофе? — спросил он, щурясь на утреннее солнце. — Схожу поплаваю.

Франни многое могла бы сказать, но именно в это мгновение ее отвлекли трусы писателя. Прямо-таки поразили.

— А где вы взяли это?

Джонас глянул на себя.

— Это? Не помню. В REI?

В футболке, на ярком свете он выглядел лет на двадцать.

— Они ваши? Вы их с собой привезли?

Теперь все смотрели на нее.

— Привез, — сказал он. Оттянул ткань двумя пальцами. — Что не так?

— Так вы с вещами?

Он понял, к чему клонит хозяйка, и выставил против нее никуда не годную защиту:

— Меня укачивает в машине. И я не люблю ездить по ночам. Астрид сказала, что дом большой.

Когда они приехали, Франни была в супермаркете. Она не видела, что он прибыл с чемоданом. Раз он не собирается уезжать, нужно будет сменить ему постельное белье. Зазвонил телефон, и Джонас, демонстрируя независимость, сам налил себе кофе и вышел через заднюю дверь.

— Я хочу поговорить с отцом, — произнес голос в телефонной трубке.

— Ариэль?

Ответа не последовало. Ясно было и так: у Лео двое сыновей и дочка, которая одна с ним по-прежнему разговаривает, так что, если звонит женщина и просит отца, это может быть только Ариэль.

— Минутку, — сказала Франни. — Он на заднем дворе. Я его позову.

Эрик взглядом спросил у нее, по какому поводу звонит Ариэль, но Франни не обратила на него внимания. Прошла по влажной траве под вишневыми деревьями, мимо бассейна, где Джонас уже лежал без футболки на трамплине, поставив в головах чашку кофе. Подойдя к двери домика, Франни не стала стучать.

— Ариэль звонит, — сказала она.

Лео раскинулся на кровати с томиком Чехова в руках. Он поднял глаза на Франни и улыбнулся:

— Не скажешь ей, что я работаю? Передай, что я перезвоню.

— И не подумаю, — ответила Франни.

— Я с ней сейчас не могу разговаривать.

— Ну, я тоже не могу, так что будь добр сам пойти в кухню и повесить трубку.

Она вышла из домика и отправилась на задний двор. Отыскала в изгороди знакомый лаз и выбралась наружу — через соседский двор, по их подъездной дорожке, и на улицу. Шлепанцы били ее по пяткам.

Сейчас она очень хотела велосипед, шляпу и немного денег, и в то же время ничего на свете не хотела, кроме как просто побыть одной. Франни не могла отделаться от мысли, что все эти неприятности и неудобства устроила себе сама. Если бы она не пустила свою жизнь на самотек, никто бы не просил ее сварить капучино, и, если бы она не пустила свою жизнь на самотек, она бы с радостью варила капучино, потому что это не было бы ее работой. Она бы варила кофе по доброте душевной. Она бы просто наслаждалась своей добротой, и она бы не спрашивала себя постоянно — неужели она всего лишь смазливая официанточка? На пороге тридцати лет Франни хотела понять, как стать чем-то бóльшим, чем муза, и крепко помнила слова отца, сказанные при их последней встрече в Лос-Анджелесе: «Быть любовницей — это не работа».

Ее отец не читал «Свои-чужие»; зато читала сестра.

— Прямой клеветы там нет, — сказала Кэролайн Франни. — Он замел следы.

— Я рада, что ты не пишешь обзоры для «Таймс».

— Скажу по-другому: мне книга не понравилась, но я не стану подавать на него в суд.

— Тебя в книге, считай, и нет.

Кэролайн рассмеялась:

— Может, оттого она меня и раздражает. В любом случае, если бы я собиралась судиться, я бы подала коллективный иск, от всей семьи.

— Что ж, — сказала Франни, — только так нас теперь и можно было бы собрать вместе.

Забавно, как же теперь Франни не хватало Кэролайн. Друг дружку они, пока росли, ненавидели лютой ненавистью, однако тогда, в детстве, в их отношения закралась странная привязанность. В конце концов, семейная история у Франни и Кэролайн была одна на двоих. Кэролайн занималась патентным правом в Кремниевой долине. Сложнее этого для юриста нет ничего. Она была замужем за инженером-программистом по фамилии Уортон. Все обращались к нему только по фамилии, потому что имя у него было стариковское — Юджин. Франни считала, что Уортон смягчил сестру. С ним Кэролайн научилась смеяться. Франни не помнила, чтобы в детстве ее сестра хоть над чем-то смеялась, по крайней мере при Франни. У Кэролайн и Уортона рос малыш по имени Ник.

В тот семестр, когда Лео преподавал в Стэнфорде, Франни проводила с Кэролайн много времени. Сестра по-прежнему изводила ее разговорами о возвращении на юридический, и Франни верила: изводит — значит, любит.

— Поверь, — говорила Кэролайн. — Я знаю, что учеба — это тоска. Я даже знаю, что работа юриста — тоска. Но рано или поздно тебе придется чем-то заняться. Если ты думаешь, что где-то тебя ждет идеальная работа, то и в восемьдесят лет будешь читать объявления в разделе «требуется».

— Так обычно уговаривают выйти замуж хоть за черта, лишь бы в девках не остаться.

— Ну почему обязательно за черта? Как ты не поймешь? Получишь степень по праву — и пожалуйста, иди бороться с дискриминацией на рынке жилья или в издательство устройсся, составляй контракты для писателей.

Франни улыбнулась и покачала головой.

— Я разберусь, — сказала она тогда сестре.

Но она не разобралась и теперь шла по Амагансетту куда глаза глядят, только бы подальше от любимого и его друзей. Разглядывала витрины, а когда увидела на скамейке газету, села и прочла ее от и до. Солнце светило так ласково, в воздухе словно мед был разлит, и Франни почти простила своих загостившихся гостей. Она сидела на скамейке до тех пор, пока не уверилась, что время готовить ланч давно миновало. Прошла мимо ресторана, который они с Лео любили, в надежде, что вдруг увидит его там. В конце концов решила вернуться. Больше ничего не оставалось. Она собиралась незаметно прокрасться к себе в комнату, но ее заметили с боковой веранды и замахали ей.

— Франни, что у нас тут без тебя было! — сказал Лео, словно не было ничего странного ни в том, что она ушла, ни в том, что вернулась.

Астрид, уже приехавшая из Саг-Харбора, кивнула: — Мне пришлось привезти сэндвичи к ланчу.

И там еще остался шербет.

— А мы с Эриком съездили в город и купили все к обеду, — сказала Марисоль.

— Кому-то все-таки придется вернуться в город, — заметил Эрик. — Того, что мы купили, не хватит.

Франни смотрела на их лица, смягченные завесой сетки, светом, падавшим на них сбоку и сзади, клумбой желтых лилий, отделявших ее от них. Чем не созерцание тигров в зоопарке.

— Холлингер звонил, — сказал Лео. — Они с Эллен едут из города на машине. Будут тут где-то через час.

— Холлингер? — переспросила Астрид. — Ты мне не говорил. Откуда он узнал, где ты?

Джон Холлингер не был клиентом Астрид. Его роман «Седьмая история» победил «Своих-чужих» в борьбе за Пулитцеровскую премию, и два автора устроили целое представление под названием «Как это не повлияло на нашу дружбу», хотя в сущности не были такими уж друзьями.

— Какое там «через час», — отмахнулась Марисоль. — Он вечно опаздывает.

В былые времена Франни с ума бы сошла от радости, сообщи ей кто, что Джон Холлингер придет обедать, но те времена миновали. Теперь Холлингер и его жена были не более чем двумя лишними тарелками на столе. Всего их получалось восемь, если принять за данность, что Джонас и Астрид не уедут никогда.

— А ты как? — спросил Эрик, взглянув на Франни, словно только сейчас вспомнил, что она отсутствовала. — Хорошо ли погулялось?

Франни заслонила рукой от солнца и озадаченно взглянула на Эрика.

— Не то слово, — сказала она.

Этого оказалось достаточно, чтобы ее избавили от разговоров.

На длинном деревянном столе в кухне стояло шесть картонных коробок и лежало с полдюжины кукурузных початков, еще в листьях. Франни услышала царапанье, а потом одна из коробок внезапно дернулась вперед.

Лео вошел в кухню и встал у Франни за спиной.

— Ты уж прости за Холлингера, — сказал он, целуя ее над ухом. — Он ведь не спрашивал, готовы ли мы его принять. Просто взял и объявил о своем прибытии — скором и неминуемом. Надо было нам с тобой снять на лето номер в мотеле посреди Канзаса.

— Они бы нас и там нашли.

— Я целый день отсиживался в домике, чтобы все думали, что я пишу роман. Где ты была?

— Что в коробках? — спросила Франни, хотя она, разумеется, прекрасно знала, что в этих коробках.

— Марисоль подумала, что будет забавно поесть омаров.

Франни повернулась и посмотрела на него:

— Она сказала, что она вегетарианка. Она умеет их готовить?

— Не думаю, что это большая премудрость. Их просто бросают в воду. Слушай. — Лео положил ей руки на плечи и посмотрел прямо в лицо, отчего стал вдруг выглядеть очень мужественно. — Не хочется тебе сообщать, но придется: Ариэль приезжает на пару дней.

На свете всякое бывает, но Франни и Ариэль под одной крышей в это всякое не входили. Из-за Ариэль Франни, приезжая в Нью-Йорк, стороной обходила целый район вокруг Грамерси-парка. Это был для них единственный способ соблюсти приличия — не пересекаться.

— Она не придет, зная, что я здесь, — сказала Франни. — Я взяла трубку.

— Мне кажется, она просто хочет посмотреть дом. Я неосмотрительно рассказал ей о нем еще несколько месяцев назад. Тогда я не думал, что мы его снимем. Она говорит, ей нужно отдохнуть.

Франни отвлекли скребущие звуки. Теперь она заметила, что коробки миллиметр за миллиметром продвигаются по столу. Даже думать об омарах, заключенных во мраке, было мучительно — равно как и об Ариэль Поузен, заявляющейся в Амагансетт, хотя, возможно, тут у Франни случился эмоциональный перенос. Лео перехватил ее взгляд.

— О, быть бы мне корявыми клешнями, — сказал он, глядя на печальные вместилища, пытавшиеся сбежать. — Скребущими по дну немого моря.

— Лео, она меня ненавидит. Она это ясно дала понять.

Лео не без труда выдавил из себя блеклую улыбку.

— Ну, может быть, именно этим летом она перестанет тебя ненавидеть, и мы заживем все вместе. Рано или поздно это должно случиться.

— Когда? — спросила Франни.

Не «Когда она перестанет меня ненавидеть?» — на этот вопрос Франни знала ответ, но «Когда она приезжает?».

Он вздохнул и привлек ее к себе — на широкую, теплую грудь литературы.

— Она не знает. Может, завтра, может, во вторник. Она сказала, что, если все уладит, сможет приехать сегодня, но это, я думаю, вряд ли.

— Она приедет с Баттон?

Четырехлетняя Баттон была дочерью Ариэль, единственной внучкой Лео Поузена.

Лео удивленно взглянул на нее:

— Конечно.

Конечно.

— А кто еще?

Лео заглянул в холодильник и нашел бутылку пино-гри, которую не допили за ланчем. Вылил остатки в бокал, стоявший на мойке.

— Наверное, ее бойфренд. Есть у нее какой-то Геррит. По-моему, голландец. Она сказала, что пока не знает, какие у Геррита планы. Может, она лучше себя ведет, когда ей есть перед кем покрасоваться.

— Так, может, после чая и пирожного не нужно заходить за край возможного? — спросила Франни у омаров.

— Это что еще такое? — удивился Лео.

Франни покачала головой:

— Ничего. Это следующая строчка.

— Никакая это не следующая строчка, — сказал он и вышел с бокалом на веранду.

Франни положила в сумку ножницы и вынесла все шесть коробок к машине. Франни, считавшая себя бесталанной, обладала исключительной способностью взваливать на себя такую ношу, что и вообразить было страшно. Она чувствовала, как скребутся омары, как их тела тяжело съезжают в темные картонные углы.

— Помочь? — спросил Джонас, при виде Франни ускорив шаг.

Он возвращался из бассейна, спина и грудь неровно обгорели.

— Справлюсь, — сказала Франни, поставив коробки, чтобы открыть дверцу машины.

— Едете в город?

— Да, опять в город.

Она устроила пассажиров по полу у заднего сиденья: по три с каждой стороны.

— Дайте я только сбегаю за рубашкой, — обрадовался он новому развлечению. — Мне кое-что нужно в городе. Я составлю вам компанию.

Она хотела было сказать «нет, не надо», объяснить все, но вместо этого кивнула. Подождала, пока за ним закрылась дверь кухни, потом еще десять секунд, потом села в машину и уехала.

Франни и Лео не говорили о браке, разве что иногда, в сентиментальном ключе, в постели, когда его руки крепко обхватывали ее спину, да и тогда разговор был лишь о том, как бы они мигом поженились, если бы не прошлое и не будущее. Они никогда не упоминали о преграде, что принадлежала настоящему времени, — о дочери Лео.

Франни по большей части старалась не думать об Ариэль, пережив несколько катастрофических встреч с ней, когда отношения с Лео только начинались. Франни не стремилась полюбить дочь Лео, но надеялась однажды научиться хотя бы сочувствовать ей на расстоянии. Для этого она приучила себя всякий раз, как заходила речь об Ариэль, думать о своем собственном отце. Представляла себе, как Фикс заводит себе подружку моложе ее, а бедняжку Марджори отправляет в отставку. Как Фикс уходит в загул с любимой официанткой, и не просто на выходные, а на пять лет. Как ее отец влюбляется в официантку без средств к существованию, которая дожидается его в мотелях, куда он ведет наружное наблюдение. Когда у нее получалось, выдерживать яростную нелюбовь Ариэль было легче. А по правде говоря, Франни не выносила, когда кто-то ее ненавидел. Ни в школе Святого Сердца Иисусова, ни колледже ее к этому не готовили. На юридическом были все условия для того, чтобы засуровать, ну и поглядите, что у нее вышло с юридическим.

В двух кварталах от воды Франни нашла, где поставить машину, и понесла шесть коробок к концу пирса, мимо рыбаков с ведрами и лесками, мимо туристов, державшихся за руки. Она хотела, чтобы омары оказались на глубине. Может быть, у них достанет глупости завтра забраться еще в чью-нибудь кастрюлю, но Франни не хотела, чтобы они вышли напрямиком на пляж через две минуты после пересмотра приговора. Она выставила шесть коробок рядом и открыла их. Рождество на пирсе. Рождество ракообразных. Сейчас омары были пятнистыми, черно-зелеными, не того пронзительно-

красного цвета, который приняли бы после варки. Они были еще вполне резвыми, близость соленой воды придала им сил. Они нетерпеливо махали перевязанными клешнями. Им никогда не понять, чего они избежали, хотя омары вряд ли вообще что-нибудь понимают. Франни взяла ножницы и защелкала ими в коробке, изо всех сил стараясь перерезать широкие резинки, не задев клешню и не лишившись пальца. (Первая резинка с каждого омара снималась легко, со второй приходилось повозиться.) Закончив, Франни по одному выбросила омаров из коробок в океан — они падали в воду с приятным «плюх!», а потом погружались и исчезали без следа.

Когда Франни загрузила в машину все необходимые припасы и приехала обратно, день уже клонился к вечеру. Она мельком увидела на главной веранде Лео, говорившего с кем-то у двери (девять человек к ужину? это уж слишком), где были остальные — бог знает. У заднего двора стояла блестящая серебристая «ауди»: видимо, Холлингеры приехали. Франни подумала, как хорошо было бы принять душ, а уж потом встретиться с ними, но все обернулось иначе. Она как раз начала носить коробки и сумки в кухню. На третьей «ходке» вошел Лео, а с ним — высокий молодой человек с длинной черной косой.

— Франни, — сказал Лео.

Франни поставила на стол тяжелую коробку, которую держала в руках: половину занимало вино, половину — крепкие напитки. В машине оставалась еще коробка вина. Франни оперлась руками о коробку, чтобы они не дрожали. Едва увидев нового гостя, она поняла, что натворила, сколь серьезную ошибку совершила, отдав другому человеку то, что ей не принадлежало. Она понимала и тогда, но ей было все равно. Лео так слушал, задавал столько вопросов, а потом попросил, чтобы она все ему рассказала еще раз. Ничто в ее жизни не могло сравниться с лучами его внимания.

— Господи, — сказал Элби. — Ты все такая же.

Франни и представить не могла, что он станет таким высоким и таким тощим. Одет в футболку без рукавов и какие-то штаны не по росту с бесчисленными карманами. Руки смуглые, мускулистые, кисти в татуировках. Это был одновременно ее брат и кто-то совсем незнакомый.

— А ты изменился, — сказала Франни.

И она ведь прекрасно знала, что рано или поздно Элби объявится. В первые месяцы после выхода книги она так и ждала, что он вот-вот вывернет из-за угла, но время шло и шло. А потом — она про него забыла?

— Как ты нас нашел?

— Я его нашел, — сказал Элби, указывая на Лео. — Выяснилось, что его найти проще всего на свете.

— Это приятная новость, — сказал Лео.

— О тебе я не думал, — сказал Элби, обращаясь к Франни. — Но в общем все сходится. Кто-то же должен был ему рассказать.

Они хотели пойти в конюшню скрести лошадей щеткой. Если они чистили лошадей и выгребали навоз из пары денников, Нед обычно разрешал им по очереди покататься на кобыле. Но Элби сводил их с ума. Что он делал такое невыносимое? Стоя перед ним сейчас, Франни не могла вспомнить. А может быть, он ничего такого и не делал. Может быть, просто кому-то из них пришлось бы присматривать за ним в конюшне, а никто не хотел. Он не был чудовищем, что бы они ему тогда ни говорили, на самом-то деле в нем не было ничего особенно ужасного. Он просто был маленьким.

— У Элби воняет изо рта, — заявила Франни, потом повернулась к нему. — Ты что, зубы утром не почистил?

Так все и началось. Холли нагнулась и понюхала воздух перед лицом брата. Закатила глаза.

— «Тик-так», бога ради.

Кэролайн взглянула на Кэла:

— Не помешает. Ты же знаешь, он никогда не чистит зубы. Не думаю, что он их вообще чистил с тех пор, как мы сюда приехали.

Кэл вытащил из кармана пластиковый пакетик. Там было четыре, четыре он ему и дал.

— Что, все? — спросил Элби.

— От тебя воняет, — сказал Кэл. — Не съешь, распугаешь лошадей.

Тут Джанетт вышла из комнаты. Она не объяснила, куда пошла, но остальные сказали, что ее надо подождать.

— Я хочу пойти! — сказал Элби.

Франни покачала головой:

— Эрнестина велела нам не расходиться.

Они дождались, пока он уснет. Это было недолго. Кэл отнес Элби в прачечную и оставил на полу под грудой простыней. Было воскресенье, Эрнестина готовила большой ужин. Она никогда не стирала по воскресеньям.

И вот, двадцать лет спустя, о том дне, большую часть которого Элби проспал, он прочитал в книге, с автором которой никогда не встречался, и теперь стоял здесь, в летнем доме актрисы. Франни покачала головой. Руки у нее застыли. Никогда прежде ей не было так холодно.

— Прости меня, — сказала она.

Слова вышли без звука, и она их повторила.

— Я знаю, грош цена моим извинениям, но прости. Я совершила ужасную ошибку.

— И в чем ты ошиблась? — сказал Лео.

Он залез в коробку и вынул бутылку «Бифитера».

— Я себе налью. Никто больше не хочет выпить?

— Ты что, думала, я этого никогда не увижу? — спросил Элби. — То есть, может, расчет был и неплох — узнал-то я только сейчас.

— Я пытался ему все объяснить, пока тебя не было. — Лео плеснул джина в стакан. — Писатели получают вдохновение из разных источников. Одним дело никогда не ограничивается.

Франни посмотрела на Лео — хоть бы он сейчас взял стакан и ушел на веранду курить с гостями.

— Просто дай нам минутку, — сказала она. — Тут дело не в тебе.

— Разумеется, дело во мне, — возразил Лео. — Книга-то моя.

— Нет, я все равно не понимаю. — Элби ткнул пальцем в сторону Франни, а потом в Лео: — Как он-то впутался в мою жизнь?

— Это не твоя жизнь, — сказал Лео. — Это я и пытаюсь объяснить. Это мое воображение.

Элби взвился, как кнут, и с силой толкнул Лео обеими руками в плечи. Лео, вздрогнув, уронил стакан на пол, и на мгновение комнату заполнил пронзительный запах джина.

— Ты не понимаешь, зачем я пришел, да? — спросил Элби. — Ты хоть знаешь, каких усилий мне стоит не убить тебя сейчас? Я бы мог, правда. И если ты меня придумал, то должен понимать, что мне терять нечего.

Тут явно нужно было шагнуть к Лео, взять его за руку, но Франни вместо этого повернулась к Элби. Жертвой тут был Элби. Ее с Лео жертвой.

— Слушай, пойдём поговорим, — сказала она брату. — Давай выйдем и поговорим.

Лео отшатнулся, словно его ударили, и залился краской. Лео — который был ниже ростом, тяжелее и вдвое с лишним старше Элби, — клялся потом, что Элби действительно его ударил. Стакан покатился мимо его ног, чудом не разбившись.

— Я звоню в полицию, — заявил он.

Дышал он громко и неровно.

— Никто никуда не будет звонить, — сказала Франни.

— Какого черта, что значит «не будет»? — изумился Лео.

Через вращающуюся дверь в кухню вошла Марисоль, а следом за ней Эрик.

— Франни, где мои омары? — спросила она.

Франни сперва не поняла, о чем речь и почему Марисоль вообще до сих пор в доме, но потом вспомнила.

— Идем, — сказала она, не сводя взгляда с Элби.

— Ты вообще знаешь, сколько стоят омары?

Эрик тронул жену за плечо.

— Вернись в гостиную, — сказал он. — У них гости.

— Это мы их гости!

Марисоль была в изумрудно-зеленом шелковом платье, на шее — плоское золотое ожерелье. По случаю приезда Холлингеров она нарядилась к ужину. Холлингер был единственным, кто возвышался над Леоном Поузенем в писательской табели о рангах, пусть не все это признавали. Карьера Холлингера шла ровнее, победы его были крупнее. Ужин лежал на столе в разобранном виде, в коробках и пакетах.

— Джонас сказал мне, что ты погрузила их в машину. С ними что-то было не так?

Элби повернулся к Франни:

— Ты на них работаешь?

Франни выпустила плечо Элби и взяла его за руку:

— Нам надо идти.

— Кто это? — спросила Марисоль.

Марисоль, которую происходящее вообще не касалось, которую никто сюда не звал.

— Это мой брат, — ответила Франни.

— Никакой он тебе ни хера не брат! — рявкнул Лео так, что его голос разнесся над лужайкой.

Франни утром уже совершила ошибку, выйдя из дома без сумочки, и ошибку эту она не повторила.

— Оставайся тут, — сказала она Лео. — Все будет хорошо.

Элби взял бутылку джина.

— Ты с ним не уйдешь, — сказал Лео.

— Если я с ним не уйду, я приглашу его на ужин. И поселю в гостевой комнате наверху, идет?

— Я так скажу, — сказал Эрик. — Давай-ка отнесем гостям выпить. Марисоль, бери штопор и бокалы. Может быть, нам всем нужно просто сесть и выпить. Бери джин, — кивнул Эрик Элби, потом повернулся к Франни: — Холлингеры здесь. Приехали, пока ты была в городе. Просто выйди поздороваться.

Эрик пытался вернуть вечер в русло званого ужина. Ему, конечно же, невдомек, кто такой Элби, подумала Франни, он и про нее-то знает только, что она девушка Лео. Когда Лео называл ее своей музой, а он постоянно ее так называл, никому в голову не приходило, что он говорит буквально. История двух пар, поселившихся по соседству, и их жутких детей была для Эрика не более чем сюжетом романа. Франни хотела подойти к Лео, успокоить его, но Марисоль открыла дверь из кухни. Из прихожей раздались голоса — сколько же их было! «Добрый вечер! Добрый вечер!» Хлопали дверцы автомобилей, кто-то смеялся, и Ариэль звала отца.

Случись Беверли или Берт рассказывать ту историю сейчас, они бы сказали, что развелись после смерти Кэла. И это, конечно, было правдой, вот только слово «после» ввело бы слушателей в заблуждение. Связало бы смерть и развод, будто причину и следствие, будто Беверли и Берт были из тех родителей, кого после смерти ребенка горе ведет столь различными путями, что им уже не вернуться друг к другу. Все было не так.

Берт винил Беверли в том, что она оставила шестерых детей одних на ферме с Эрнестиной и его родителями, в том, что, никого не

предупредив, взяла машину его матери и уехала в Шарлоттсвилл, чтобы высидеть подряд два сеанса «Гарри и Тонто». (Она не планировала смотреть фильм дважды, просто в кинотеатре было так пусто, так тихо, так прохладно. Она заплакала в конце, проплакала все титры и осталась на месте, чтобы не выходить в вестибюль с потекшей тушью.) Он что, правда думал, что она не отходит от детей ни на минуту? Он в самом деле полагал, что, останься Беверли в тот день дома, она почитала бы еще одну книжку в их комнате наверху, пролистала еще один журнал, вздремнула, в тысячный раз умерла от скуки — и отправилась бы с детьми в амбар чистить лошадей скребницей? Да ведь она и в Арлингтоне оставляла детей одних, оставляла, чтобы сохранить рассудок. По крайней мере, на ферме были и другие взрослые. Разве его родители не несли ответственность за то, что происходит в их владениях? А Эрнестина? Беверли оставила детей под ее присмотром, пусть и не сказала ей об этом. У Эрнестины было куда больше родительского здравомыслия, чем у Беверли, Берта и родителей Берта вместе взятых, — и Эрнестина сочла, что их можно отпустить пройти полмили до амбара.

Берт не должен был заставлять Беверли безвылазно сидеть с детьми в этой глуши, в доме его родителей, а сам уезжать в фургоне в Арлингтон — работать. Считаешь, что детей нужно провожать в амбар, — оставайся и води их сам. Беверли не хотела гостить в доме его родителей. Они вечно спрашивали детей про их прекрасную мамочку: как там Тереза? Чем Тереза сейчас занимается? Надеюсь, ваша мама знает, что мы ей всегда рады и всегда ее ждем.

Детям у родителей Берта тоже не нравилось. Им было куда веселее в «Сосновой шишке», куда раньше ездили на лето. А здесь им приходилось снимать обувь у задней двери и вытирать ноги полотенцем. Поскольку заходить в гостиную детям категорически запрещалось, они, разумеется, придумали игру: на спор проноситься через гостиную на бешеной скорости, едва слышав, что кто-то идет по коридору. Фарфоровую фигурку английского джентльмена с волкодавом уронили с журнального столика и разбили.

И родителям Берта все это не нравилось. Они позвали их погостить на столь необычно долгий срок в надежде повидаться с сыном, а не с его детьми или его второй женой и ее детьми. Но потом Берт уехал.

И Эрнестина гостям была не рада. Чему уж тут радоваться? Кормить придется на восемь ртов больше (на семь после отбытия Берта), стирки будут горы, каждый день надо придумывать игры, разнимать драки, успокаивать работников. Самый тяжелый груз ложился на плечи Эрнестины, и тем не менее она одна несла его без жалоб.

Берт вернулся в Арлингтон, потому что в будние дни было слишком дорого, очень трудно и до чертиков опасно искать место для поддержания внебрачных отношений с ассистенткой. Линда Дейл (она требовала, чтобы ее называли обоими именами и просто на Линду не отзывалась) сказала, что хочет в кои-то веки пообедать с ним в ресторане, как человек, лечь спать в нормальную постель, проснуться среди ночи и в полусне любить его, а потом повторить в душе утром. Берт не сходил с ума по Линде Дейл, она капризничала, вечно чего-то требовала и была совсем девчонка, но она высказала ему все это, когда он позвонил в офис, и что ему было делать? Остаться на ферме?

Берт был в офисе, когда мать позвонила сказать про Кэла. Он прыгнул в машину и нарушил все правила дорожного движения, преодолев двухчасовую дорогу до больницы в Шарлоттсвилле меньше чем за полтора часа, — как сделал бы любой отец. Времени заехать домой и привести все в порядок не было. Он об этом и не подумал.

Иногда Беверли и Берту трудно было вспомнить, из-за чего все рухнуло. Когда Беверли рыдала из-за его измены, из-за обнаружившихся в ее разобранной постели чужих красных трусов, Берт ужасался. Смерть ребенка была адюльтер по всем статьям. Смерть ребенка была все. Беверли почти понимала его логику. Если бы за боль и утрату начисляли очки, Берт, конечно, выиграл бы, и время было такое, что нужно было держаться друг за друга, ради брака или ради оставшихся детей. Но оказалось, что принять обстоятельства и простить — далеко не одно и то же. Они кое-как склеили свою семью и двинулись дальше, и пусть их брак продержался почти шесть лет после смерти Кэла, ни один из них не вспомнил бы этих лет. Горе, пережитое врозь, отдалило их друг от друга гораздо раньше.

Не Кэл положил конец браку Беверли и Берта, но и вины Элби в этом не было, — когда он приехал из Калифорнии, все были настолько вымотаны, что Элби ничего и делать не надо было, седи себе да смотри, как все катится под откос. Оказалось, одного его приезда было

достаточно. Пять лет, два месяца и двадцать семь дней спустя после смерти Кэла Элби бросил коробок горящих спичек в мусорную корзину в рисовальном классе школы Шери в Торрансе. Тереза позвонила Берту, измученная, в слезах, и рассказала, что Элби забрали в изолятор для малолетних преступников. Берт повесил трубку и заставил Беверли просить бывшего мужа об одолжении. Когда дело было сделано, Берт перезвонил Терезе — сообщить, какая она негодная мать. Утро субботы, а она даже не знала, куда их единственный сын уехал на велосипеде. Он сказал, что детям с ней плохо, что она подвергает их опасности и что у нее нет выбора, кроме как отправить Элби к нему. Берт говорил из кухни, где Беверли тушила лук, собираясь делать бефстроганов на обед. Она выключила огонь под сковородой и медленно поднялась в комнату Кэролайн. Кэролайн уехала в колледж, и Беверли теперь часто пряталась в ее комнате. Берту никогда не приходило в голову искать ее там.

Конечно, Тереза могла бы многое сказать в ответ, но в выпренок жестоким словам ее бывшего мужа была правда: она не сумела уберечь Элби. Не то чтобы она думала, что Берт сможет, но другие приятели, другая школа, другой конец страны могли дать Элби шанс. В понедельник утром позвонил директор школы, сказать, что Элби и других мальчишек не допускают к занятиям, пока идет расследование, и если их вину установят (что было вероятнее всего: свидетели видели, как мальчишки выбегали из горящего здания в субботу утром, и они сами признались, что устроили поджог), то исключат. Во вторник Тереза перезвонила Берту. И посадила Элби на самолет.

Элби, которому было почти пятнадцать, дошел до заднего двора, бросил чемодан, сел в белое кованое кресло и закурил. Его отец все еще сражался с импровизированной коробкой из огромных, склеенных скотчем листов картона, в которую упрятали велосипед, лежавший сзади в фургоне. Берт уже сказал Элби, пока они ехали из Далласа, что Беверли сегодня не ужинает дома. По четвергам Беверли занималась французским в местном колледже, а потом ужинала с товарищами по учебе, и они практиковались в разговорном французском.

— Она пытается найти себя, — сказал отец, и Элби выглянул в окно.

— Как же он доберется домой из аэропорта? — спросил Берт, когда Беверли объявила, что ее не будет. Кто его тянул за язык?

Распаковав велосипед, Берт торжественно выкатил его из гаража, словно подарок в рождественское утро. Он хотел сказать: «Смотри! Отлично доехал, ни царапинки!» — но осекся, увидел пачку сигарет и, что было куда тревожнее, красную одноразовую зажигалку, лежавшую на столе перед сыном. У велосипеда, похоже, не было стопора, так что Берт прислонил его к одному из кресел во дворе.

— Тебе нельзя иметь при себе зажигалку, — сказал Берт, но прозвучало это более вопросительно, чем он намеревался.

Элби озадаченно на него посмотрел:

— Почему это?

— Потому что ты спалил к чертям собачьим школу. Ты хочешь сказать, мать не запретила тебе баловаться с огнем?

Элби улыбнулся размаху отцовской глупости:

— Я не спалил школу. Я поджег рисовальный класс. Это вышло случайно, и класс все равно не мешало бы подновить. Школу уже опять открыли.

— Тогда я это скажу: тебе запрещено зажигать огонь. Это значит, никаких сигарет.

Элби глубоко затынулся. Вежливо отвернулся и выдохнул дым в сторону. И вообще Берту следовало бы оценить, что он курит на улице.

— Огонь — это стихия. Как вода или воздух.

— Значит, стихия для тебя под запретом.

— А плиту можно зажигать?

Они оба смотрели на лежавшую на столе зажигалку. Когда Берт потянулся ее забрать, Элби схватил ее первым, глядя прямо на отца. То был момент истины: ударит Берт сына или нет. Элби опустил сигарету и обратил лицо вверх, широко раскрыв глаза. Берт выпрямился, шагнул назад. Он никогда не бил детей. И теперь точно бить не станет. Стоило ему задуматься, и те несколько раз, что он шлепнул Кэла, начинали крутиться в голове, как закольцованное кино.

— Не кури в доме, — сказал Берт и ушел со двора.

Элби взглянул на дом — не тот, куда он приезжал ребенком. Этого дома он раньше не видел. Где-то после последней его поездки в Виргинию Берт и Беверли переехали и не сказали об этом ни Холли, ни Элби, ни Джанетт. Да и зачем, если никто не предполагал, что Холли,

Элби или Джанетт еще хоть когда-нибудь приедут в гости? Но отец и в аэропорту не упомянул про новый дом. Забыл? Решил, что Элби не заметит? Дом был из кроваво-красного кирпича, со стройными белыми колоннами по фасаду — младший родич особняка, в котором жили под Шарлоттсвиллом бабушка и дедушка Элби. Вокруг сгушался пейзаж, какие-то незнакомые Элби растения, все по ранжиру, все аккуратно. Элби видел край бассейна, уже накрытого на зиму брезентом. Он мог заглянуть в окно со двора и увидеть кухню, модные медные кастрюльки, свисавшие с рейки на потолке, но он встал, открыл дверь и прошел кухню насквозь, не зная, куда ему повернуть. Он понятия не имел, в какой комнате его положат.

Кэролайн должна была уже поступить в колледж, у нее наверняка куча друзей, которые приглашают ее погостить на каникулах. Устроилась поди на какую-нибудь серьезную работу на лето — вожатой в лагерь или стажером в каком-нибудь ведомстве и не может ни захватить домой, ни даже позвонить по платному телефону. Кэролайн всегда четко давала понять, что, как только вырвется отсюда, возвращаться не станет. Кэролайн, как ни посмотри, была стервой, но, когда они были детьми, именно она устраивала все подрывные летние действия. Кэролайн ненавидела их всех, особенно свою сестру, но у нее все всегда получалось. Вспомнив, как она вскрыла фургон вешалкой и достала из бардачка револьвер, он покачал головой. Он никогда в жизни никого так не обожал, как Кэролайн.

Все это означало, что будет только Франни. Он не видел никого из девочек со времен летних поездок в Виргинию, прекратившихся пять лет назад, но Франни сложнее всего было воскресить в памяти. Странно, учитывая, что по возрасту она к нему была ближе всех. Он вспомнил, что она все время таскала с собой кота, и в его воспоминаниях девочка и кот слились: милые, маленькие, всему радуются, быстро засыпают, вечно лезут к кому-нибудь на колени.

Элби сидел во дворе и курил, пока свет над пригородами не стал золотым и руки не начал пощипывать холодный воздух. Он не хотел идти в дом и спрашивать отца, где будет ночевать. Подумал, не порваться ли в чемодане, не отыскать ли объемистый пакет травы, который собрали ему друзья в качестве прощального подарка, но потом решил, что уже исчерпал дневной лимит наглости. Невелика беда, если у тебя изымут зажигалку в мире, где полно дармовых

спичек, но травы он лишиться не хотел. Можно было покататься на велике по новому району, ознакомиться с местностью, но он продолжал сидеть. Он только подумывал о том, чтобы встать и хоть что-нибудь сделать, когда на подъездную дорожку въехала и припарковалась Франни.

На ней была белая блузка с закатанными рукавами, синяя юбка в складку, гольфы и двуцветные туфли, всегдашний наряд девочек из католической школы. Франни была тощенькая и бледная, волосы у нее были зачесаны назад, и, когда Элби встал и бросил сигарету, он на мгновение растерялся, не зная, дружат они или нет. Франни уронила рюкзак на землю и пошла прямо к нему, протянув руки. Франни, не понимавшая, что он живет по другую сторону толстой стены и никто не может его обнять, обняла его и прижала к себе. Она была теплая и сильная, и от нее слегка и приятно пахло девичьим потом.

— С возвращением, — сказала она.

Два слова.

Он посмотрел на нее.

— Тебя что, в дом не пускают? — спросила она, глядя на его чемодан. — По крайней мере в гараж тебе можно?

— Мне нравится на улице.

Франни взглянула на дом. В кабинете Берта горел свет.

— Тогда посидим тут. Что тебе принести? Ты, наверно, есть хочешь.

Вид у Элби был голодный, не только из-за беспокойной худобы, свойственной всем детям Казинсов, но и из-за запавших глаз. Казалось, он может проглотить целую свинью, как удав, и этого даже близко не хватит, чтобы заполнить пустоту в нем.

— По правде говоря, я бы выпил.

— Говори что, — сказала Франни.

Она стояла вполоборота к дому, уже подумывая о тайном запасе не одобряемого матерью 7-Ур.

— Джину.

Она взглянула на Элби и улыбнулась. Джин в четверг вечером — ну-ну.

— Я тебе говорила, что рада, что ты приехал? Наверное, еще нет. Я рада, что ты приехал. Пойдешь со мной?

— Минутку, — сказал он.

Когда Франни ушла, Элби посмотрел в небо. Там кто-то метался — ласточки? летучие мыши? — и оглушительно рокотало что-то цикадообразное. Это тебе не Торранс.

Минуту спустя Франни вернулась с двумя стаканами, наполовину полными льда и джина, и с бутылкой 7-Up под мышкой. Она долила себе доверху газировки, размешала ее пальцем, потом предложила 7-Up Элби.

— Воздержусь, — сказал он.

— Очень по-мужски.

Они стукнулись стаканами, как в кино, как делали на вечеринках подружки Франни, тайком забравшись в семейный бар. Франни раньше пару раз выпивала, просто не дома, не в будний вечер, не с Элби, но сегодня был самый что ни на есть подходящий случай, чтобы нарушить правила.

— Будем.

Она слегка скривилась от вкуса спиртного, а Элби просто отпил и улыбнулся. Закурил еще одну сигарету, она так хорошо шла под джин. Казалось, они наверстывают упущенное, просто молча сидя рядом. Слишком много всего случилось, слишком много времени прошло, чтобы пытаться сейчас облечь это в слова.

Вскоре во двор снова вышел Берт. Казалось, он очень обрадовался, увидев Франни. Поцеловал ее в волосы над ухом, облако сигаретного дыма скрыло запах джина.

— Не знал, что ты дома.

— Мы оба дома, — с улыбкой ответила Франни. Берт позвенел ключами от машины.

— Хочу съездить за пиццей.

Франни покачала головой:

— Мама приготовила ужин. Все в холодильнике. Я разогрею.

Берт будто удивился, хотя было непонятно чему. Беверли всегда готовила ужин. Он поднял чемодан Элби.

— Давайте, дети, идите внутрь. Холодает.

Они втроем зашли внутрь, как раз когда начало темнеть. Франни и Элби прихватили стаканы, сигареты и зажигалку и вслед за отцом Элби направились в дом.

— Так это сынишка Берта Казинса развел тебя с тем старым евреем? — сказал Фикс.

Они ехали в Санта-Монику, стекла в машине были опущены. Ехали в кино. Кэролайн вела. Франни сидела сзади, наклонившись вперед между сиденьями.

— Как так вышло, что эту часть истории я ни разу не слышала? — спросила Кэролайн.

— Пожалуйста, не называй его «старым евреем», — сказала Франни отцу.

— Прости. — Фикс прижал руку к сердцу. — Старый алкаш. Да упокоит Господь его душу на Сионе. Я к тому, что снимаю перед мужиком шляпу. Я его наконец зауважал.

Франни представила, каково было бы позвонить Элби и сообщить ему эту новость.

— Ну, я не то чтобы ушла в ту ночь из дома и больше не возвращалась. Мы все лето провели в Амагансетте.

Пришлось иметь дело с Ариэль, ее невыносимым голландским бойфрендом и грустной маленькой Баттон, пришлось вынести долгое, тягостное, кишашее гостями лето до конца. Финал отношений Лео и Франни разыгрался при полном зале. Это случилось больше двадцати лет назад, но Франни по-прежнему ощущала всю безысходную тоску тех дней.

— Но по сути все правильно, так? — сказал Фикс. — Парень воткнул гвоздь в колесо.

Кэролайн покачала головой.

— Элби выявил, что в колесе был гвоздь, — сказала она, и Франни рассмеялась, удивившись про себя, насколько точной оказалась формулировка сестры.

— Надо было мне доучиться на юридическом, — заметила Франни. — Стала бы такой же умной, как ты.

Кэролайн покачала головой:

— Исключено.

— Перестраивайся, — велел Фикс, указывая на дорогу. — На светофоре поворачиваешь налево.

На коленях у Фикса лежала карта автомобильных дорог от «Томас бразерс». Он не позволил Франни ввести в навигатор адрес кинотеатра.

— Ты понимаешь, почему фильм снимали так долго?

Кэролайн глянула в зеркало заднего вида, потом быстро прибавила скорость, чтобы лучше видеть приближающийся «порше». В вождении, как и во всем остальном, ей не было равных.

— Так получилось. Лео не хотел продавать права на фильм, так что, пока он был жив, не могли начать. Не думаю, что его жена легко уступила.

Натали Поузен. Пятнадцать лет назад, когда Лео умер, они каким-то чудом еще оставались супругами — и из статуса вдовы она ухитрилась извлечь не меньше пользы, чем из статуса жены. Франни видела ее лишь однажды, на похоронах, она была куда меньше, чем Франни думала, сидела в первом ряду в синагоге, между двумя сыновьями, похожими на Лео — один от носа до макушки, второй от подбородка до носа, — словно каждый унаследовал половину отцовской головы. Ариэль сидела на другой стороне с совсем уже взрослой Баттон и своей матерью, первой миссис Леон Поузен. Эрик в программе похорон значился несущим концы покрывала — он был уже слишком стар, чтобы удержать одну шестую веса гроба. Это он позвонил Франни, сообщить о смерти Лео — весьма деликатный поступок, если учесть, сколько времени прошло. Она спросила про следующую, давно обещанную книгу, ту, которую он все это время должен был писать. Эрик сказал, что, к несчастью, книги не получилось.

Там были все, и время никого не пощадило: Эрик и Марисоль, Астрид, Холлингеры, еще десяток — летние гости пришли заявить на него права, как и остальной мир. Франни держалась позади, стояла у стены на галерке, среди бывших студентов, преданных поклонников и прежних девушек. Натали Поузен решила похоронить мужа в Лос-Анджелесе, сделать ему последнюю гадость — на веки вечные.

— Жена, — сказал Фикс. — Если уж мы пытаемся придумать, чему порадоваться, давайте скажем спасибо жене.

— Жене Лео? Фикс кивнул:

— Она тут невоспетый герой.

— С чего ты взял?

У Фикса был день рождения — восемьдесят три года и метастазы в мозгу. Франни изо всех сил старалась не терять терпения.

— Если бы она не вцепилась в него, как питбуль, пытаясь урвать побольше денег, Лео Поузен был бы свободен.

— А-а.

Кэролайн кивнула. Она красила волосы в теплый красноватый оттенок каштанового, какой был у нее в детстве, и трижды в неделю ходила на пилатес. Следовала примеру матери, не запускала себя. Из двух сестер Кэролайн казалась младшей.

— Не понимаю, к чему ты клонишь, — сказала Франни.

Фикс улыбнулся. Насколько он знал, не бывало еще, чтобы Кэролайн не уловила суть.

— Если бы Лео развелся, — объяснила Франни сестра, — то женился бы на тебе.

— Франни, детка, — сказал отец, с трудом поворачиваясь, чтобы на нее посмотреть, — это, судя по всему, единственная пуля, от которой ты в своей жизни увернулась.

Франни и Кэролайн давно согласились, что навещать кого-то из родителей вместе — пустая трата сил. Сестры тщательно распределили между собой бремя разведенных родителей, живших в разных концах страны, и мужей, чьим родителям тоже должны были доставаться какие-то семейные праздники. Поделили груз нерезиновых отпусков, в которые надо успеть все, выпрашиваний отгулов, трат на самолет, пропущенных школьных спектаклей и отсутствия без уважительной причины. Пусть сестры и полюбили друг друга, повзрослев, чаще от этого они не виделись. Лос-Анджелес был самым близким к заливу местом, куда добиралась Франни. Там, в двух часах езды от Кэролайн, теперь жил и Элби. Старший сын Кэролайн, Ник, писал диплом в Северо-Западном, так что, по крайней мере когда Кэролайн и Уортон приезжали к нему на выходные, Франни могла подъехать в Эванстон, повидаться со всеми троими сразу. С двумя другими детьми Кэролайн, девочками, Франни не виделась вовсе, так же как Кэролайн не виделась с мальчиками Франни. Но Рави и Амит все равно не были ее родными детьми. Неважно, сколько они уже жили с Франни, они достались ей вместе с мужем, и Кэролайн, как ни старалась, не могла признать за пасынками сестры право семейного гражданства.

Словом, в обычных обстоятельствах ни Франни, ни Кэролайн не приехали бы в Лос-Анджелес на день рождения Фикса, но, поскольку Фикс перешел все границы, установленные онкологами, в этот раз сестры «вышли на поле» вместе. Одного взгляда на пассажирское сиденье хватало, чтобы понять: этот день рождения, скорее всего, будет для Фикса последним, и в знак уважения Франни и Кэролайн нарушили ими же установленные правила и встретились в Калифорнии.

— Так что будем делать в славный день? — спросила накануне вечером Кэролайн. — Выбирай не хочу.

Они, четверо, сидели в кабинете в доме в Санта-Монике, куда Фикс и Марджори переехали, когда наконец выбрались из Дауни после ухода на пенсию. Дом был в некотором роде чудом, правда, роскошество у него было всего одно — он стоял в двух кварталах от пляжа. Сорок лет назад Фикс был знаком с копом, который играл в покер с судьей по банкротствам. Ему шепнули, когда дом выставили на аукцион. Фикс тогда как раз наконец-то сказал Марджори, что женится на ней. Сказал, можно потратить ее свежее наследство от тетушки из Огайо на основную выплату за дом. Приобрести, сдавать лет двадцать, а когда соберутся на пенсию, он будет практически выкуплен.

— Это так ты предложение делаешь? — сказала тогда Марджори, но предложение приняла.

— Но папа-то в этом какую роль сыграл? — много лет спустя спросила Франни, когда наконец услышала историю целиком.

Фикс и Марджори провозили девочек мимо дома каждый раз, когда те приезжали в гости. Показывали на него из машины, говорили, что он принадлежит им и когда-нибудь они там будут жить.

— Если деньги были у тебя, зачем было идти за него замуж? Ты могла бы просто сама купить дом и сдавать его.

— Твой отец хотел дом на пляже, а я хотела замуж за твоего отца. — Марджори рассмеялась собственным словам и начала снова: — Он хотел на мне жениться. Он просто не сразу это понял. Мне нравится думать, что в итоге выиграла все.

Марджори только что закончила вводить питательную смесь в эндоскопическую трубку Фикса. Ее семьдесят пять выглядели сущей ерундой в сравнении с его восьмьюдесятью тремя, но казалось,

Марджори перестала есть примерно тогда же, когда и ее муж. Лопатки у нее под свитером торчали, как углы проволочной вешалки.

— Пошли в кино, — сказал Фикс. — Есть утренний сеанс фильма Франни.

— Фикс, — сказала Марджори устало. — Мы это уже обсуждали.

— Моего фильма? — переспросила Франни.

Но она, разумеется, знала, о чем он. Он и книгу звал «ее книгой».

— Того, который про нас придумал твой хахаль. Я так понимаю, это мой единственный шанс увидеть кино про свою жизнь. — Судя по лицу Фикса, эта мысль его изрядно радовала. — Книгу я так и не прочел, ты же знаешь. Не собирался отдавать этому сукину сыну свои деньги. Но теперь, когда он умер и деньги пойдут его жене, я не против. К тому же я читал статью в газете, там сказано, что женщина, которая играет твою мать, никуда не годится. Думаю, ей это нож острый.

Марджори подняла тонкую руку:

— Я пас. Вы с девочками можете развлекаться. Я к вашему возвращению кексов напеку.

Несколько свободных часов стоили месячной пенсии.

— Ох, пап, — сказала Кэролайн. — Разве не веселее будет остаться дома и вырывать нам ногти на ногах плоскогубцами?

Франни после выхода «Своих-чужих» пришлось помучиться и от страха, и от угрызений совести, но она все же не стала бы отрицать, что деньки были славные: завтраки с издателями в ресторане «Гренуй», церемония награждения, на которой Лео вызывали на сцену, бесконечное турне с книгой, когда он вечер за вечером читал зачарованным толпам, а потом ждал, когда в очередь у стола выстраивались толпы поклонников, пришедших сказать, как его труд изменил их жизнь. Он снова был знаменит, снова на коне, и каждую ночь в новом отеле он отдавал Франни должное, нежно удерживая ее голову в ладонях, пока они любили друг друга. Он не мог отвести от нее глаз. Сам Лео Поузен любил ее, благодарил ее, нуждался в ней. Так что игра стоила свеч.

Но стоит посмотреть сейчас этот фильм, и вернется не только воспоминание о том, как она предала семью. Фильм напомнит и о крахе ее давних отношений, и об одинокой смерти человека, которого она любила.

Пока Лео писал книгу, Франни еще не понимала, каково будет жить со «Своими-чужими», а потом было уже поздно что-то делать. С фильмом, однако, все обстояло иначе. Его еще не сняли. Франни умоляла Лео не продавать права. Она понимала, что это обещание повлечет существенные финансовые потери, и все-таки умоляла, вцепившись в рукопись.

Лео отдал ей права на каталожной карточке, потому что Франни была его солнцем, луной и всеми мерцающими звездами до единой.

*Франсес Ксавье Китинг
в честь ее двадцать седьмого дня рождения:
я передаю права на фильм «Свои-чужие»,
отныне и навсегда,
в знак моей вечной любви и благодарности.*

Леон Ариэль Поузен.

Он соблюдал это соглашение даже потом, когда они почти не разговаривали друг с другом и Франни подозревала, что ему нужны деньги. Она не сказала никому о его обещании, когда он умер. Кому говорить? Его жене? Она понимала, что у каталожной карточки не будет никаких шансов против батальона юристов. К тому же она вбила себе в голову абсурдную мысль, что у нее могут попытаться отнять карточку.

— Нет, — сказала Франни.

Нет, она не хотела смотреть этот фильм, особенно с отцом и сестрой и сотнями чужих людей, жующих попкорн в битком набитом кинотеатре в Санта-Монике.

Фикс засмеялся и хлопнул ладонями по подлокотникам кресла.

— Да что вы как маленькие! Ничего страшного вам там не покажут. Вам бы понять, что умирающему, застрывшему в этой крысоловке на колесах, охота глянуть, как его изображает красавчик-киноактер. И потом, все это давно в прошлом. Даю вам времени до завтра, чтобы собраться. У меня день рождения, и мы идем в кино.

Кэролайн припарковалась, и Франни вынула из багажника коляску. Фикс уже давно не водил, но машину продавать отказывался.

А вдруг судьба смилостивится, врачи в последний момент найдут чудо-лекарство и части тела, пожранные раком, можно будет восстановить? Надежда, говорил Фикс, — это кровь жизни, а такой автомобиль ничем не заменишь. Это была «краун-виктория», бывшая патрульная машина без опознавательных знаков, которую Фикс выкупил у полицейского управления. Франни называла ее Бэтмобилем за способность выжать сто сорок миль в час, если нужно. Фикс не то чтобы гонял сто сорок, но любил говорить, что приятно просто знать — есть такая возможность.

Франни открыла дверцу машины и приподняла ноги отца с пола, бережно развернула наружу и взяла его за руку.

— На счет три, — сказала она, и они вдвоем стали считать, пока он раскачивался для рывка. Машина, способная догнать угнанный «феррари», тут ему помочь уже не могла. Франни вытянула отца наружу, а Кэролайн подсунула коляску, едва он встал. Еще месяц назад Фикс бы воспротивился. Он отказывался пользоваться ходунками, предпочитая цепляться за Марджори, даже после падений. Но теперь они с этим покончили. Теперь он позволял Франни ставить свои ноги на подножку. Говорил «спасибо».

Актриса, которой принадлежал дом в Амагансетте, хотела сыграть в фильме Джулию, то есть мать Франни. Она, конечно, не знала, что Франни существует на самом деле и спит в ее постели на простынях из египетского хлопка. Лео винил Элби в том, что их роман кончился. Считал, что, если бы Элби их не нашел, они бы так и жили в мире и согласии. Но Кэролайн была права: Элби не втыкал гвоздь в колесо, гвоздь уже был там. Но если Лео винил в их личных бедах невинного Элби, то Франни — актрису и ее нелепый дом. Это вообще нормально — иметь такие деньжищи, чтобы покупать такие хоромы и даже не жить в них? Бассейн был настолько длинный и глубокий, что казалось — это фундамент дома, построенного в начале девятнадцатого века и потом унесенного ураганом. Вода в бассейн поступала из ручья. Никто толком не знал, откуда это все: и ручей, и бассейн были тут задолго до постройки дома актрисы. И это только для начала: были еще вьющиеся розы, покрывавшие восточную стену, а потом расползавшиеся огромной сетью по скату крыши — сказочное изобилие цветов. Настоящий ураган из роз — белых, красных и розовых пяти примерно оттенков — наслаивавшихся друг на друга все

лето: один сорт отмирал, как раз когда другой входил в пору цветения. Лужайку постоянно устилал ковер облетевших лепестков. А в спальне висел Климт, небольшой, но бесспорно подлинный: портрет женщины, обладавшей почти фамильным сходством с актрисой. Кто держит Климта в летнем доме? Франни считала, что это дом их доконал. Он притягивал к себе всех, кроме самой актрисы. Как-то ночью, когда их отношения уже давно закончились, Лео позвонил Франни и рассказал, что актриса снова пригласила его в Амагансетт, пообедать. Собиралась поговорить о фильме, хотя он и заверял ее, что никакого фильма нет и не будет.

— Как бы то ни было, приезжайте, — сказала она.

— Помнишь, сколько было шампанского в холодильнике? — сказал Лео по телефону.

Франни помнила.

— Ну, мы его выпили. — Из кембриджской квартиры Лео донесся вздох. — Ничего у нас с ней не было. Это я и хотел тебе сказать. В конце концов, я не смог подняться с ней в спальню. Это ведь все еще была наша спальня, Франни. Я так не могу.

С точки зрения современных киностандартов, актриса, отчаянно добивавшаяся роли Джулии, была древним ископаемым. Она уже давным-давно не играла романтических героинь. Перестала играть матерей. В шестьдесят нельзя было играть даже колдуний в сказках. Ей оставались кое-какие вдовствующие аристократки, иногда — пожилая сенаторша или безжалостная дама из совета директоров в кабельном сериале, благосклонно принятом критикой. Этим Франни и оставалось утешаться, пока в зале кинотеатра в Санта-Монике гас свет: где-то сидит и смотрит «Свои-чужие» красивая актриса — и вспоминает, как изо всех сил пыталась стать Джулией.

Но никакого утешения это не принесло.

Сидя в темноте рядом с отцом, Франни и Кэрролайн думали об одном и том же: интересно, хуже было бы, смотри они настоящий, документальный фильм о своем детстве? Было лето, когда Берт обзавелся камерой «Супер-8» и преследовал их, как Антониони, пока они бегали под поливалками и ездили туда-сюда на велосипедах, то появляясь, то пропадая в кадре. Пряменькая, как столбик, Холли крутила хулахуп. Элби прыгал перед ней, стаскивая майку. Голос Берта за кадром командовал, чтобы они сделали что-нибудь забавное, но они

просто были детьми, и, если смотреть из настоящего, это в них и завораживало. Может, тот фильм до сих пор лежал в коробке у матери на чердаке или где-то в глубине картотечного шкафа в гараже у Берта. Франни могла бы попытаться отыскать его в следующий свой приезд в Виргинию и вставить пленку в проектор. Тогда они смогут посмотреть на настоящего Кэла, снова увидеть, как он бежит, и стереть из памяти хмурого мальчишку, исполнявшего его роль. Документальный фильм определенно был бы лучше этого, даже если бы камера каждую минуту запечатлевала всю катастрофу детства, сохраняла все худшие минуты, — это все равно было бы лучше, чем смотреть на чужих людей, кое-как пытающихся воспроизвести их жизнь. Из Холли и Джанетт сделали одну девочку, которая не была ни Холли, ни Джанетт, а была каким-то жутким подменышем, который во время спора топал ногой и хлопал дверью. Разве Холли или Джанетт так когда-нибудь делали? Но, разумеется, дети-актеры не пытались играть настоящих детей. Они понятия не имели, что книга имеет какое-то отношение к реальности, и в любом случае не читали ее. Так почему фильм доставлял сестрам такие мучения: потому, что все в нем было враньем, или потому, что, вопреки невозможному, кое-что было истинной правдой? То тут, то там что-то очень знакомое мелькало в мелких жестокостях, которыми обменивались семьи.

— Это не ты, — сказал Лео, когда она дочитала книгу. — И там нет никого из вас.

Он сидел во второй спальне, которую использовал как кабинет, в их квартире в Чикаго, в маленькой квартире, где они жили до того, как появились деньги. Франни плакала, а он усадил ее к себе на колени и гладил по голове. Страшную ошибку, которую она совершила, он превратил в нечто вечное и прекрасное. Это и был гвоздь в колесе. Или даже не это. Не в том было дело, что она это прочла, не в том, что он это написал, а в том далеком дне в Айове, когда Лео, чистивший зубы, пока Франни стояла под душем, выплюнул пасту, чуть отодвинул занавеску и сказал:

— Я все думаю о той истории, которую ты мне рассказала, о твоём сводном брате.

В то мгновение, стоя голой под струями воды, с текущим по шее шампунем, она подумала, что Лео Поузен ее слушал и счел смерть

Кэла достойной дальнейших размышлений. Он протянул руку под душ и обвел пальцем ее маленькую грудь, покрытую мыльной пеной.

А вот о чем она не подумала, стоя в душе, — так это о том, что однажды ей будет пятьдесят два и придется созерцать на экране результат своей улыбчивой уступчивости. Экранный Кэл еще не умер, это было еще впереди. Экранного Элби остальные дети уже пару раз накормили таблетками, экранная Кэролайн била и щипала экранную Франни всякий раз, когда камера поворачивалась в их сторону, а ведь фильм был даже не о детях. Он рассказывал о матери одной из семей и отце другой, о том, как по ночам они смотрели друг на друга через подъездную дорожку. Героиня, которая была матерью Франни, то и дело запускала руку в свои длинные светлые волосы, глядела вдаль, и это должно было обозначать, что она изнемогает под бременем своей неверности. Голубая хирургическая пижама ладно сидела на ее безупречной фигуре. Экранную мать разрывали на части больница, дети, любовная интрига с соседом, дружба с его женой. Только ее злополучный муж вроде бы ничего у нее не требовал. Он жался к краям экрана, собирая за детьми тарелки, а она красовалась на переднем плане. Ну, вот, ее снова вызвали.

— Хватит, — взвыл Фикс.

Он оттолкнулся и приподнялся, словно намеревался самостоятельно выйти из кинотеатра, хотя ноги его по-прежнему стояли на подножке. В тот миг, когда он полетел вперед, в широкий проход перед местом для инвалидов, Кэролайн метнулась со своего места и поймала отца, собственным телом остановив его падение. Они барахтались в темноте, и каждый одним коленом и обеими руками упирался в липкий пол. Франни обхватила отца под мышки, но он извивался всем телом, силясь высвободиться.

— Я сам! Сам поднимусь!

Весь зал уставился на них. Никто не шикал. Шел уже другой эпизод. Теперь экранный Кэл бежал по улице мимо соседских домов, а маленький брат бежал следом, пытаясь его нагнать. Дело происходило днем, на экране было светло, и билетеры увидели, что шум исходит от старика в инвалидной коляске. Ему пытались помочь две женщины. Никто не знал, что фильм о них.

— Уйдем отсюда! — навзрыд выкрикнул Фикс. — Пошли!

Они усадили его обратно в кресло, но ноги у него заплелись. Он пнул Франни, и она поставила его ступни на подножку. Кэролайн взялась за кресло, а Франни схватила их сумочки. Они не то чтобы бежали — с отцом-то не побежишь, — но спешили как могли. Франни заскочила вперед и распахнула дверь в длинный, застланный ковром коридор, потом они прошли вестибюль, миновали безумную неоновую радугу, мигавшую над автоматом с попкорном, подростков-билетеров в коричневых полиэстеровых жилетах. Бам! Они вырвались из двойных стеклянных дверей в невыносимое половодье солнечного света.

— В жопу! — крикнул Фикс на парковке.

Мать с двумя детьми, шедшая им навстречу, остановилась, подумала и развернулась в другую сторону. Франни с хохотом уткнулась лицом в ладони. Кэролайн, перегнувшись в поясе, склонилась к отцу, прильнула к изгибу его плеча.

— С днем рождения, пап, — сказала она.

И чмокнула его в щеку.

— В жопу, — повторил Фикс, на этот раз обескураженно.

— Да, — согласилась Франни, поглаживая другое его плечо. — В жопу.

После кино они поехали на пляж. Франни и Фикс были против. Говорили, что устали и хотят домой, но машину вела Кэролайн.

— Я не допущу, чтобы у меня осталась такая память о папином дне рождения, — сказала она, вдавливая педаль, напоминая, на что способна эта машина и на что способна она сама. — Я хочу смыть это кино со своей сетчатки. Будем смотреть на океан.

— Поверни на Альгамонт, — сказал Фикс еле слышно, словно, открывшись на парковке, вконец обессилел.

— Не боишься, что поездка на пляж его доконает? — сказала Франни, обращаясь к Кэролайн.

Фикс улыбнулся.

— Я так бы и хотел уйти. На берегу океана, рядом с моими девочками. Можем позвать Джо Майка, чтобы пришел и благословил меня в последний раз.

— Джо Майк уже не священник, — сказала Кэролайн.

— Мне он не откажет.

Во второй раз извлекать отца из машины было сложнее. Он не мог им помочь, но все же Франни и Кэролайн справились. Кэролайн,

разумеется, оказалась права насчет пляжа. В Санта-Монике почти все дни прекрасны, а этот, благодаря тому что больше не представал на экране, был прекраснее прочих. У Фикса за лобовым стеклом «краун-виктории» висел знак «инвалид», и они нашли, где поставить машину, хотя мест для парковки не было.

— Вы не знаете, какое это наслаждение — впясть двести долларов штрафа какому-нибудь здоровому как бык засранцу, который влез на место для инвалидов, — сказал Фикс.

Франни катила коляску по дорожке, занесенной песком. Они старались запомнить все: чаек и волны, девушек в бикини, парней в шортах, спасателя на деревянной вышке, взиравшего на них с видом небожителя, молодежь — загляденье, хоть сейчас в рекламу лосьона для загара — и неувядаемых бодрячков, что перебрасывались в сторонке волейбольным мячом. Отдыхающие бегали с собаками, ели мороженое, валялись на пестрых полотенцах размером с простыню, подрумяниваясь на солнце.

— Всякий раз думаю: кто все эти люди? — изумилась Кэролайн. — Сегодня четверг. Неужели никто не работает?

— Они мой день рождения празднуют, — сказал Фикс. — Я всем дал выходной.

— А почему вон те ребята не в школе?

Кэролайн взглянула на кучку детей с ведерками, усердно пересыпавших песок.

— А помните, девочки, как я водил вас на пляж? — спросил Фикс.

— Еще бы — мы ходили каждый год, — сказала Франни.

Фикс смотрел на волны, на скользившие вдалеке крошечные фигурки серферов на ярко-желтых досках.

— Смотрю, девочки совсем не катаются.

— Девочки лежат на полотенцах, — сказала Франни.

Фикс покачал головой:

— Так не годится. Я бы вас научил. Если бы вы жили тут со мной, вы бы у меня стали серфершами.

Кэролайн нежно пригладила ему волосы. В детстве она хотела только одного — жить с отцом, а ей не позволяли.

— Ты же не умел кататься на доске, — сказала она. Фикс медленно покивал волнам в знак согласия:

— Я и плавал не очень.

Они полюбовались на паренька с розово-красным воздушным змеем в виде дракона — тот взвивался вверх, описывал бешеные круги, а потом пикировал вниз. Проводили взглядом двух роллерш в бикини — они пронеслись мимо, едва не задев длинными ногами колени Фикса.

— Ваша мама была не такая, — сказал Фикс, все еще глядя на серферов.

Франни не поняла, о чем он — о девушках на роликах? Но Кэролайн догадалась:

— Ты о том, что мама не была хирургом-ортопедом?

— Ваша мама была лучше, вот и все. Не мне вступаться за нее, но я хочу, чтобы вы знали — она была не такой, как эта актриса изображает.

Сестры переглянулись над спинкой инвалидного кресла. Кэролайн покачала головой.

— Пап, — сказала Франни. — Это все были не мы.

— Вот именно. — Фикс похлопал ее по руке, словно хваля за понятливость.

Когда они вернулись в машину, Кэролайн и Франни проверили телефоны. Они выключили их в кинотеатре, а потом забыли включить.

— Эх, жаль, у меня нет телефона, — сказал Фикс. — Пялился бы в него с вами за компанию.

— Можешь попялиться в свой «Томас бразерс», — сказала Кэролайн, прокручивая большим пальцем нескончаемый поток сообщений с работы.

У Франни было два сообщения, одно от Кумара, спрашивавшего, где чековая книжка, а другое от Элби: «ПОЗВОНИ МНЕ!!»

— Секундочку, — сказала Франни и вышла из машины.

Он ответил после первого гудка.

— Ты еще в Лос-Анджелесе?

Недели две назад они обменялись имейлами. Она сообщила, что едет на день рождения к отцу.

— Как раз сейчас смотрю на океан.

— У меня к тебе огромная просьба, тем более что ты передо мной в долгу: не сказала, что гребаное кино выходит на этой неделе.

— Ты о чем? — спросила Франни.

Паренек все еще держал дракона в воздухе. Ветер был в самый раз.

— Мама больна. Ей совсем плохо уже три дня, а в больницу она ни за что не хочет. Сначала говорит, что все ничего, и тут же — что болеет, так что вряд ли все же она здорова. Я могу приехать вечером, но боюсь, что ей нужно в больницу прямо сейчас. До соседней я дозвониться не могу, ее лучшей подруги нет в городе. Мать никогда не была, что называется, компанейским человеком, а если какая-то компания у нее и появилась, она мне не сообщила, так что вариантов у меня немного. Я не хочу вызывать скорую, чтобы не напугать ее до смерти — а вдруг с ней все не так уж и плохо.

Элби замолчал и вдохнул:

— Не могла бы ты съездить взглянуть, как она там? Джанетт в Нью-Йорке, Холли, черт бы ее драл, в Швейцарии. Я могу позвонить маме, сказать, что ты заедешь. Она разозлится, но хотя бы дверь откроет.

Франни оглянулась на «краун-викторию», понимая, что машина туда домчится моментально. Посмотрела на отца и сестру на переднем сиденье, глядевших на нее из окон с видом людей, опаздывающих на важную встречу.

— Конечно, — сказала она. — Давай адрес. Потом я тебе перезвоню и скажу, надо ли приезжать.

Повисла пауза, и Франни подумала, что у нее отключился телефон. Она иногда забывала подзарядить его. Потом снова возник голос Элби:

— Да, Франни, вот еще что...

— Твоя мама не знает про фильм, да?

— Мама не знает про книжку, — сказал он. — Как выяснилось, роман — вполне подходящее место, если что-то нужно спрятать.

Прошло больше двадцати лет с того дня, как Элби сел на поезд до Амагансетта. Перед отъездом он дочитал книгу и отдал ее Джанетт. Пройдя пешком три мили от станции до актрисино дома, он постучал в дверь, чтобы выяснить, как попала в чужие руки его жизнь.

Позже, поругавшись с Лео, Франни вместе с Элби вышли через заднюю дверь, даже не увидевшись с Ариэль и Баттон. Они направлялись в домик на задах участка, когда встретили по пути

Джона Холлингера. Он был в безупречно мятом костюме и курил сигарету. Писатель любовался красотой ночи.

— Какое место, а? — с изумлением сказал он им. Франни и Элби, не включая в домике свет, стали пить джин, передавая друг другу бутылку. Никому и в голову не придет искать их здесь, да и, скорее всего, никому не придет в голову вообще их искать. Вместо этого Лео с гостями усядутся на закрытой веранде по другую сторону лужайки и будут курить и пить джин, которой привезли Холлингеры. Лео будет костерить полоумного братца Франни — братца сводного и бывшего — мол, появился откуда ни возьмись, наскандалил, но не скажет, из-за чего братец так взбеленился.

— Ты сказал Джанетт, что поедешь? — спросила Франни.

— Нет-нет. — Элби покачал в темноте головой. — Джанетт увязалась бы за мной, и уж она бы его точно убила.

— Его — вряд ли.

Джин обжигал — приятно и привычно. Франни поняла, что берегла его для подходящего случая.

— Это я во всем виновата, — сказала она.

— Ага, — сказал Элби. — Но я бы не дал Джанетт тебя убить.

— Долг милосердия. Это ненадолго, — сообщила Франни, вернувшись в машину.

Она объяснила Кэролайн и отцу, в чем дело.

— Давайте я вас двоих высажу возле дома и проверю, как она там. Я быстро съезжу.

— Это Элби сейчас звонил? — сказал Фикс.

— Он.

— С ума сойти! — сказала Кэролайн. — Ну надо же как все совпало!

Даже на Кэролайн это произвело впечатление.

Совпасть должно было многое. Франни и Элби дружили. Элби пригласил их с Кумаром к себе на свадьбу. На холодильнике у Франни висела фотография дочери Элби, Шарлотт. Они почти никогда не забывали про дни рождения друг друга.

— Не знаю, как твою сестру, но меня ты возле дома высаживать не будешь, — сказал Фикс. — Я Терезу Казинс сто лет не видел.

— Давно ли ты знаком с Терезой Казинс? — спросила Кэролайн.

По ночам четыре девочки, лежа на двухъярусных кроватях, не раз обсуждали, как хорошо было бы, если бы отец Кэролайн и Франни женился на матери Холли и Джанетт. Тогда бы все устроилось.

— С тех пор, как Элби спалил школу. Я вам не рассказывал? Ваша мать позвонила и попросила меня вытащить его из изолятора для несовершеннолетних, оказать ей такую услугу, как будто я нанимался.

— Про школу мы знаем, — сказала Кэролайн. — Переходи к Терезе.

Фикс покачал головой:

— Поразительно, если вдуматься, как это тамошние копы его мне отдали. Мы с ними были едва знакомы. Я им просто показал значок и сказал, что приехал забрать Альберта Казинса. Через две минуты я расписываюсь за парня, и мне его передают. Поспорить готов, сейчас так не делают, по крайней мере на малолетке. В его шайке была еще пара-тройка ребят, если я правильно помню, двое черных и мексиканец. Дежурный сержант меня спросил, заберу ли я и их тоже.

— А ты что? — спросила Франни.

Как же так? Получалось, она столько раз слышала эту историю и только сейчас поняла, что из нее выбросили самое интересное?

— Оставил там. Мне и один-то был не нужен, а уж все четверо — и подавно. Помню, он сначала в больницу попал. У него спина обгорела, там, где футболка занялась. Ему дали куртку больничного уборщика, но дымом все равно разило. Я велел ему опустить в машине все стекла.

— Бессердечный ты, пап, — сказал Кэролайн.

— Ни хрена себе бессердечный! Я спас парня. Я его вытащил, не кто-нибудь. Это я отвез его в пожарную часть, поговорить с вашим дядей Томом. Он тогда работал в Уэстчестере, всю трассу мимо аэропорта надо было проехать. Это я застрял там в пробке с сыночком Берта Казинса, от которого несло, как из угольной ямы. Они с дядей Томом поговорили по душам. Знаете, ваш дядя в детстве был поджигателем, вечно все жег. Не школы, конечно, просто пустыри и фигню всякую, никому не нужную. Многие пожарные начинают с того, что устраивают поджоги. Учатся поджигать, а потом учатся тушить. Том все это объяснил Элби, и потом я отвез его обратно в Торранс. Целый божий день в машине.

— И так ты познакомился с Терезой Казинс, — сказала Кэролайн.

— И так я познакомился с Терезой Казинс. Славная была женщина, помнится. Потрепало ее сильно, однако нос она не вешала. Но вот ее парнишка... тот и правда был сущий волчонок.

— Он исправился, — сказала Франни.

— Еще бы ему не исправиться. Сначала я узнал, что он расстроил твою помолвку с тем еврейчиком... — Фикс поднял руку. — Ой, опять вырвалось, прости, я хотел сказать — «с алкашом», а теперь он волнуется за мать.

— Мы не были помолвлены, — поправила его Франни.

— Франни, — сказала Кэролайн, — пусть Элби воздадут должное.

— Тот же дом в Торрансе? — спросил Фикс.

Франни прочитала адрес вслух.

Он кивнул:

— Тот же дом. Я тебе скажу, как туда добраться. Можно все время поверху.

«И все это уйдет с тобой, — подумала Франни, закрывая глаза. — Все твои истории. Все, что я прослушала, выбросила из памяти, не так поняла или не поняла вовсе. Все советы, как лучше доехать до Торранса».

В Виргинии на шестерых детей приходилось две комнаты и один кот, они таскали еду друг у друга с тарелок и брали полотенца в ванной, не разбирая, где чье, но в Калифорнии все было врозь. Холли, Кэл, Элби и Джанетт никогда не приглашали в дом Китингов, а Кэролайн и Франни точно так же никогда не были у Терезы Казинс. Берт и Тереза купили дом в Торрансе в шестидесятых, когда Берт получил должность в окружной прокуратуре Лос-Анджелеса: и от центра недалеко, и до пляжа рукой подать. В доме было три спальни: одна для Берта и Терезы, одна для Кэла и одна для Холли. Когда появились Джанетт и Элби, все потеснились. То был дом на первое время, порт, из которого они собирались отчалить в прекрасную жизнь. В конце концов все, кроме Терезы, его покинули: сперва Берт, потом Кэл, потом Элби, Холли и Джанетт. Джанетт разговорилась в тот последний год перед колледжем, когда они с Терезой жили вдвоем. Обе диву давались, как им, оказывается, хорошо и весело друг с дружкой.

В общем-то, сказка вышла со счастливым концом. Пока Тереза день за днем, год за годом ходила на службу в окружную прокуратуру, Торранс расцвел. Район, из которого когда-то нужно было уезжать сразу, как деньги появятся, стал перспективным, а потом и популярным. По схемам из журнала Тереза разбила сад суккулентов и устроила рокарий. Достроила веранду. Переделала комнату мальчиков в кабинет. Агенты по недвижимости засовывали в ее почтовый ящик написанные от руки записки, спрашивая, не заинтересована ли Тереза в продаже дома, но все записки она бросала в мусорный бак. Терезе нравилось работать помощником юриста, и она хорошо справлялась. Коллеги постоянно твердили, что ей бы пойти на юридический, — она была умнее многих из них — но Терезе это было не нужно. Она работала на округ до семидесяти двух и ушла, получив роскошную калифорнийскую пенсию — одну из тех, которые в конце концов доведут штат до банкротства. Юристы, давно сменившие место службы, приехали поднять бокал за Терезу на вечеринке в честь ее выхода на пенсию. Вскладчину ей купили часы.

Раз в год она летала в Нью-Йорк повидать Джанетт, Фоде и внуков. Тереза любила их, но Нью-Йорк ее угнетал. Калифорнийцы привыкли к собственным домам, машинам и лужайкам. Ей не хватало простора. На отложенные деньги Тереза купила билет в Швейцарию, чтобы навестить Холли в дзен-центре. Десять дней она сидела на подушке рядом со своей старшей дочерью и ничего не делала, только дышала. Терезе какое-то время нравилось дышать, но потом и тишина стала ее угнетать. Она судила жизни своих дочерей, как Златовласка в домике трех медведей: это слишком горячо, это слишком холодно, тут слишком жестко, тут слишком мягко. Мнение свое Тереза держала при себе, ей меньше всего хотелось, чтобы подумали, будто она кого-то осуждает. Элби приезжал в Торранс два-три раза в год. Тереза составляла список того, что нужно подправить в хозяйстве, и он его выполнял, пункт за пунктом — ставил новый мотор на дверь гаража, промывал бойлер... Годами перебиваясь случайными заработками, Элби поневоле научился всему на свете. Теперь он работал на компанию из Уолнат-Крик, выпускающую велосипеды. Ему нравилось. На Рождество он присылал матери билет на самолет, чтобы она приехала и посидела под елочкой с ним, его дочерью и женой. Когда же попкорн, камин и бесконечные партии в «сундучки» начинали ее

угнетать, Тереза с извинениями уходила в ванную, просто постоять минутку над раковиной и поплакать. Потом умывалась, вытирала лицо и возвращалась в гостиную как новенькая. Проплакаться было хорошо, но все-таки не такого праздника ей хотелось.

После ухода Берта Тереза встречалась с несколькими юристами и с парочкой полицейских. Гуляла она только с неженатыми. Это железное правило Тереза не нарушала никогда, даже ради «пропустить по рюмочке после службы», даже когда кавалер клялся и божился, что рюмочкой все и ограничится. Вскоре после отъезда Джанетт в колледж Тереза влюбилась в публичного адвоката Джима Чена, защитника всего на свете, и им досталось десять славных лет, пока на автостоянке у окружного суда его не настиг сердечный приступ. Рядом было полно народа, его увидели и вызвали неотложку. В толпе нашлась секретарша, прошедшая курсы первой помощи, когда у нее были маленькие дети, и она делала ему искусственное дыхание, пока не приехали врачи. Но иногда бывает так, что все сделаешь правильно — а толку никакого. Жизнь, как теперь понимала Тереза, — это череда потерь. Случалось в ней, конечно, и иное, хорошее, но потери были неизбежны и неодолимы, мир держался на них, как на трех слонах.

И вот у нее в животе завелась эта дрянь, от которой она перегибалась пополам, так больно, что вся трясешься, потом боль отступала и можно было снова вздохнуть. Сообрази Тереза, что ей надо к врачу, три дня назад, когда все только началось, она бы доехала сама, но теперь она уже три дня как не ела и ослабела до того, что сесть за руль не могла. Можно было позвонить Фоде и спросить, что делать, Фоде же был врачом, но она прекрасно могла разыграть этот разговор у себя в голове, не беспокоя зятя на другом конце страны: он скажет, что надо позвонить подруге и поехать в больницу или, даже проще, вызвать скорую. Терезе не хотелось ни того ни другого. Она так устала, что подвигом было добраться до туалета или до кухни — попить, а потом обратно в постель. Ей было восемьдесят два. Дети, пожалуй, из-за этого ее живота подумают, что пора решать вопрос — может она и дальше сама себя обслуживать или пора перебираться в заведение на севере, где-то неподалеку от Элби. К Джанетт в Бруклин ехать нельзя — в Бруклин едут влюбляться, писать романы и заводить детей, а не стареть, и к Холли она поехать не могла, хотя прикидывала,

что смерть в дзен-центре может дать какие-то преимущества в загробном мире.

На второй день ей пришло в голову, что, возможно, эта хворь, чем бы она ни была вызвана, решит вопрос о ее будущем как таковом: не исключено, что убийственная боль ее на самом деле убьет. Терезин аппендикс был все еще при ней, и пусть от аппендицита умирают разве что школьники в походах — кто знает, вдруг ее отросток терпеливо ждал все эти годы, чтобы устроить шоу под занавес? Не худший вариант, если подумать. От перитонита она умрет не так быстро, как милый Джим Чен на парковке, но все же. Когда ее ненадолго отпустило, Тереза отыскала ключ от депозитной ячейки, документы на машину, свое завещание. Только человек, совсем не верящий в завтрашний день, может проработать всю жизнь в юриспруденции и не составить толковое завещание. Ее имущество было разделено на три части. Дом, за который давно все было выплачено, постоянно рос в цене; имелись и кое-какие сбережения. Тереза откладывала с тех пор, как дети окончили школу. Она выложила все на кухонный стол и села писать записку. Она не хотела, чтобы это выглядело как записка самоубийцы, потому что никакого самоубийства она не совершала, но ей казалось — тот, кто в конце концов зайдет в дом, должен найти что-то еще, кроме ключей от машины и ее тела. Она взглянула на стопку бумажек, на которых обычно записывала, что надо купить. На каждой веселенькие маргаритки танцевали в своих горшках над россыпью розовых букв, складывавшихся в слова «Не забудь!». Она всегда считала, что это очень глупо, если бумага указывает тебе, что тебе надо не забыть, но сил пойти поискать простой белый лист у нее не было. Боль снова нарастала, и Терезе хотелось обратно в постель.

*Нехорошо мне.
На всякий случай.
С любовью, мама.*

Так вполне сойдет.

Только Элби отвлекал ее от очень умеренной, как ей показалось на третий день, боли. Он все названивал и названивал, чтобы узнать, как она, и Тереза отвечала по-разному — смотря на какую часть

болезненного цикла приходился телефонный звонок. Несколько раз она просто не брала трубку. Ее угнетала сама мысль о том, что придется разговаривать. Но потом она ответила, и Элби велел встать и открыть входную дверь. Сказал, что ее приедет проведать Франни Китинг.

— Франни Китинг?

— Она в городе, навещает отца. Я попросил ее заехать и узнать, как ты.

— У меня есть знакомые, вполне способные узнать, как я, — сказала Тереза, сама понимая, как жалко это звучит.

Да, у нее были друзья, она просто решила посидеть дома и поэкспериментировать со смертью.

— Уверен, что есть, но я устал ждать, когда ты им позвонишь. Иди открой дверь. Она приедет с минуты на минуту.

Тереза повесила трубку и оглядела себя — хлопчатобумажный халат на молнии (ее мать в Виргинии сказала бы «как у манекенщицы») она не снимала уже три дня. Он неприлично измялся и пропитался испариной. С тех пор как все это началось, Тереза не принимала ванну, не чистила зубы и не смотрелась в зеркало. Приезд Франни Китинг, конечно, был не то же самое, что приезд Беверли Китинг, но сейчас в мозгу Терезы они сливались воедино. Беверли, которая раньше была Беверли Казинс, а теперь стала Беверли Кто-то Там — Джанетт говорила, что она за кого-то вышла после Берта, но Тереза забыла за кого. Беверли Кто-то Там была столь сокрушительно прекрасна, что и думать о ней было больно, даже пятьдесят лет спустя. На фотографиях, которые дети привозили с каникул, Беверли выглядела так, словно это Катрин Денев случайно проходила мимо, когда они играли в бассейне или качались на качелях, и ненароком забрела в кадр. Тереза не хотела умереть с мыслями о красоте Беверли Китинг. Та к тому же была моложе Терезы, не намного, но все же. Беверли еще и восьмидесяти не было.

Волна боли накрыла ее, и пришлось ухватиться за спинку кресла, чтобы устоять на ногах. Что-то глубоко внутри живота, сверху донизу, от бедра до бедра. Рак матки? Рак костей? А рак может развиваться так быстро? Если она не откроет, Китингова дочка позвонит своему папаше. Элби сказал, что она навещает отца. Он сейчас сам уже старый, но может позвонить какому-нибудь приятелю из полиции,

чтобы взломали дверь. У полицейских с этим делом быстро. Она почувствовала, как пот проступает у нее под волосами — еще чуть-чуть, и вся голова станет мокрая. Она отпустила кресло и двинулась к входной двери. Каждый шаг заставлял ее мысленно произносить «твоюмать, твоюмать». Тереза твердила это как мантру, концентрировалась на словах, пытаясь выровнять дыхание, как учила Холли. Она широко открыла входную дверь и отодвинула защелку на антикомариной сетке, потом медленно зашаркала обратно — переодеться и плеснуть себе в лицо воды. Хорошо бы в ванной еще остался ополаскиватель для рта. Чистить зубы сил уже не было.

Не прошло и пяти минут, как раздался голос:

— Миссис Казинс?

А потом, секунд пять спустя, окликнули по-родственному:

— Тереза?

Она услышала, как открывают дверь-сетку.

— Минутку.

Тереза натянула спортивные трикотажные штаны, сунула ноги в кроссовки, вытерла голову полотенцем. До чего же больно. Волосы у нее были совсем короткие, но кого тут прельщать? Джанетт говорила, что вид у нее будто после химиотерапии. Холли говорила, что она похожа на буддистскую монахиню. Элби про ее волосы не заговаривал.

— Это Франни, — произнес голос.

— Я знаю, Франни. Он мне сказал.

Тереза закрыла глаза, подождала, вдохнула на твоюмать, выдохнула на твоюмать. Это немного помогло.

Когда она вошла в гостиную, там сидели двое — блондинка и брюнетка. Блондинка совсем не ухоженная, напоказ — в хвостике седина, лицо ненакрашенное, одета в хлопчатобумажную майку на тесемочках. Брюнетка более холеная, но, по правде говоря, ни на ту ни на другую второй раз не взглянешь. Обеим было до Холли и Джанетт как до луны. Тереза растянула рот в улыбке чистым усилием воли.

— Это моя сестра, Кэролайн, — сказала блондинка. — Надеюсь, вы не против, что мы приехали. Элби о вас волнуется.

— Да, с годами он стал заботливый, — сказала Тереза. Она старалась не задыхаться. — Удивительно: сколько в свое время нас поволноваться заставил, а теперь переменялся и сам волнуется.

— Думаю, так бывает, — сказала Кэролайн.

Тереза посмотрела на них долгим взглядом. Сколько раз она их видела на фотографиях, столько историй о них слышала. Кэролайн была задира, Франни — тихоня. Они обе хорошо учились в католической школе, но Кэролайн была умнее, Франни — добрее.

— Я понимаю, это прозвучит безумно, но скажите мне, девочки, мы с вами прежде встречались?

Кто из них двоих закончил юридический, а кто вылетел, Тереза точно не помнила, но по их виду можно было догадаться.

— На похоронах Кэла, — сказала Франни. — По-моему, только однажды.

Тереза кивнула:

— Тогда понятно, что я не помню.

— Как вы себя чувствуете? — спросила Кэролайн.

Прямо к делу. Властная особа. Казалось, если Тереза вздумает соврать, Кэролайн подойдет и ударит ее в живот.

— Мне было нехорошо, — сказала она, кладя руку на спинку стула. — Но получшело. Я уже встала. В нашем возрасте с болячками трудно справляться. Любая ерунда сбивает с ног.

— Вы не хотите пойти к врачу? — спросила Франни.

Хотела бы — так и пошла бы, подумала Тереза. Но нельзя же хамить. Девочки не сделали ничего плохого. Это Элби попросил их приехать. Они не виноваты.

— Нет, — сказала она.

Та, что поумнее, слегка прищурилась:

— Смотрите, раз уж мы приехали, мы можем сейчас отвезти вас в больницу. Если вам придется вызывать скорую в одиннадцать вечера, будет куда сложнее. Прошу прощения, но выглядите вы не очень.

Мисс Разумный Довод. Наверное, уже партнером стала.

— Мне восемьдесят два, — сказала Тереза. Она чувствовала, как у нее на лице выступает пот. — Я уже давно не выгляжу очень.

— Так вы не поедете? — спросила Кэролайн.

Прошу занести в протокол, что подсудимый отказался от предложения перевезти его в больницу, несмотря на рекомендацию своего адвоката.

— Простите, что мой сын вас отправил в такую даль, и понапрасну. Если бы он сперва спросил меня, я бы сказала, чтобы не звонил.

Еще минуточку потерпеть — и они уйдут, и она сможет сесть. Точнее, рухнуть. До кровати она не доберется, но ничего, диван в гостиной тоже отлично сойдет.

— Хорошо, — сказала Франни, — но наш отец в машине, и он хочет с вами поздороваться. Давайте вы с ним поздороваетесь, и мы больше не будем вам надоедать.

— Фикс в машине?

Франни кивнула:

— У него сегодня день рождения. Ему восемьдесят три. Потому мы и приехали.

Франни подождала, но Тереза все молчала. Тогда Франни решила дожать:

— У папы рак пищевода. Он совсем плох.

— О господи.

Фикса Китинга Тереза уважала. Она встречалась с ним лишь однажды, в тот страшный день, когда случился пожар, но запомнился он ей как человек очень славный. Элби, полыхавший молчаливой подростковой яростью, ушел к себе в комнату и хлопнул дверью, а они с Фиксом сели на кухне и вместе выпили. В холодильнике был свежий апельсиновый сок, и Тереза сделала им по «отвертке». Поднеся свой стакан к ее стакану, Фикс посмотрел Терезе прямо в глаза и сказал: «Ну, за солидарность». Она еще подумала — какой шикарный тост.

— Позовите его в дом, — сказала Тереза, гадая, сколько времени они тут проторчат, и должна ли она угостить их чем-нибудь.

На это ее уже не хватит.

Кэролайн покачала головой:

— Мы весь день на ногах. На крыльцо мы его точно не поднимем.

К входной двери вели три низкие ступеньки, по обеим сторонам шли декоративные кованые перила, которые Элби поставил в прошлом году. Если Тереза и сможет спуститься, то назад ей не подняться.

— Передайте ему привет, — сказала она.

— Папа умирает, — сказала Франни.

Я тоже, хотела ответить Тереза. Она переводила взгляд с одной девочки на другую. Внезапно ей стало ясно, что они сговорились: хорошая полицейская дочь и плохая полицейская дочь. И они никуда не уйдут. Новая волна боли взметнулась у Терезы из-под пупка. Она

слишком долго стояла и изображала любезность. Тереза закрыла глаза и попыталась дышать ртом, крепко вцепившись в спинку стула.

— Я возьму вашу сумочку и все запру, — сказала Франни. — Сумочка на кухне? Все ваши страховые карточки внутри?

Тереза на полдюйма двинула головой в знак согласия, а та, вторая, подошла и обхватила ее — бережно, но попытайся Тереза вырваться, ничего бы не вышло.

— Готовы, идти можете? — спросила Кэролайн. Тереза тысячу раз сходила и поднималась по этим ступенькам, но сейчас ей показалось, будто она Эва Мари Сейнт из «К северу через северо-запад» и смотрит вниз с обрыва горы Рашмор. Сестрицы Китинг подняли Терезу с двух сторон. В отличие от своих детей она никогда не была ни крупной, ни рослой, а теперь еще и усохла. Нести ее Франни и Кэролайн было, похоже, совсем не в тягость. Крепкие девочки, ничего не скажешь. Похитительницы переправили Терезу через лужайку, посадили на заднее сиденье машины, подняли ее ноги, чтобы развернуть, — и действовали так споро, что Тереза забеспокоилась: не зарабатывает ли эта парочка кражей стариков? Китинговы дочери защелкнули на ней ремень безопасности, но, когда она вскрикнула от боли — любое прикосновение к животу было невыносимо, — отстегнули.

— Тереза Казинс, — сказал Фикс с переднего сиденья. — Вот мы и встретились вновь.

— Пап, — перебила Кэролайн. — Говори, куда ехать.

Тереза различила тревогу в голосе Кэролайн. Похоже, дело было и впрямь срочное.

Фикс объяснил дорогу до Мемориального медицинского центра Торранса. Он даже не раскрыл справочник «Томас бразерс». Он столько его листал, что выучил наизусть.

Пока Тереза смотрела в окно, боль немножко унялась. Досадно, что ее засунули в машину и увозят, не давая исполниться ее замыслу. Впрочем, может, и не такой уж это был удачный замысел — умереть? Денек-то какой стоит, отличный южнокалифорнийский денек.

— С днем рождения, — сказала она Фиксу. — Мне очень жаль, что ты болеешь.

— Рак, — сказал он. — А с тобой что?

Франни звонила по сотовому:

— Мы усадили твою мать в машину. Везем в больницу.

— Понятия не имею, — сказала Тереза. — Может, аппендикс прорвался?

Кэролайн вдавила педаль газа, и «краун-виктория» рванулась вперед, как скаковая лошадь.

— Это Элби? — спросил Фикс. — Дай я с ним поговорю.

— Папа, погоди, — сказала Франни.

Ее отец протянул руку к заднему сиденью. Тереза едва заметно сжала ему ладонь.

— Элби, папа хочет с тобой поговорить.

— Твой папа? — спросил Элби.

Франни протянула отцу телефон.

— Здравствуй, сынок, — сказал Фикс, собравшись с силами и подпустив в голос солидности. — Твоя мама с нами. Мы проследим, чтобы врачи сделали все как следует, так что не волнуйся.

— Спасибо, — сказал Элби. — Второй раз вы меня спасаете.

— Мы побудем с ней, пока не выяснится, что там такое. Не думай, что мы ее просто высадим у дверей.

— Ну и славно, — сказала Тереза, глядя, как проносятся за окном дома ее соседей.

— Мне приехать прямо сейчас? — спросил Элби.

Фикс оглянулся на Терезу. Та была похожа на голого птенчика, выпавшего из гнезда на тротуар, но еще живого — бедный, совсем прозрачный, — все у них наперекосяк.

— Давай-ка мы будем ждать тебя утром, хорошо? Мы тебе еще позвоним. Как эту штуку отключить?

Последний вопрос он адресовал всем присутствующим, а потом нажал красную кнопку.

— Хорошие у нас дети, — сказала Тереза Фиксу. — Сколько крови нам испортили, а выросли все-таки хорошими.

Ее ужаснуло то, как плохо он выглядел. Правду говорят: рак — рукопожатие дьявола.

Кэролайн затормозила у приемного отделения неотложной помощи. Франни пошла внутрь за коляской для Терезы, пока Кэролайн доставала из багажника коляску отца. Кэролайн и Франни вместе вынимали их из машины. С Терезой было проще. Она зажмурилась, закусил губу, но не издала ни звука. Она была очень легкой. Фикса к

этому времени уже настигла боль, руки и ноги одеревенели так, что его было трудно вытащить из машины. День оказался длиннее, чем ожидалось, а они не захватили лортаб. Фикс держался за бока, как делал, когда уставал, словно пытаюсь себя собрать. Франни подумала — может, получится выпросить в неотложке хоть одну таблетку, чтобы довезти отца до Санта-Моники? Нет, вряд ли. Кэролайн и Франни подкатили Терезу и Фикса к столу регистратуры, за которым сидела молодая латиноамериканка с густо подведенными глазами и глубоким декольте. Она посмотрела на одну коляску, на другую, потом снова на первую. Нижняя часть золотого крестика нырнула в вызывающую ложбинку между грудями.

— Обоих? — спросила регистраторша.

— Женщину, — ответила Франни.

Кэролайн пошла поставить машину.

— Я позвоню Марджори, скажу, чтобы убрала кексы в холодильник.

— Ой, день рождения! — воскликнула Тереза, вспомнив про жену Фикса. — Я испортила тебе праздник.

Фикс зашелся смехом — искренним, какого от него никто давно уже не слышал.

— Испортила мне восемьдесят третий день рождения? Большая потеря, ничего не скажешь!

— Карточки страхования?

Сумочка Терезы была у Франни, она спросила, можно ли залезть в кошелек. Покопалась в скомканных бумажных носовых платках, ключах от дома, мятных леденцах. Нашла карточку медстраховки, дополнительную — от «Голубого Креста и Голубого Щита» и права. Она еще водит?

— Фамилия? — Девушка принялась зачитывать вопросы из компьютера; выучить их она явно не сподобилась.

— Я сюда постоянно ездила, когда дети росли, — сказала Тереза, оглядываясь по сторонам, словно только пробудилась от сна. — Швы, миндалины, уши. Но когда дети разъехались, я больше здесь не бывала. А без детей скорая помощь и не нужна. Я приезжала в больницу делать маммограмму и навещать больных друзей, но в неотложке, кажется, с тех пор ни разу не оказывалась.

— На карточках все есть, — сказала Франни девушке.

— Я привозила сюда Кэла, когда его укусила пчела, — продолжала вспоминать Тереза.

— Его в Виргинии пчела укусила, — поправил Фикс, пытаюсь помочь.

— Мы должны опросить пациента, — сказала девушка. — Это помогает оценить состояние.

Франни зыркнула на нее, потом показала глазами на Терезу. Девушка вздохнула и начала печатать.

— В первый раз, когда его укусили, мы приехали сюда.

— А я и не знала, что его кусали не один раз, — удивилась Франни.

В Виргинии в день похорон Кэла Берт собрал всех детей в гостиной. Сказал им, что Кэл никак не мог выжить после укуса пчелы. Хотел их утешить — пусть не думают, будто могли что-то сделать, чтобы спасти его. Хотя, конечно, могли. Могли не просить Кэла скармливать Элби весь свой бенадрил всякий раз, когда им хотелось, чтобы Элби заткнулся. Могли уговорить Кэла не давать Элби таблетки втихаря — и, когда они понадобились ему самому, у него осталось бы несколько штук. Могли бы подойти к нему, когда он упал, а они полчаса не обращали на него внимания, думая, что он притворяется.

— Так мы и узнали, что у него аллергия, — сказала Тереза. — В тот первый раз.

— Сколько ему тогда было? — спросила Кэролайн.

Кэролайн стояла у них за спиной. Они не видели, как она вернулась. Кэролайн думала о своих детях. Пыталась вспомнить: их всех кусали пчелы?

Тереза закрыла глаза. Она пересчитывала своих детей, расставляя их в памяти по росту.

— Наверное, семь. Элби как раз учился ходить, так что девочкам, видимо, было три и пять. По-моему, так. Кэл и Холли играли на заднем дворе, а малыши были со мной в доме. Четверо детей, а я одна, это было что-то. У вас есть дети, девочки?

— Трое, — ответила Кэролайн. — Мальчик и две девочки.

— Двое мальчиков, — сказала Франни.

— Но они не ее, — встрял Фикс.

— Вы рассказывали, как Кэла укусила пчела. — Кэролайн попыталась вернуть беседу в прежнее русло.

— Лекарства какие-нибудь принимаете? — спросила латиноамериканка.

Франни снова залезла в сумочку Терезы, вынула и поставила на стол два оранжевых пластиковых пузырька, которые нашла на раковине, лизиноприл и ресторил.

Тереза посмотрела на пузырьки, потом на Франни. — Я подумала, что могут спросить, — сказала Франни, хотя, возможно, хватать лекарства было уже чересчур. Она бы не хотела, чтобы кто-то рылся в ее аптечке.

— Я всегда учил девочек все делать как следует, — сказал Фикс.

— Ближайшие родственники?

Они переглянулись.

— Элби, надо полагать, — сказала Франни.

— Проживающие поблизости? — спросила девушка, занеся пальцы над клавиатурой.

— А, тогда я. Франсис Мета.

Она продиктовала девушке свой телефон.

— Степень родства?

— Падчерица, — сказала Франни.

— Погоди, — перебил Фикс.

Он производил в уме вычисления, пытаясь сообразить, кем Тереза и его дочь на самом деле друг другу приходятся.

— Все верно, — сказала девушке Кэролайн.

Закончив с бланками, регистраторша велела им ждать.

— За вами придет медсестра.

— Пусть поторопится, — по привычке без обиняков сказала Кэролайн. — Ей очень плохо.

— Я понимаю, миссис, — сказала девушка.

Ресницы у нее были неподъемные. Казалось, что она вот-вот заснет.

Франни откатила Терезу, а Кэролайн — отца как можно дальше от телевизора. На улице было еще светло.

— А теперь поезжайте домой, — сказала Тереза, когда они устроились в углу. — Вы меня довезли, медсестра сейчас придет. Не волнуйтесь, я не сбегу.

— Я отвезу папу домой, — сказала Кэролайн. — А потом вернусь за Франни.

— Слишком много разъездов получается, — сказал Фикс. — Давайте уж держаться вместе. Если мне станет совсем скверно, меня всегда могут положить. Люблю Торранс. Тут жило много копов.

— Расскажите, что было дальше, — попросила Терезу Франни.

Вместо нее отозвался Фикс:

— Я один раз работал на происшествии: парень остановился на светофоре с открытым окном, в машину залетела пчела и укусила его. И все. Нога дернулась, сдвинулась с тормоза, машина выехала на перекресток, в нее под прямым углом воткнулась другая. Он, наверное, к тому моменту уже умер. Никто не понимал, как так получилось, пока не сделали вскрытие. Я через пару дней вернулся на место, не то чтобы пчелу искал, но решил осмотреться. Там неподалеку рос краснотычиночник, прямо перед светофором, так он весь кишел ими. В смысле, пчел там было полкуста.

Тереза кивнула, словно история имела прямое отношение к делу.

— Кэл вернулся со двора бледный как смерть. Помню, личико у него было такое напуганное, и я, честно говоря, решила — что-то с Холли. Они вечно гонялись друг за другом с граблями и щетками, и я подумала, что с ней что-то стряслось. Я сказала: «Кэл, где Холли?» Повернулась, чтобы выйти во двор поискать ее, и тут он издал этот жуткий свистящий звук, словно через игольное ушко воздух втягивал. Потянулся ко мне, чтобы я не уходила, а потом повалился навзничь. Губы стали раздуваться и руки. Я подхватила его, а у него на рубашке пчела. Прямо на нем, как убийца, который приходит на место преступления.

— Да, и так в жизни бывает, — сказал Фикс.

Кэролайн взяла сестру за руку. Обычный жест, никто бы ничего не подумал. Они слушали жуткий рассказ, вот и разволновались. Франни переплела пальцы с пальцами Кэролайн.

— Не увидь я пчелу, он бы наверняка тогда и умер, в семь лет, но тут я как-то догадалась, что произошло. Вылетела из дома как молния. В две секунды сунула его в машину. До больницы от нас не так уж далеко, вы знаете, а в те дни дороги и вполовину не были так загружены. Я все время повторяла ему, чтобы успокоился, успокоился и дышал.

— А остальные дети? — спросила Кэролайн.

— Оставила, где были. Кажется, даже и дверь-то не закрыла. Берт так на меня разозлился, когда я ему все рассказала. Я тогда испугалась до смерти, но и гордилась собой тоже. Я ведь Кэлу жизнь спасла! А Берт сказал, что нельзя вот так бросать детей одних. Надо было посадить их в машину. Сам бы попробовал! Ну да я у него всегда была ужасная мать. Врач так и сказал — если бы я собирала всех детей и сажала их в машину, Кэл бы умер. Сказал, что для Кэла пчелиные укусы очень опасны и что в следующий раз будет еще хуже. Но нельзя всю жизнь держать мальчика в четырех стенах — такого, как Кэл, уж точно нельзя. Я вечно шпыняла его, чтобы брал с собой таблетки, и в доме у меня всегда был пузырек эпинефрина и шприц, но Берт в родительский дом эпинефрин не привез, да я и не думаю, что они сумели бы сделать укол. И никто там не проверял, есть ли у Кэла таблетки.

Тереза покачала головой:

— Но Берта я не виню. Раньше винила, теперь нет. Так всегда бывает: в самый нужный момент самого необходимого под рукой и не оказывается. Уж теперь-то я знаю. Так могло получиться и когда он был дома, со мной.

— Никого не защитишь, — сказал Фикс и, потянувшись со своей коляски, накрыл ее руку своей. — Это мы себе сказки рассказываем, будто можем кого-то уберечь.

— Берт клялся, что спилит апельсиновые деревья на заднем дворе. Они вечно кишат пчелами, когда цветут. Берт так бесновался из-за этих деревьев, словно они были во всем виноваты, а через пару дней про них забыл. Мы все забыли.

Она замолчала и огляделась по сторонам.

— Неотложка в те дни была в задней части больницы. Сейчас куда лучше. И тут все новое.

После томографии и осмотра к ним вышел врач.

— Мистер Казинс? — обратился он к Фиксу.

— Не-а, — сказал Фикс.

Это врача, похоже, нисколько не смутило. Он пришел сообщить результаты обследования, поэтому продолжил:

— Похоже, у миссис Казинс дивертикулярный абсцесс в сигмовидной кишке. Мы немножко притормозим это дело

антибиотиками, дадим ей что-нибудь, чтобы ей стало полегче. Будем следить за уровнем лейкоцитов и температурой в течение ночи. Подержим до утра на внутривенных, а затем повторно осмотрим, и станет ясно, как у нее дела. Она давно болеет?

Кэролайн посмотрела на Франни.

— Где-то дня три, — сказала та.

Врач кивнул. Сделал пометку у себя на листке, сообщил, что Терезу уже перевели в палату, и, извинившись, ушел. Страшно подумать, что он о них подумал — бессердечные родственники. Уж порядочные люди побыстрее бы довели до врача такую больную, такую старую женщину. Но был ли смысл объясняться?

— Это не рак, — сказала Тереза Китингам, когда они зашли попрощаться. — Но, похоже, мне все равно придется остаться на ночь.

Ей поставили капельницу и подключили к сердечному монитору.

— Везучая ты, — сказал Фикс. Он был за нее рад.

— Ох, — свободной рукой Тереза схватилась за голову. — Прости. Не надо было говорить про рак. Это у меня из-за морфина котелок не варит.

Фикс легонько отмахнулся, мол, забудь.

— Я заеду попозже вечером, навещу вас, — сказала Франни.

Тереза воспротивилась.

— Я говорила с Элби. Он приедет сразу с утра. До тех пор я буду спать. Честно говоря, я ужасно устала. И потом, вы приехали побыть с отцом, а не со мной. Вы и так потратили на меня полдня.

— Лучше бы мы его весь на вас потратили, — сказала Кэролайн. — Вторая половина определенно удалась больше первой.

— Мы можем подождать, пока ты заснешь, — по-рыцарски, но немножко неуверенно предложил Фикс.

Он слишком много времени провел в коляске. Ему нужно было домой, в кресло. Неплохо было ради разнообразия отвезти в больницу кого-то другого, поволноваться о состоянии Терезы, а не о своем. Но боль долго обманывать нельзя. Она уже вернулась — и бейсбольную битку с собой прихватила.

— Я сейчас закрою глаза. Пока вы доберетесь до двери, я уже засну.

Она улыбнулась сидевшему в коляске Фиксу, а потом, как и обещала, закрыла глаза. Надо было ей выйти замуж за Фикса

Китинга — вот о чем она думала, когда сон заключил ее в мягкие объятия. Фикс Китинг был хорошим человеком. Но он болен, а теперь и она тоже. Как бы она о нем заботилась?

Кэролайн и Франни выкатили Фикса к лифту. Теперь они были в другой части больницы — зашли через неотложку, а потом путь привел их на другой край больничной страны, к палатам. Выйдя из здания, они оказались там, где прежде не бывали, и Кэролайн не сразу нашла машину. К тому времени, как они загрузили коляску в багажник и нашли выезд с парковки, Фикс уснул на переднем сиденье, и Франни пришлось ввести адрес дома в Санта-Монике в навигатор.

Ни Кэролайн, ни Франни долго не произносили ни слова. Обе будто ждали, хотели убедиться, что отец их не услышит, но зачем? Разве они что-то натворили? Голова Фикса откинулась на подголовник. Рот был открыт. Если бы не тихий-тихий храп, могло показаться, что он умер.

— Помнишь, когда она рассказала, как Кэл побелел, а потом был этот звук... — сказала Кэролайн.

Франни кивнула. Старший сын Кумара, Рави, страдал астмой. Однажды летом на озере в Висконсине она судорожно рылась в его рюкзаке, ища ингалятор. Он издавал те же самые звуки, что и Кэл перед смертью, тот же мучительно тонкий свист, обозначающий границу, за которой дыхание кончается, или даже самое антидыхание.

— Так трудно вспомнить, о чем я тогда думала, — сказала Кэролайн. — Кэл уже умер, а мне все казалось, что я могу как-то все исправить. Позаботиться, чтобы никто не узнал, что мы давали Элби бенадрил. Положить револьвер обратно в машину. Зачем Кэлу понадобился этот чертов револьвер? — спросила Кэролайн, обернувшись к Франни. — И как вообще можно было оставить револьвер в машине и даже не знать, что твой сын-подросток его забрал и таскает примотанным к ноге? И какое мне до этого было дело? Кэл умер, и револьвер тут был ни при чем. Словно на дом рухнуло огромное дерево, а я подбирала листья, чтобы никто не заметил, что произошло.

— Мы были дети. Мы понятия не имели, что делаем.

— Я сделала только хуже, — сказала Кэролайн.

Франни покачала головой:

— Ты не могла сделать хуже. Хуже было уже некуда.

Она уперлась лбом в переднее сиденье.

— Может быть, нужно было ей рассказать.

— О чем рассказать?

— Не знаю, о том, что Кэл был не один, что мы все были рядом с ним, когда он умирал.

— Холли и Джанетт тоже там были, и они ей ничего не сказали. Или, кто знает, может, и сказали. Откуда нам знать, что Терезе известно о том лете в Виргинии.

— Узнаем, если она пойдет на выходных в кино.

— Твоя вина по сравнению с моей — ничто, — сказала Франни. — Даже рядом не лежала.

Отцу Кэролайн и Франни так и не удалось отпраздновать свой восемьдесят третий день рождения. Дорога, по которой можно было сносно передвигаться, когда они ехали к Терезе, теперь на выезде из Торранса встала намертво, и домой они добрались, когда уже давно стемнело. Расплачиваясь за их доброту, Фикс слишком долго просидел в кресле и слишком много — в машине. Боль отдавалась в руках и ногах, ныла в лицевых костях, хотя все это было ничто по сравнению с болью, раздиравшей его раскаленное добела нутро.

— Просто дайте мне уснуть, — попросил он Марджори, когда его ввели в дом.

Ей пришлось наклониться, чтобы расслышать, — так тихо звучал его голос.

— Невыносимо, — пробормотал он.

Он дергал воротник рубашки, пытаясь ее снять. Марджори помогла ему расстегнуть пуговицы.

За время болезни Фикс растерял запас сил. И лишился умения переживать непривычное. Он слишком долго не был дома и теперь превратился в какой-то мешок костей.

— Вы были с Терезой Казинс? — спросила Марджори у Франни тем же тоном, каким могла бы спросить: «Вы возили его в Южный Централ курить крэк?»

— Как раз когда мы вышли из кино, позвонил ее сын. Ее нужно было срочно доставить в больницу, — сказала Франни.

Всего-то и надо было — сперва завезти его домой. Они были уже практически возле дома, когда позвонил Элби, но ей не пришло в

голову, что решение должна принимать она, а не Фикс.

— Мы не знали, что это займет столько времени. Кэролайн положила лортаб в ложечку яблочного мусса и дала отцу. Так таблетки было легче глотать.

— У нее что, своей семьи нет?

Марджори всегда, с самого начала, с тех самых пор, когда Фикс приводил Франни и Кэролайн в дом ее матери поплавать, была очень терпелива с девочками. Но тащить умирающего отца помогать неизвестно кому — лучше бы они сразу его прикончили.

— Есть, — сказала Франни. — Но никто из них не живет в городе. Папа сказал, что хочет ее повидать.

— Они не были знакомы. Зачем ему с ней видеться? — Марджори провела ладонями по мятым плечам его футболки. — Я тебя уложу, — сказала она.

Франни взглянула на сестру: они вдвоем остались в кабинете, когда Марджори укатила Фикса прочь.

— Если еще где-то надо налаживать сегодня, ты мне скажи.

— Ты не виновата, — сказала Кэролайн и потеряла лицо. Ни та ни другая так и не поели, но, впрочем, им и не хотелось. — Ты не знала, что все так выйдет. И потом, мы должны были поехать все втроем. Это был наш долг перед ней. Марджори, конечно, не поймет наших резонов, но, даже если мы поступили неправильно, все равно это был долг.

Франни устало улыбнулась сестре.

— Ох ты господи, — сказала она. — Каково же тем, у кого ни братьев, ни сестер?

— Нам этого узнать не придется, — ответила Кэролайн.

Кэролайн поднялась в спальню, где они обе ночевали, чтобы позвонить Уортону, пожелать ему спокойной ночи. Франни вышла на задний двор позвонить Кумару.

— Ты нашел чековую книжку? — спросила она.

— Нашел, но ты могла бы мне написать эсэмэс шесть часов назад, когда я спрашивал.

— Нет, никак не могла. — Она зевнула. — Знал бы ты, что у меня за день выдался, от жалости бы разрыдался. Мальчики нормально добрались домой с тренировки?

— Да кто ж их знает, — сказал Кумар.

— Не придуривайся. Я сейчас не в том настроении.

— Рави в душе. Амит притворяется, что делает за компьютером уроки, но стоит мне отвернуться, переключается на какую-то жуткую видеоигру.

— Сейчас ты на него смотришь? — поинтересовалась Франни.

— Смотрю, — ответил муж.

Марджори постучала по стеклу в кухне и махнула, чтобы Франни зашла в дом.

— Мне пора, — сказала Франни.

— Ты возвращаться-то собираешься?

— Ну уж насчет этого не волнуйся, — сказала она и отключилась.

— Отец хочет, чтобы ты зашла пожелать ему спокойной ночи, — сказала Марджори; вид у нее был усталый. — Он все никак не уснет.

— Кэролайн там?

Марджори покачала головой:

— Он сказал, что хочет поговорить с тобой.

Франни пообещала, что не будет засиживаться.

Марджори сдвинула две кровати и накрыла их огромным одеялом и покрывалом, чтобы казалось, будто это все еще единое семейное ложе, пусть со стороны Фикса и стояла теперь больничная койка. Фикс спал полусидя — в таком положении боль в груди немножко отпускала и было легче глотать слюну. Так Франни его и застала — в голубой пижаме, глядящим в потолок.

— Закрой дверь, — сказал Фикс и похлопал рядом с собой по постели. — Это только между нами.

Она подошла и села рядом с отцом.

— Прости, что потащила тебя в Торранс, — сказала Франни. — Я все беспокоилась об Элби и Терезе, а надо было — о тебе.

— Не слушай Марджори, — ответил Фикс.

— Марджори о тебе заботится. Потому-то мы прежде всего и должны были поехать к Терезе, ведь у нее такой Марджори нет, и присматривать за ней некому.

— Забудь обо всем этом на пять минут. Нам нужно серьезно поговорить. Ты можешь меня послушать?

В постели Фикс казался особенно высохшим и маленьким — не отец Франни, а пустая оболочка.

— Подними кровать чуть повыше, — сказал он и, когда Франни подняла, добавил: — Хорошо. Так. Теперь открой ящик в тумбочке.

Ящик был большой, глубокий и длинный, битком набитый сборниками кроссвордов и конвертами, еще там лежали дешевый справочник по лучшим пешеходным маршрутам Калифорнии, сборник стихов Киплинга, пара эспандеров для укрепления рук, мелочь, бальзам для растираний «Викс», четки. Четки Франни увидеть совсем не ожидала.

— Что я ищу?

— Он в глубине.

Франни выдвинула ящик посильнее и разгребла бумаги. Под ними нашелся револьвер. Спрашивать было не о чем. Франни вынула его и положила себе на колени.

— Так, — сказала она.

Фикс потянулся и коснулся ее кисти, потом положил руку на револьвер и улыбнулся.

— Марджори заставила меня пообещать, что я сдам все, когда выйду на пенсию. Сказала, как переедем на пляж, чтобы никакого оружия, так что я не ставил ее в известность.

— Ладно.

Франни накрыла руку отца ладонью. Ощутила его хрупкие кости под пергаментной кожей. Наверное, подумала она, такое на ощупь крыло у летучей мыши.

— Тридцать восьмой, «смит-и-вессон». Долго служил мне, очень долго.

— Я помню, — сказала она.

— Я никогда не выходил из дома без него.

— Ты хочешь, чтобы я взяла его себе?

Франни сомневалась, что это у нее получится. Не могла же она положить оружие в багаж. Не могла взять его в самолет и привезти домой в Чикаго, к Кумару и мальчикам. И не нужно ей никакого револьвера, но она, конечно же, что-нибудь придумает.

— Мне его уже не поднять, — сказал Фикс. — Слишком тяжелый. Не могу вынуть его из ящика. Это дело, конечно, можно по-всякому повернуть, но я так не хочу.

Когда они с Кэролайн были маленькими, летом их брали на стрельбище полицейской академии, и они палили по бумажным

мишеням. Лишь в одном Франни удалось превзойти Кэролайн — в умении стрелять. Друзья Фикса подходили повосхищаться ее мишенями, когда те подтягивали к рубежу. «Наш человек растет!» — говорили копы, и Франни — зоркий глаз, верная рука — сияла.

— Папа, не надо тебе об этом думать, — сказала Франни.

— Ты сможешь меня пристрелить, а? — спросил ее отец.

— На тебя лортаб действует, папа. Спи.

Она сняла отцовскую руку с револьвера, наклонилась и поцеловала отца в лоб.

— Действует, но ты уж меня выслушай. У нас больше не будет времени поговорить с глазу на глаз. Что я не могу поднять ствол, знаешь одна ты. Никто на тебя не подумает. Многие копы стреляются, если уж конец такой. Ничего дурного в этом нет.

Револьвер тяжело давил ей на колени.

— Я не стану в тебя стрелять, папа.

Тогда он взглянул на нее: рот открыт, очки он снял, и стало заметно, что глаза затуманены катарактой. Так ли Кэл смотрел на Терезу в то лето, когда ему было семь и по его рубашке ползла пчела? Так ли Кэл смотрел на нее, умирая? Она не помнила.

— Мне нужна твоя помощь. Твоя помощь, Франни. Таблетки Марджори прячет. Я не знаю, где они, а если бы и знал, не могу встать и взять их. Да и не знаю, какие пить. Она заливает все через этот шланг, будто я машина какая. Если я застрелюсь, никто против не будет.

— Поверь мне, будет. Я буду против.

— Марджори и Кэролайн завтра поедут в магазин, а ты останешься со мной. Надень две пары таких перчаток, одноразовых, одну поверх другой. Вложишь ствол мне в руки, сама возьмешься сверху.

Франни взяла его руки в свои. Нет, сейчас в нем говорил не лортаб. И не боль.

— Папа...

— Рукояткой наружу, не к горлу, а от горла. Понимаешь? Я буду тебе помогать. Отработаем все шаг за шагом. Приставить надо прямо под подбородок, потом немножко отклонить назад, градусов, может, на двадцать. Как только все установишь, отстранись. Чтобы тебя не задело.

Почему он не попросил Кэролайн? — крутилось в голове у Франни. Кэролайн была его любимицей. Ей он доверял. Но Кэролайн не стала бы его слушать.

— Я не могу, — сказала она.

— Когда выстрелит, отпусти его. Оставь там, куда упадет. Снимешь перчатки, сунешь в карман. Пойдешь посмотришь в зеркало, не осталось ли чего на лице, потом позвонишь девять-один-один. Вот и все, что тебе нужно сделать. Никто в жизни не подумает, что это ты. Это и не будешь ты, это буду я. Просто ты мне подсобишь. Я тебя не подставлю.

Он уже задремывал — веки опускались, поднимались, опускались опять.

— Ты уже меня подставляешь, — сказала Франни.

Ей вечно казалось, что она подводит отца — тем, что живет с матерью, тем, что живет с Бертом, тем, что живет на другом конце страны. Удивительно, это чувство и сейчас никуда не делось — пусть на мгновение, но Франни показалось, что, если она не застрелит отца, она снова его подведет.

— Люди не того боятся, — сказал Фикс, закрыв глаза. — Копы не того боятся. Мы живем, думая, что беда ждет по ту сторону двери, что она снаружи, в шкафу, но все не так. То, что случилось с Ломером, исключение. Большинство живущих на земле людей носит свою смерть внутри себя. Ты ведь понимаешь, правда, Франни?

— Понимаю, — сказала она.

Он дотянулся до руки Франни и снова похлопал эту руку и револьвер под ней.

— Я очень на тебя рассчитываю, — пробормотал он.

Рот у него открылся, словно для какой-то последней фразы, но было поздно, он уже спал.

Сидя на краю отцовской кровати, Франни разрядила револьвер. Разряжать, чистить, заряжать — всему этому ее обучили в детстве. В барабане было шесть пуль, он сунула их в карман джинсов, а револьвер за пояс сзади, под рубашку. Штаны сейчас плотно сидели у нее на талии, и в кои-то веки она была этому рада.

Когда она вернулась в кабинет, Кэролайн и Марджори смотрели «Человека, который пришел к обеду». Кэролайн отключила звук, пока

Монти Вулли, сидя в инвалидном кресле, тиранил второстепенных персонажей.

— Как отец? — спросила Марджори.

— Уснул.

Поясницей Франни чувствовала холод металла. Как это дико — пройти по комнате вооруженной и ни словом об этом не обмолвиться, но она решила, что Марджори лучше не знать ни об оружии, ни о просьбе Фикса. Утром она расскажет Кэролайн, но на сегодня с разговорами покончено, хватит с нее разговоров. Франни сказала, что пойдет ляжет и почитает в постели.

В ту ночь, спрятав револьвер в чемодан, а пули в носок, Франни увидела во сне Холли. Прошло столько лет с тех пор, как они виделись в последний раз, но вот она, и ей по-прежнему четырнадцать, темные прямые волосы разделены на два хвостика, короткий желтый топ завязан узлом на голом белом животе. По-прежнему девочка, веснушки не выцвели, на зубах скобки. Они снова были в Виргинии, в доме родителей Берта, они шли по длинному полю, лежавшему между домом и амбаром. Холли все говорила, говорила, как всегда, рассказывала об истории содружества, об индейцах мэттапони, населявших когда-то берега реки. Мэттапони, сказала она, сражались с англичанами во второй и третьей англо-поухатанских войнах.

— Вот здесь все было, — сказала она, вытянув вперед руки. — Их и так было немного, а из-за этих двух войн и болезней, которые принесли с собой англичане, почти все мэттапони вымерли. Помнишь, как Кэл искал наконечники стрел? У дедушки их целая тарелка на письменном столе, но нам он ни одного не дал. Говорит, бережет. Для чего он их бережет, как ты думаешь? Для восстания?

Франни взглянула на зеленый, поросший травой склон. За амбаром был мелкий пруд, в жару там прохлаждались лошади, и сами они иногда забирались в воду, несмотря на густой, топкий ил на дне. Она посмотрела на далекую линию деревьев, окаймлявших поле слева, и на сено на дальнем правом краю, который Казинсы отдавали в аренду. Она пыталась осознать, как прекрасно все это было: трава, солнце, деревья, вся долина. Здесь умер Кэл, отсюда Холли, Кэролайн и Джанетт побежали через поле, когда поняли, что случилось, обратно в дом, за Эрнестиной, а Франни Кэролайн велела остаться, вдруг Кэлу понадобится помощь. Почему Кэролайн велела ей остаться?

— Ты тогда взяла револьвер, помнишь? — сказала Холли. — Потом, вечером, ты его принесла Кэролайн.

Глаза Кэла были закрыты, но рот открыт, словно он все еще пытался втянуть воздух. Губы раздулись, язык вывалился изо рта. Франни стояла над ним, смотрела в сторону дома, а потом взглянула вниз. Вспомнила про револьвер и задрала штанины Кэла. Вот он, засунут в носок, привязан к лодыжке красной банданой. Франни твердо решила: Эрнестина, или Казинсы, или кто там придет ее спасать, не должны найти револьвер. Детям влетит за него.

— Не знаю, зачем я его взяла, — сказала она.

Она и правда не знала.

Холли покачала головой:

— Ты не могла его там оставить. Мы все помешались на этом револьвере. Больше ни о чем не думали.

Франни развязала бандану и осторожно, развернув дулом от себя и от Кэла, разрядила револьвер, как учил ее отец. Положила пули в передний карман шортов, поднесла открытый револьвер к свету, провернула барабан и заглянула в ствол на просвет, чтобы убедиться, что он пуст. Завернула в красную ткань, но поняла, что положить его совсем некуда. Попыталась сунуть за пояс, но его, разумеется, было видно. Наконец, решила спрятать неподалеку, под деревом. Когда все уйдут, она вернется и отнесет револьвер в дом. Возьмет с собой Джанетт, они положат револьвер к ней в сумочку. Никто ничего не заподозрит, потому что Джанетт всегда ходит с сумочкой. Франни вспомнила, как обрадовалась, что можно тревожиться о чем-то еще, о чем-то, кроме Кэла.

Франни посмотрела на амбар.

— Я всегда считала, что поступила неправильно.

— А как было бы правильно? — Холли обняла Франни за талию. — Мы понятия не имели, что происходит. Мы даже не знали, что его укусила пчела.

— Не знали?

— Только потом узнали. В ту ночь, когда папа вернулся из больницы, а до этого ничего не понимали.

— Мне здесь нравилось, — сказала Франни, хотя раньше и не подозревала об этом.

Холли, казалось, удивилась:

— Правда? А я ненавидела сюда ездить.

Франни разглядывала ее. Холли была такая хорошенькая. Почему Франни прежде этого не замечала? И ведь все-таки они с ней сестры.

— Тогда почему ты вернулась?

— Чтобы удостовериться, что с тобой все будет хорошо, — сказала Холли. — Мы всегда держались вместе. Не помнишь? Бешеное маленькое племя.

— Ты слышишь? — спросила Франни, взглянув наверх. — Слышишь птиц?

Холли покачала головой:

— Это твой телефон. О нем я и пришла тебе сказать. Не волнуйся.

— Из-за птиц? — спросила Франни, но тут Холли исчезла, и в комнате снова стало темно.

Она по-прежнему слышала птиц.

— Возьми трубку, — сказала Кэролайн с другой кровати.

В комнате был мрак, светился только телефон Франни. Она подняла его, хотя ничего хорошего ночные звонки никогда не приносили.

— Алло?

— Миссис Мета? — спросила какая-то женщина.

— Да, это я.

— Это доктор Уилкинсон. Я звоню из Мемориального медицинского центра Торранса. Миссис Мета, примите мои соболезнования, ваша мачеха скончалась.

— Марджори умерла? — Франни рывком села в кровати, окончательно проснувшись.

Как же так? Когда она попала в больницу? Кэролайн выбралась из-под одеяла и включила лампу на столике между их кроватями. Умереть мог только один человек, и это был их отец.

— Что такое? — сказала Кэролайн.

— Кардиомонитор миссис Казинс, — продолжала врач, — подал сестре сигнал сегодня, сразу после четырех утра. Мы провели реанимационные мероприятия, но все было бесполезно.

— Миссис Казинс?

— Тереза умерла? — спросила Кэролайн.

— Мои соболезнования, — повторила врач. — Она была тяжелобольна.

— Подождите минутку, — прервала Франни. — Кажется, я не понимаю, что вы говорите. Не могли бы вы сказать все это моей сестре?

Франни передала трубку Кэролайн. Кэролайн задаст все вопросы, какие нужно. Электронные часы на тумбочке показывали четыре сорок семь утра. Франни задумалась, проснулся ли уже Элби, заводил ли он будильник. Он летел в Лос-Анджелес ранним самолетом — повидать мать.

За полгода до выхода на пенсию Тереза купила билет в Швейцарию — навестить Холли в ее дзен-центре. Купила, чтобы было чего ждать. Ей не очень-то хотелось уходить с так давно и горячо любимой работы, но она боялась, что станет обузой, и ею начнут тяготиться. За прошедшие годы она видела, как люди приходили и уходили, делали блестящие карьеры и губили их, иных увольняли, и перед уходом они укладывали в коробки содержимое своего стола. Рано или поздно ей придется сделать то же самое, и разве не лучше будет, если это произойдет до того, как ее начнут подталкивать к выходу? Ей семьдесят два года, у нее еще осталось время начать новую жизнь, хотя она толком не понимала, что это значит. Неплохо бы научиться играть в бридж или как-нибудь обустроить участок у дома. А может, и в Швейцарию съездить.

Через две недели после вечеринки в честь выхода на пенсию Тереза в красивых золотых часах на запястье и с билетом в сумочке вызвала такси до аэропорта.

Холли давно не приезжала домой. Когда двадцать пять лет назад она в первый раз уехала в Швейцарию, предполагалось, что ее не будет месяц. Вернулась она через полгода, и только для того, чтобы подать документы на постоянную визу. Она официально уволилась из банка «Сумитомо», где все это время для нее держали место. Холли закончила экономический факультет в Беркли, и на работе ее ценили, несмотря на ее молодость. Она расторгла контракт на аренду квартиры. Продала мебель.

— Ты что, влюбилась? — спросила мать.

По правде сказать, Тереза не думала, что Холли влюбилась, хотя все классические признаки были налицо: рассеянность, влажный взгляд, потеря аппетита. Свои темные волосы Холли остригла совсем коротко. Лицо у нее было чисто вымытое, без капли косметики, и впервые за годы Тереза увидела, что у нее остались еще кое-какие веснушки. Хоть Холли и сидела с ней за кухонным столом и пила кофе, Тереза испугалась, что ее старшую дочь похитили, что ее мозгом завладела какая-то секта, позволившая телу приехать ненадолго домой, чтобы разобраться с имуществом и сбить всех со следа. Но очень

трудно было подобрать слова, чтобы спросить у Холли, не попала ли она в секту.

— Не влюбилась, — сказала Холли, сжав материнскую руку. — Не совсем.

Поначалу Холли время от времени навещалась домой, сперва раз в год, потом раз в два-три года. Тереза подозревала, что билеты ей покупает Берт, но вопросов не задавала. Через какое-то время вялый ручеек случайных визитов высох. Холли сказала, что больше не хочет возвращаться домой в Штаты, и это прозвучало так, словно она оставляет страну, но не семью. Она сказала, что в Швейцарии она счастливее.

Тереза пламенно желала детям счастья, но не понимала, почему они не могут его найти поближе к Торрансу. Когда одного из них не стало, трое оставшихся могли бы сомкнуть ряды, но вышло как раз наоборот — смерть Кэла оторвала их друг от друга и расшвыряла по разным углам. Тереза скучала по всем своим детям, но сильнее всего — по Холли. Из всех детей Холли была наименее загадочной, единственной, кто иногда забирался ночью к ней в постель — поболтать.

«Ты в любое время можешь меня навестить», — отвечала Холли на материнские жалобы — сначала медленными аэрограммами, потом — электронными сообщениями, когда дзен-центр «Дзен-Додзё Тодзан», слава тебе господи, обзавелся наконец компьютером. Тереза все никак не могла запомнить, как именуется это место, но теперь название очень кстати маячило перед ней в обратном адресе каждого письма.

«Что мне делать в Швейцарии?» — писала она.

«Сидеть со мной», — отвечала Холли.

Невелика услуга. Сидела же она с Джанетт, Фоде и мальчиками в Бруклине. Сидела и с Элби — в самых разных местах, включая свою собственную гостиную. За годы Тереза преодолела предубеждение против буддизма и медитации. Холли, когда они виделись, была все той же Холли. Пока Тереза работала, у нее находилось множество причин, мешавших ей поехать, но теперь, когда работы не стало, Тереза могла сказать себе только, что она слишком стара, дорога слишком дальняя, билеты слишком дороги и очень уж пугают

пересадки. Ни одна из этих причин не была достаточно серьезной, чтобы не повидаться с родной дочерью.

Перелет из Лос-Анджелеса в Париж длился двенадцать часов. Тереза брала бесплатное вино всякий раз, когда мимо нее по узкому проходу провозили тележку, спала урывками, привалившись к окну, и пыталась читать «Английского пациента». К моменту, когда самолет приземлился в аэропорту Шарля де Голля, она постарела на двадцать лет. Обвинителям надо бы добиваться, чтобы суды над убийцами и наркобаронами проводили в эконом классе на забитых битком трансатлантических рейсах, где любой подозреваемый признается в любом преступлении в обмен на обещание мягкой постели в темной тихой комнате. Сойдя с самолета, отекая и заторможенная, Тереза вступила в реку жизни и послушно потекла по ней вслед за маленькими чемоданами на колесиках, которые бежали, будто послушные собачки за своими погруженными в телефонные беседы хозяевами; все двигались так уверенно, что Тереза просто не могла не пойти следом. Она слишком устала, чтобы думать самостоятельно, а когда сумела прийти в себя и вернуться к реальности, увидела прямо перед собой справочный киоск и там узнала, что ее выход находится в другом терминале, что туда можно добраться на автобусе-развозке и что рейс до Люцерна задерживается на три часа.

Тереза взяла карту аэропорта с отмеченным маршрутом у невероятно красивого справочного француза и двинулась обратно в том направлении, откуда пришла. В полете ноги у нее распухли и были теперь на целый размер больше туфель. Она не то чтобы ждала, что кто-нибудь появится и проводит ее к выходу, но не могла не вспомнить, как все было, когда пятьдесят лет назад она была в этом аэропорту — совсем другим человеком в совершенно других обстоятельствах.

В медовый месяц Берт повез Терезу в Париж. Готовил он это путешествие в глубочайшей тайне. Заказал номер в гостинице, поменял доллары на франки, позвонил Терезиной матери и попросил собрать дочке чемодан. Его родители отвезли молодоженов в аэропорт Далласа на следующее утро после свадьбы к самому самолету, а она даже не знала, куда они летят. Тереза окончила факультет французской литературы в Университете Виргинии и еще ни разу не была за

границей. И ни разу не говорила по-французски за пределами аудитории.

По пути она остановилась возле маленького кафе, рухнула в белое пластиковое кресло и заказала кофе с молоком и круассан, это оказалось несложно. У нее не было ничего, кроме времени, зато времени было в избытке. Тереза высвободила пятки из обуви, хотя понимала, что не следовало бы этого делать. Ступни расползутся, как квашня, и ей ни за что не удастся затолкать их обратно. Впервые с тех пор, как ей было чуть за двадцать, она подумала, каким красавцем был Берт Казинс: высокий песочный блондин, с такими синими глазами, что она заново поражалась каждое утро, когда он открывал их, просыпаясь. Семья его богата, как Крезы, говаривала ее бабушка. По случаю окончания колледжа родители Берта подарили ему маленький зеленый «фиат».

Когда они познакомились, он учился на втором курсе юридического факультета в Университете Виргинии, был лучшим студентом в группе, а она заканчивала колледж. Как-то, торопясь на занятия снежным январским утром, она поскользнулась на обледеневшем пяточке и растянулась во весь рост; книги и тетради разлетелись веером, ледяной воздух сковал легкие. Она лежала на спине, на секунду ее так оглушило, что она могла только смотреть, как мимо проплывают снежинки, и тут перед ее глазами возник Берт Казинс и сказал: «Позвольте помочь вам». Она позволила. Он поднял ее, совсем незнакомый человек взял ее на руки и понес в медпункт, пропустил занятия, дожидаясь, пока ей перебинтуют лодыжку. Через год он сделал ей предложение и сказал, что ему бы хотелось, чтобы они переехали в Калифорнию, когда он закончит университет. В Калифорнии он сдаст экзамен в коллегия адвокатов, и там, на новом месте, где их никто не знает, они начнут совершенно новую жизнь. Он не хотел всю жизнь составлять контракты на сделки с недвижимостью, хотел всерьез посвятить себя юриспруденции. И еще он хотел детей — так он сказал тогда, — много детей. Берт был единственным ребенком и ужасно жалел, что у него нет ни братьев, ни сестер. Тереза переводила взгляд с Берта на красивое кольцо у себя на пальце и думала, что она, должно быть, вся светится от любви к нему. Теперь, в семьдесят два года, намазывая клубничный джем на круассан, вспоминать об этом — о том, как она любила Берта Казинса, — было

тяжко. Просто в голове не укладывалось. Она любила Берта Казинса, потом привыкла к нему, потом разочаровалась в нем, а еще позже, когда он бросил ее с четырьмя маленькими детьми, возненавидела его всем своим существом. Но когда ей было двадцать два года, сидя в аэропорту Шарля де Голля, она так его любила, что даже мысли не допускала о том, что когда-нибудь перестанет любить. Взявшись за руки, они шли на выдачу багажа, и, стоя возле блестящего серебристого транспортера, он целовал ее, долго и страстно, не заботясь о том, что на них смотрят, потому что они поженились и они были в Париже.

Тереза смотрела на людей, шедших мимо ее столика в аэропортовской кофейне, и думала, сколько среди них молодоженов, приехавших провести тут медовый месяц, и много ли влюбленных, и кто из них вскоре разлюбит друг друга. По правде говоря, она почти забыла Берта. На это ушло много времени, но теперь она могла годами не спрашивать детей, как их отец, потому что просто не думала о нем. Она прожила на свете достаточно, чтобы и Берт, и вся любовь и ярость, порожденные им, ушли в прошлое. Кэл так и остался с ней, Джим Чен остался, но Берт, живой и здоровый у себя в Виргинии, исчез.

Немного отдохнув и взбодрив себя кофе, Тереза, поморщившись от боли, втиснулась обратно в туфли и медленно побрела к своему выходу. Может, остаться в Швейцарии навсегда и стать буддисткой? Она даже думать сейчас не могла о том, чтобы повторить весь путь.

Холли не удосужилась заглянуть в комнатушку, бывшую когда-то чуланом для швабр, и проверить по компьютеру, как там мамин рейс из Парижа. Только сейчас, стоя перед табло прилета в аэропорту Люцерна, она увидела, что самолет опаздывает на три часа. Конечно, ей нечасто приходилось ездить в аэропорт, но дорога туда занимает час — и какой нужно быть идиоткой, чтобы не проверить перед выездом, вовремя ли прилетает самолет? Поскольку правила предписывали, что тот, кто берет машину, должен взять и телефон, она смогла отправить Михаилу сообщение и объяснить, что произошло. Она знала, что он не будет сердиться. Он сказал, что машина им не нужна, но ей все равно было неловко, она чувствовала, что причиняет общине неудобства, забрав машину так надолго. Если предположить,

что самолет приземлится в указанное на табло время, вернуться они не раньше двух. Она говорила матери ехать из Парижа поездом. Никто не летает из Парижа в Люцерн. Поездом она была бы уже тут. Но мать побоялась электричкой добираться из аэропорта на Лионский вокзал, а потом искать поезд до Люцерна. Возможно, ей и впрямь это было бы не по силам, учитывая багаж и усталость. Холли сама могла бы сесть на поезд и встретить мать в Париже, но предлагать этого не стала. Ей не хотелось уезжать так надолго.

Холли рано закончила утреннюю работу на кухне: вымыла и почистила десять фунтов картошки, крупно ее нарезала и залила холодной соленой водой, каждую секунду изо всех сил стараясь сосредоточиться на своем задании. Она зашла в гостевую комнату, приготовленную для матери, — удостовериться, что рядом с раковиной есть полотенца и мочалка, а у кровати стоит бутылка воды и стакан. Чтобы приехать в аэропорт, она рано ушла с утренней медитации, осторожно пробиралась между сидящими, стараясь их не потревожить, а теперь думала о том, что могла бы и не уходить. Могла бы досидеть до конца. Холли разозлилась на себя так нелепо, так несоразмерно причине, что пришлось остановиться и задуматься: не в том ли дело, что она просто не хочет, чтобы мать приезжала? Понимая, как важно позволить мысли возникнуть, увидеть ее и отпустить без осуждения, Холли решила, что эту мысль она, пожалуй, просто подавит.

В газетном киоске она купила шоколадку «Тоблерон» и окинула зал ожидания взглядом в поисках брошенных газет. В ее нынешней жизни ей не хватало только двух вещей: шоколада и новостей. И секса. Секса не хватало тоже, но Холли хватало ума не искать его в аэропорту. Она заметила «Матэн», «Блик» (правда, по-немецки Холли читала не очень хорошо) и — вот и не верь после этого в чудеса — полный «Нью-Йорк таймс» за вторник. Она внезапно успокоилась. Провести три часа в аэропорту с тремя газетами и «Тоблероном» — это тоже просто сказка. Холли развернула фольгу, отломала кусок шоколадки, сунула в рот, чтобы растаял на языке, а потом стала читать раздел науки в «Таймс»: тасманийские дьяволы вымирали от рака ротовой полости; были основания полагать, что бегать лучше без беговых кроссовок; бедные дети из гетто имели одинаковые шансы с детьми из зон военных действий заболеть астмой.

Холли попыталась осмыслить эту информацию. Как ей спасти дьяволов, что сделать, чтобы они перестали друг друга кусать, раз именно таким образом, судя по всему, распространяется рак, и почему она беспокоится о мелких злобных тасманийских сумчатых и почти не переживает по поводу детей-астматиков? Почему она прочла статью о беге целиком, хотя никогда не бегала, а статью о геотермальной энергии пропустила? Не становится ли она поверхностной? Она свернула газету и положила ее на колени, немного посидела, размышляя о жизни. Подумала, что ей надо чаще выходить из «Дзен-Додзё Тодзана», а может быть, и вовсе из него уйти, а может, наоборот, ни в коем случае не покидать его, уподобиться Ши-вон, которая, насколько Холли могла заметить, никогда не заходила дальше почтового ящика в конце подъездной аллеи.

Если вспомнить жизнь в Калифорнии, Холли в то время постоянно сравнивала: кому досталось меньше, чем ей, а кому больше, кто красивее, кто умнее, кто удачливее в личной жизни (как правило, все были удачливее ее), кто быстрее пошел на повышение, потому что, сколько бы ее ни хвалили в банке, ей все казалось, что ее задвигают. Она без конца пыталась понять, как стать лучше, как поступить правильней, и от чрезмерных стараний стала скрежетать зубами по ночам. Изгрызла до ран левую щеку изнутри, до крови обкусала ногти и кутикулы на больших пальцах обеих рук. Наконец, записалась к терапевту, рассказала ему о своих проблемах и показала раны во рту.

Подсвечивая себе тоненьким фонариком, врач осмотрел ее рот и зубы, потом взглянул на руки и сказал, что ей потребуется медитация. По крайней мере, так ей показалось.

Стоило Холли услышать «медитация», как сердце у нее затрепетало в груди, словно всю жизнь ждало именно этого мгновения. «Свершилось! — воскликнуло сердце. — Наконец-то!»

— Медитация? — переспросила Холли. — А этому можно где-то научиться?

Она попробовала слово «медитация» на вкус, и это доставило ей неизъяснимое удовольствие.

Доктор коротко и хмуро глянул на нее, словно подозревая, что у пациентки не все дома.

— Ме-ди-ка-ция, — повторил он громко и отдельно. — Успокоительные таблетки. Я выпишу вам ативан. С дозой определимся

в процессе, посмотрим, как у вас пойдет.

Но, отдав в регистратуре двадцать долларов за визит, Холли бросила листок с рецептом в мусорную корзину. Пусть и сам того не желая, хмурый врач подсказал ей путь к исцелению. Холли тогда толком и не знала, что такое медитация, но знала, что выяснит. Прочла несколько книг, послушала в машине кассеты с записями бесед о дхарме, а потом нашла группу, которая собиралась вечерами по средам и утром в субботу. Она потихоньку начала упражняться в медитации дома, вставала рано, чтобы успеть до отъезда в банк. Через полгода участники группы, собиравшейся по средам, пригласили ее на выходные в духовное убежище. Потом она неделю медитировала в молчании в духовном центре на северной окраине Беркли. Там она и увидела рекламку «Дзен-Додзё Тодзана» на пробковой доске объявлений. Сердце Холли учащенно забилося, как в тот момент, когда она в первый раз не расслышала врача. «Вот оно», — подумала она, глядя на фотографию шале, стоявшего на пологом склоне среди горных цветов. Она вытащила кнопку из буклета, и тот упал ей в руку.

С Холли такое бывало. Временами у нее возникало ощущение, будто кто-то ее ведет, и тогда она думала, что это Кэл.

Много лет после смерти Кэла Холли жалела (среди всего прочего) о том, что они с братом не были ближе. Но с тех пор как она приехала в Швейцарию, Холли начала понимать, что для пятнадцатилетнего мальчика и тринадцатилетней девочки, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, они неплохо справлялись. Они орали друг на друга, но не таили зла. Пихались, но не били друг друга и не щипали. Кидались друг в друга диванными подушками, но не посудой. Холли, не важничая и не задаваясь, правила домашнюю работу Кэла, а Кэл однажды оттащил от нее в школьном коридоре двух девчонок, — одну за хвостик, а вторую за шиворот, — девчонки пытались затолкать Холли в шкафчик. «Ну-ка, отстали от моей сестры, сучки», — сказал он, и сучки попятнулись, а потом помчались по коридору, размазывая по щекам слезы. Он сделал им больно и до смерти их напугал. Холли, взявшая себе за правило всех опекать, на одно золотое мгновение сама оказалась под опекой. Под опекой брата.

Как старшие дети, Холли и Кэл вместе присматривали за Элби и Джанетт, когда те были маленькими, не подпускали их к плите и ножам. И за матерью они присматривали тоже, пусть и не вместе, но

прилагали все усилия, чтобы облегчить ее груз, если была такая возможность. Чем больше Холли сейчас ощущала присутствие Кэла в своей жизни, тем лучше понимала, что он любил ее и простил. Чем легче ей давалась покойная жизнь, чем внимательней она становилась к неброской красоте мира вокруг, тем явственнее слышала Кэла. Это не был голос в полном смысле слова, как у сумасшедших, с ним нельзя было поболтать о политике, а просто возникало у нее некое приятное чувство, чаще — в «Дзен-Додзё Тодзане», хотя можно было его ощутить даже здесь, в аэропорту Люцерна. Холли считала, что большая часть человечества не использует свой духовный потенциал. Люди живут в умственном раздразе — как тут сосредоточишься, когда на тебя с утра до вечера сыплются товары, услуги, информация и вечно надо куда-то бежать? Они не узнают своего настоящего счастья, даже наступи оно им на ногу. Холли почти не слышала брата ни в Беркли, ни в банке «Сумитомо», ни в Лос-Анджелесе, а вот в Швейцарии, где он никогда не был, — в Швейцарии пожалуйста, сколько угодно.

Холли вернулась к своим газетам. Прочла о бродвейских постановках. Прочла рецензию на книгу и колонку о наводнении в Айове. Почитала о положении женщин в Афганистане. Съела половину шоколадки и убрала остаток в сумочку, на потом. Увидев, который час, встала и подошла к стойке, где толпились родственники и водители с написанными от руки плакатиками. Когда она увидела идущую в ее сторону Терезу, — такую крошечную! так постаревшую! сколько же лет прошло? десять? больше? — в ней поднялась могучая волна любви, — ее собственной и любви ее брата. Она протянула руки.

— Ох, мама, — сказала Холли.

С чего начать рассказ о чудесах? Во-первых, конечно, Холли, коротко стриженная, черноволосая, с проблесками седины, обутая в кожаные шлепанцы на шерстяные носки, сияющая. Такая толпа по ту сторону контроля безопасности, столько людей, сливающихся в единую неразличимую массу, а потом — бац! — Холли. Она была совершенно другая, ее нельзя было не заметить. Когда Тереза упала в ее объятия, ей показалось, что они никогда не расставались. Внезапно вспомнилось, как в палату, в то утро, когда родилась Холли, зашла медсестра, и на руках у нее был идеальный младенец, младенец,

который сейчас стал этой прекрасной женщиной. Тереза поцеловала ее в шею, прижалась щекой к ее груди.

— Прости, что тебе пришлось так долго ждать, — сказала она, сама не твердо понимая, что имеет в виду: трехчасовое опоздание или все те долгие годы, что она никак не могла сюда доехать.

— Я хорошо провела время, — сказала Холли, проводя рукой по голове матери.

Она забрала у Терезы и дамскую сумочку, и дорожную сумку, так легко подхватила и повесила их на плечо, словно и Терезу в случае надобности могла бы понести. Отвела ее прямо к туалету, не спросив, нужно ли, — а было действительно нужно. Такой Холли была всегда: отвечала за все, принимала решения, помогала, не дожидаясь просьбы. Когда Тереза указала на свой багаж у транспортера, Холли подхватила его и рассмеялась.

— Ты путешествуешь, как истинная калифорнийка! — восхитилась она чемоданчиком матери. — Я тоже.

— А как путешествуют калифорнийцы? — Тереза улыбнулась, хотя не поняла шутки, улыбка вышла широкая-преширокая, во весь рот, давненько у нее так не получалось.

Холли подняла ее черный чемоданчик на колесиках — маленький и неприметный, лилипут в сравнении с ярко-розовыми жесткобокими, обвязанными специальными тросами для надежности великанами, что проплыли по транспортеру перед Терезиным багажом.

— Европейцы собираются, будто уезжают навсегда. Думаю, это из-за войны.

Воздух снаружи был ясным и холодным, хотя на календаре стояло только первое сентября. Когда Тереза улетала из Лос-Анджелеса, там было тридцать пять градусов. Холли помогла ей надеть пальто. Какая Тереза молодец, что захватила пальто. Дома, в гостиной, она надела его, потом сняла, заперла парадную дверь, пошла было к такси, но вернулась в дом и снова надела пальто. Со стоянки можно было различить далекие Альпы. Из самолета их заснеженные вершины тоже было видно. Альпы, ну надо же. Она запахнулась поплотнее. Кто бы мог подумать, что Тереза Казинс когда-нибудь увидит Альпы?

Ситроен «Дзен-Додзё Тодзана», на котором приехала Холли, напоминал скорее консервную банку, чем автомобиль. Хлипкий металл содрогался, когда Холли спускалась по серпантину, длинная ручка

переключения передач торчала из пола, будто палка. Дома, на Четыреста пятом шоссе, такую машину снесло бы выхлопом проезжающего мимо внедорожника, но похоже, что на этой опасной горной дороге все ездили на таких же консервных банках — и могли задевать друг друга без особого вреда, как люди, толкающиеся на оживленной улице. И никто не повышал ставки в надежде уберечься, не пересаживался в танк, чтобы уничтожить конкуренцию. Дорога на всех одна. Ограждение, отделявшее их от падения в пропасть, казалось, никого не способно было уберечь от гибели, но какая разница? Все равно все умрут, все до единого. Они еще даже не приехали в дзен-центр — как он там назывался, — а Тереза уже чувствовала, что начинает постигать суть этой философии. Кому нужны подушки безопасности? Кому нужна стальная клетка, отделяющая от мира? Тереза опустила стекло — вручную, крутя ручку! — и вдохнула чистый швейцарский воздух.

— До чего красиво, — сказала она.

Они нырнули в каменный туннель, прорезанный в склоне горы: свет, потом тьма, потом сосны.

— Погоди, то ли еще будет, — сказала ее дочь.

— Должна тебе сказать, Холли, я до сих пор не понимала. То есть я за тебя радовалась, но в глубине души все время спрашивала себя: «А с Торрансом-то что не так?»

Они проехали мимо двух лохматых горных коз на обочине, их закрученные рога казались коронами. Наверняка они ждали Хайди и дедушку, чтобы те отвели их обратно в горы. Тереза взглянула на Холли:

— С чего кто-то захочет жить в Торрансе?

— Ничего в нем нет дурного, — сказала Холли, радуясь материнскому одобрению. — Но здесь тише. Мне здесь лучше.

— Я все думаю про Джанетт и Фоде с мальчиками. По-моему, ей нравится весь этот шум и эта ее тесная квартирка. По-моему, это мобилизует ее. И Элби, он вечно снимается с места и уезжает куда-то, вечно ищет что-то новое. Наверное, это как-то ему помогает. Он сейчас в Новом Орлеане.

— Он пишет мне иногда по электронной почте, — сказала Холли и внезапно ощутила острую тоску по брату и сестре — как бы ей

хотелось, чтобы все они оказались сейчас здесь, рядом с ней и с матерью.

— Это хорошо.

— А тебе?

— А что мне? — спросила Тереза, вытягивая шею, чтобы еще раз взглянуть на исчезающий из вида пейзаж.

— Хорошо ли тебе в Торрансе? Не жалеешь, что ты там осталась?

Теперь они ехали через лес. Деревья с моховой опушкой становились все толще и выше, они уже заслоняли свет, а по земле потянулись папоротники. Повсюду виднелись огромные камни, валуны, казалось разбросанные вокруг хлопотливого ручья художником-постановщиком. «Мне нужен зачарованный лес!» — наверное, сказал ему продюсер.

— Когда твой отец уезжал с Беверли, он хотел, чтобы мы все переехали в Виргинию и жили бы там неподалеку от них. Честно говоря, я и помыслить об этом не могла. А может, надо было. Вам, детям, так было бы проще. Но я не сумела, во мне было недостаточно жертвенности.

— Какое идиотское предложение, — сказала Холли и безрассудно отвела на секунду глаза от дороги, чтобы взглянуть на мать. — Я и не знала, что он такое говорил.

— А потом не стало Кэла. — Тереза пожала плечами. — Ну, что я тебе про это буду рассказывать. Как бы мы поехали в Виргинию после смерти Кэла? Хотя, скажу тебе честно, меня огорчило, что его похоронили там. В те дни для меня главное было — идти вперед, шаг за шагом, только бы не упасть в себя, на самое дно. Мне было не до перемен. Моя жизнь и так уже изменилась дальше некуда. Мне нужно было просто ее вынести.

— Ты вынесла.

Холли переключилась на вторую передачу. Они ехали за каким-то грузовиком, все вверх и вверх.

— Наверное, мы все вынесли, каждый по-своему. Поначалу всегда кажется, что ничего не получится, а потом вдруг оказывается, что получилось. Жизнь продолжается, твое сердце бьется. За это я в конце концов и уцепилась: за ощущение, что мое сердце все-таки бьется. И у тебя бьется, и у Элби, и у Джанетт. Но это не навсегда, значит, с этим надо что-то делать.

Тереза накрыла руку Холли ладонью и ощутила басовитую дрожь ручки переключения передач.

— Ты только меня послушай! Как разоткровенничалась, совсем на меня не похоже.

— Это все швейцарский воздух. — Холли замолчала и задумалась. — Я бы сказала, на меня он тоже так действует. Вообще-то, большинство из тех, с кем я здесь встретилась, довольно замкнутые.

Тереза улыбнулась и кивнула:

— Что ж, это хорошо. Мне нравится.

«Дзен-Додзё Тодзан» находился не в Зарнене и не в Туне, а где-то между ними, не в деревне, а среди высокой травы и голубых цветов. Центр занимал большую шале, выстроенное высоко на склоне горы. Шале принадлежало цюрихскому банкиру. Летом банкир с женой и пятью детьми плавали в озере, зимой катались на лыжах, а в промежутках, о чем не подозревали ни в Зарнене, ни в Туне, ни в Цюрихе, они всемером сидели на подушках зафу, закрывали глаза и очищали свой разум так же споро, как бодрящий горный воздух очищал их легкие. Дом был предоставлен «Дзен-Додзё Тодзану» с уговором, что дети семьи, а также дети детей и все будущие дети навсегда останутся здесь желанными гостями. Катрина, четвертая дочь, которой теперь было за семьдесят, постоянно жила в маленькой комнате в задней части дома, где спала еще ребенком. С Катриной выходило четырнадцать постоянных жильцов. Дважды в год они устраивали духовные убежища, гоняли нанятый автобус между шале и гостиницей в Туне, но основную часть дохода составляла выручка от продажи тростей.

В изготовлении и торговле принимали посильное участие все обитатели: или искусство, или бизнес — говорили здесь. Трости пользовались большим спросом, особенно у американцев и австралийцев, понимающих, что им никогда не добраться до Швейцарии. Холли, у которой не оказалось способностей к резьбе по дереву, занималась бухгалтерией. Как оказалось, за длинную палку из швейцарской каменной сосны с резной рукоятью в виде рыбки можно запрашивать сколько душе угодно. А если вставить рыбке в спину компас за пять евро, цену можно смело удваивать, и неважно, что

сейчас, похоже, никто уже не ориентируется по компасу. Дерево они покупали на лесопилке в Лозанне, и, хотя возить сырье из Германии получилось бы дешевле и удобнее, решено было, что трости останутся швейцарскими. Так говорилось на их сайте: швейцарские трости, вырезанные в Швейцарии из швейцарской каменной сосны. Каждый день после медитации и домашних дел несколько часов посвящалось тростям: Пол выстругивал из дерева палки, Лелия большим ножом вытесывала начерно фигурки рыб, а потом Хайла приступала к тонкой работе над чешуей. Эти трости, наряду со скромными пожертвованиями, позволяли чинить крышу, платить налоги и ставить на стол хлеб и сыр. У них был восьмимесячный лист ожидания на трости. Лист ожидания на проживание стал слишком длинным, а потому бесполезным, его засунули в ящик стола и забыли о нем.

— Тебе повезло, что комната для гостей свободна, — сказала Холли, беря мать за руку, чтобы помочь ей подняться по крутым деревянным ступеням.

Матери, хоть и довольно твердо стоявшей на ногах, все же пригодилась бы трость. Иногда здесь поднимался такой ветер, что сбивал с ног.

— Гости приезжают на месяц, а потом отказываются уезжать. У нас три гостевые комнаты, и мы вечно выпадаем из расписания. Людей отсюда просто не выгонишь. Думают, что один из нас уйдет и освободит место им.

Шале окольцовывала широкая деревянная веранда, выступавшая над сказочным альпийским пейзажем. По ней были расставлены вырубленные небрежным топором тяжелые деревянные стулья, чтобы члены общины и гости могли отдыхать, любуясь видом. Альпы казались пейзажем с конфетного фантика, картинкой для привлечения туристов. Терезе пришлось остановиться и отдышаться, из-за открывшегося вида, из-за разреженного воздуха, из-за того, что она и впрямь сюда добралась.

— Ну, тебе место освободили, — сказала она, слегка запыхавшись.

Холли остановилась и оглядела все глазами матери.

— Вообще-то, когда я дожидалась, чтобы кто-нибудь уехал, один человек умер. Тогда я и вернулась в Калифорнию и уволилась с работы. Он был француз, его звали Филипп. Это он много лет назад

придумал делать трости, деньги тогда были на исходе, и все боялись, что придется продать дом. Славный был старикан. Я так и живу в его комнате.

— А других матери навещают? — спросила Тереза, стараясь, чтобы ее слова не прозвучали так, словно она пытается помериться с кем-то, хотя она именно что мерилась. Она очень собой гордилась.

— Иногда. Реже, чем можно ожидать.

Едва добравшись до кровати в своей комнате, Тереза прилегла поспать. Потом, перед обедом, беседой о дхарме и последней медитацией, Холли, как могла, изложила матери краткий вводный курс в медитацию. Вдох-выдох, следить за дыханием, позволять мыслям приходиться и уходить, не оценивая их.

— Ты просто начни, — сказала она, в конце концов испугавшись, что от ее объяснений будет больше вреда, чем пользы. — Ничего сложного тут нет.

И Тереза, облачившись в спортивный костюм, который надевала по утрам, когда они с соседкой занимались ходьбой, села на подушку рядом с дочерью и закрыла глаза.

Сначала ничего особенного не происходило. Она думала о боли в левом колене. Потом пришла мысль, что здешние люди, похоже, очень славные. Ей понравился Михаил, русский, которого она назвала Майклом. Он тут всем ведает? Очень гостеприимный. У всех волосы короткие, как у Холли. А почему бы нет? Какая разница? Здесь не перед кем красоваться. Видно, что Холли тут счастлива, но настоящая ли это жизнь? И что с ней будет, когда она доживет до Терезиных лет? Эти люди будут о ней заботиться? Можно спросить у женщины постарше, например у той, которая выросла в этом доме. Подумать только, это место было настоящим жильем, домом для одной семьи. Сколько же нужно было держать прислуги, чтобы поддерживать тут порядок? Обе ступни онемели.

Тут она себя одернула. Чем только у нее голова набита! Терезу поразила и раздосадовала праздность ее ума — она будто просеивала мусор на обочине шоссе, и замирала, замороженная каждой блестящей бумажкой от жевательной резинки. Она вернулась на один вдох, но обнаружила, что размышляет о салате из бобов, который был на обед, какие-то розовые бобы в нем, она таких с детства не видела. Тереза не могла вспомнить, как они называются. Мать просила ее перебирать

бобы, прежде чем замачивать, не попался бы кому камешек, и она тщательно трудилась, пока ей не делалось скучно, тогда она бросала неперебранные бобы поверх тех, что уже перебрала, и все портила. Интересно, кому-нибудь из родных хоть раз попался камешек?

Ну же, один вдох! Она что, и этого не может? Не может хоть разок втянуть не обремененный мыслями воздух? Она попробовала. Так. Хорошо. У нее заболела спина. Неожиданно она уронила голову вперед и на мгновение крепко уснула. Издала короткий испуганный звук, как собака или свинья, которой что-то снится. Снова села прямо, приоткрыла глаза, чтобы посмотреть, не заметил ли кто. Огляделась: мирные лица соседей и дочери словно отражали ясность их безмятежного ума. Ей стало стыдно за себя.

Когда медитация закончилась, Холли помогла ей встать. Все подошли обнять ее и пожать ей руку. Они все были так милы с Холли. И все были так рады Терезе.

— Не переживайте из-за медитации, — сказала женщина по имени Кэрл, с мирными, как заледеневшее озеро, глазами. — Поначалу всем сложно разобраться.

— Перед тем как приехать сюда, я много лет медитировал самостоятельно, — сказал Пол, мастер по вырезыванию тростей. — Но медитировать здесь впервые в жизни? Это как впервые выйти на пробежку на Олимпийских играх.

Он похлопал ее по плечу:

— Вы можете собой гордиться.

Лежа без сна на односпальной кровати в гостевой комнате, Тереза рассматривала потолок, чередование желобков на центральной розетке; желобки напоминали редкие, но ровные зубы. И ради этого она пролетела полмира? Посидеть на подушке? Она полжизни просидела за столом. Сидела в машине, в самолете. О чем она думала? Она хотела увидеть дочь. Интересно, Берт хоть раз приезжал сюда повидать Холли? И тоже медитировал? Почему она не додумалась спросить? Свет огромной луны заливал ее маленькую комнатку, окрашивал стены, освещал постель. Тереза подумала обо всех женщинах и мужчинах (мужчин было больше), которых с ее небольшой помощью отправила в тюрьму окружная прокуратура Лос-Анджелеса. Обо всех делах, над которыми работала, готовя документы для того, чтобы этих людей осудили и они проводили ночи в узких

кроватях, а дни в тишине. Как вышло, что она никогда раньше не интересовалась, что с ними случилось? За годы через нее прошли сотни дел. Тысячи. Эти люди тоже пялились теперь в потолок камеры, пытаюсь освободить свой разум?

Так все оно и шло — день за днем, три раза в день. Она вместе со всеми строем шла в комнату для медитации, кто-нибудь закладывал в синюю керамическую печку уголь, а потом все садились в кружок на темно-зеленые подушки и ждали, когда Михаил ударит в маленький гонг, подавая сигнал к началу. Безумие. Она бы ушла со своим «Английским пациентом» на балкон второго этажа или отправилась бы гулять в одиночестве по высокой траве, пока остальные ищут внутренний покой, не будь Холли так горда ею. Дочь все время брала ее под руку, подтаскивала подушку поближе, чтобы быть с ней рядом. Остальные обитатели центра смотрели на них с глубоким одобрением — на кухне, за столом, во время медитаций (Тереза иногда жульничала и ненадолго открывала глаза, заставляя остальных тут же зажмуриться), — другие матери сюда не приезжали, а если и приезжали, то уж точно не сидели на подушках.

А Тереза сидела и сидела.

Лелия однажды провела духовную беседу, посвященную освобождению от самоопределения: мол, это я не могу из-за того, что случилось со мной в детстве; то я не могу, потому что стесняюсь; туда я не пойду, потому что боюсь клоунов, грибов или полярных медведей. Группа тихо хохотнула — все узнали себя. Во время медитаций Тереза предавалась постоянно возобновляющемуся внутреннему диалогу о том, как безнадежно семидесятилетние женщины из Торранса потеряны для буддизма, и ей беседа о самоопределении помогла. Потом хорошенькая Хайла — отсутствие волос только подчеркивало тонкость ее черт — повела ее гулять и называла по имени каждый кустик и каждое дерево, мимо которых они проходили. Они увидели издали горного козла. Хайла растерла в ладонях кусочек можжевельника и дала Терезе понюхать свои руки, руки, умевшие ловить рыбок в рукоятках тростей. Хайла сказала Терезе, что ее мать умерла пять лет назад и что ей очень одиноко. Потом взяла Терезу за руку, и они пошли обратно в шале. «Хорошо, — подумала Тереза, — сегодня я побуду тебе матерью». Они вернулись в кухню и стали резать яблоки для пирога.

— Я хочу, чтобы ты меня остригла, — сказала Тереза Холли перед обедом.

— Правда?

Холли вытянула руку и погладила волосы матери. Волосы были густые, седые, Тереза носила их до плеч и подкалывала с двух сторон невидимками, не умея придумать ничего интереснее.

— Я уже привыкла к вашим бритым головам и думаю, это мне поможет вписаться.

Тереза не решилась бы на такое, если бы ей предстояло вернуться на работу. На работе о новой прическе стали бы шептаться, но теперь, когда она придет домой, это станет приметой новой жизни. Ее увидят соседи, кассиры в магазине и поймут, что теперь она другая.

Холли сходила и достала из небольшой пластмассовой коробки, которую держали в ванной на первом этаже, электрическую машинку для стрижки. Вывела мать наружу, на веранду, и обернула ей шею полотенцем. Здесь все стригли друг друга. Могли бы и самостоятельно, но так приятно, когда к голове каждый месяц прикасаются дружеские руки.

— Ты точно этого хочешь? — спросила Холли, прежде чем включить машинку.

Тереза решительно кивнула:

— В Швейцарии жить...

И вот Терезины волосы плотными седыми клоками легли у ее ног, словно рассеявшиеся грозовые тучи. Закончив, Холли обошла ее, оценивая свою работу.

— Ну, и на кого я похожа? — с улыбкой спросила Тереза, проводя рукой по бархатному «ежику».

— На меня, — ответила Холли, и это было правдой.

Иногда Холли ночами приходила в гостевую комнату, в ту самую комнату, где спала, когда впервые приехала сюда двадцать лет назад. Ей здесь нравилось. Тереза как могла ужималась в узкой кровати, чтобы освободить место для Холли. Они обе ложились на бок, только так и можно было поместиться, и разговаривали — две женщины, которые много лет ни с кем не разговаривали в постели.

— Ну так что, ты тут и останешься? — спросила Тереза, натягивая одеяло им на плечи.

Ночами было очень холодно.

Холли исполнилось сорок пять. Может, сейчас ей и было чудо как хорошо, но, если потом вдруг захочется чего другого — мужа ли, работу ли, — надо бы уже об этом задуматься.

— Навсегда не останусь, — сказала Холли. — Не думаю, что останусь. Но я даже не начинала думать, как уйти. Как будто я надеюсь, что однажды судьба распахнет дверь «Додзё» и скажет: «Холли! Пора!»

— Позвони, когда это произойдет, — ответила ей мать.

— Ты бы видела, как здесь хорошо, когда снег.

Какое-то время они молчали, возможно, обе уже засыпали, а потом Холли сказала:

— Ты не думала остаться? Могла бы, как все те, кто приезжает в гостевые комнаты, и мы думаем, что они уедут, а они не уезжают.

Тереза улыбнулась в темноте, хотя понимала, что тоже не вполне представляет себе, как отсюда уехать. Она обняла Холли за талию и подумала, что это тело сотворила она, и вот оно стало чем-то совершенно отдельным.

— Не думаю, — сказала она, и они обе уснули.

На восьмой день своего одиннадцатидневного пребывания в дзен-центре Тереза пришла на утреннюю медитацию, села на подушку рядом с Холли, закрыла глаза и увидела своего старшего сына. Увидела так ясно, словно он все это время был с ней в каждой комнате, в которой она побывала за свою жизнь, просто она вечно смотрела не туда. Тереза не спала, ее дух не покидал тела. Она понимала, что она по-прежнему в шале, по-прежнему сидит на подушке, но в то же время она была с Кэлом и его сестрами. С дочками Китинга, Кэролайн и Франни. Она видела их всех пятерых, видела, как они выходят из кухонной двери в доме родителей Берта, из двери, через которую она ходила множество раз, когда Берт ухаживал за ней и когда они планировали свадьбу.

Эрнестина, кухарка, говорит им, чтобы не мешали Неду в амбаре, чтобы слушались его, и девочки отвечают «да, мэм». Она дает Джанетт полпакета подвядшей морковки, которую нашла внизу в холодильнике, и два яблочка, и девочка благодарно ей улыбается в ответ. Обычно никто ничего не дает Джанетт. Кэл уже спускается с крыльца. Он не разговаривает с Эрнестиной. Не ждет девочек.

— Кэл! — зовет Эрнестина из-за сетчатой двери. — Чем занят твой брат?

Он не останавливается. Не оборачивается. Пожимает плечами и поднимает руки, спиной к Эрнестине. «Кэл, — хочет крикнуть Тереза, — ответь ей!» Но ничего не кричит. Она наблюдает за тем, что случилось тридцать пять лет назад за полмира отсюда. Она не может заставить Кэла послушаться. Не может изменить исход событий. Ей позволено только сидеть и смотреть, и это уже чудо.

Дети впятером идут по асфальтовой дорожке позади дома, потом сворачивают на грунтовую дорогу, которая в конце концов превращается в две колеи, разделенные травяной полосой. Холли и Кэролайн болтают, Джанетт и Франни слушают. Кэл ушел вперед, он шагает довольно быстро, так что девочкам иногда приходится пускаться рысцей, чтобы не отстать от него. Они хотят быть вместе, но не рядом с ним, все пятеро хорошо знают, насколько близко можно подходить к Кэлу. Кэл высокий, светловолосый, как его отец, глаза у него такие же голубые, кожа потемнела за лето, проведенное на свежем воздухе. На лице выражение тихой ярости, но он всегда такой. Ему не нравится в Виргинии, не нравится с сестрами, с Китинговыми дочками, с мачехой, с дедом и бабушкой. Ему не хочется чистить лошадей, не хочется, чтобы его кусали мухи и комары, не хочется стоять среди вонючего навоза и сена, но больше заняться все равно нечем. В этом и беда пятнадцатилетних: они могут думать только о том, чего им не хочется. На Кэле футболка и джинсы, хотя сегодня жарко. Если Кэл в длинных штанах, значит, он опять взял револьвер. Все дети это знают.

Джанетт сказала Терезе, что Кэл привязывал револьвер к ноге банданой. Джанетт давно все рассказала матери, в тот год, когда они вдвоем жили в доме в Торрансе. Холли и Элби рядом не было, и она могла спокойно поведать о том дне, когда умер Кэл, о том, как они израсходовали весь бенадрил, чтобы усыпить Элби, какой дорогой пошли к амбару, как не смотрели на Кэла, пока он умирал, думая, что он притворяется нарочно, чтобы они подошли поближе и он мог бы до них дотянуться. Они долго-долго ждали, сидя в траве и плетя венки из маргариток, чтобы показать ему, что он их не одурачит. Джанетт рассказала ей все, но тогда Тереза этого не видела. Она ничего раньше не видела.

Вот Холли — из всех девочек у нее самый красивый голос, у нее самый красивый голос в школе — начинает петь, раскачивая руками взад-вперед:

— Мы пойдем в часовню, пусть нас...

— Пусть нас поженят, — вступают Кэролайн и Франни.

— Мы пойдем в часовню, пусть нас...

— Пусть нас поженят.

Снова Кэролайн и Франни. Джанетт поначалу не поет, но у нее шевелятся губы.

— Я тебя люблю так сильно, и...

— Вы не можете заткнуться хоть на минуту? — спрашивает Кэл, оборачиваясь на ходу.

Он уже ушел далеко вперед, в высокую траву, так далеко, что пение не должно бы выводить его из себя, но выводит.

— Да е-мое, я что, слишком многого прошу?!

Это последние слова ее сына.

«Пусть нас поженят». Теперь все четверо, даже Джанетт заголосила, и внезапно Кэл бросается на них. Непонятно, на самом деле он разозлился или просто дурачится, но девочки с визгом разбегаются в разные стороны. Кэл мог бы поймать любую, но теперь ему надо выбрать, и он останавливается. Что-то не так, он чувствует острую боль в шее, пока его сестры и несестры бегают вокруг него кругами. Он останавливается и прижимает руку к груди, высоко, под самым горлом. Тереза на своей подушке в Швейцарии чувствует удушье, у нее самой перехватывает дыхание, потому что она смотрит на него, и она — это он. Девочки поют и бегают, и она хочет, чтобы они перестали. Он хочет, чтобы они перестали, но не может выговорить ни слова. Пчела все еще сидит у него на шее сзади, ползет по ней. Он это чувствует, но не может ее стряхнуть. Он чувствует, что падает, не просто в траву, а куда-то дальше, голоса девочек смывает приливом крови, у него колотится сердце, футболки девочек теряют цвет; солнце, и небо, и трава — все теряет. Язык распухает во рту. Он пытается сунуть руку в карман, поискать бенадрил, если еще остался, но не может найти руку. Земное тяготение берет свое, он падает навзничь, и земля крепко и глухо бьет его, загоняя пчелу внутрь, и забирает остатки воздуха, остатки света. Ему пятнадцать, десять, пять. Он только родился. Он летит обратно к ней. Он снова ее. Она

чувствует его тяжесть у себя в груди, когда он падает ей на руки. Он ее сын, ее ненаглядное дитя, и она принимает его обратно.

К Рождеству того года, когда умерла Тереза Казинс, Фикс был еще жив. Такого и представить себе нельзя было, а вот поди ж ты. Рождество это должно было стать для него последним, но, с другой стороны, два предыдущих Рождества тоже считались последними, и прошедший День благодарения был последним. Франни не хотелось опять оставлять Кумара и мальчиков на праздники, но и брать их с собой в Санта-Монику не хотелось тоже. Слишком гнетущая там была атмосфера. К тому же Франни и Кэролайн думали о матери, которой, по мере того как умирал их отец, они уделяли все меньше и меньше времени.

— Сейчас не только папино состояние вызывает беспокойство, — сказала Кэролайн, думая о муже матери.

Мать теперь доверялась Кэролайн едва ли не больше, чем на Франни. Должно быть, в этом и заключается прелесть долгой жизни: кое-какие бури постепенно затихают сами собой. Теперь Кэролайн с матерью были очень близки.

— Я брошу монетку, — сказала Кэролайн. — Тебе придется мне поверить.

— Я верю тебе, — сказала Франни.

Никому в мире она не верила больше, чем Кэролайн.

— Орел — на Рождество к папе едешь ты, решка — еду я.

Вот до чего они дожили: до исполненной ожидания тишины, за которой следует звон монеты, упавшей на кухонный стол Кэролайн в Сан-Хосе.

Самолет сорок пять минут кружил над Далласом, пока не получил разрешения приземлиться и не высадил Франни, Кумара и мальчиков в снег и непроглядную тьму. Четырнадцатилетний Рави и двенадцатилетний Амит забрались на заднее сиденье взятой напрокат машины, поглубже засунули в уши маленькие наушники и теперь легонько кивали головами каждый в такт своей музыке. Мальчики не испугались, когда самолет при посадке занесло, не напугало их и шоссе до Арлингтона — адская смесь из льда и битых машин. Уберегшиеся от аварии автомобиля побитыми собаками ползли сквозь

пригороды, развозя тех, кто прибыл на каникулы и мечтал побыстрее сесть за стол, и тех, кто уезжал и пытался поскорее отсюда удрать. Франни позвонила матери — сказать, чтобы та не ждала с обедом. Непонятно, насколько они опоздают.

— Опаздывайте на сколько хотите, — сказала мать. — Если уж совсем будет плохо, мы съедим ваш луковый соус.

Она всегда делала луковый соус для Рави, любителя солененького, и карамельный торт для сладкоежки Амита.

— Можно подумать, мама когда-нибудь ела луковый соус, — сказала Франни Кумару, закончив разговор.

Она вела машину с черепашьей скоростью, пока Кумар просматривал последние рабочие письма. Кумар работал в отделе слияний и поглощений громадины «Мартин и Фокс». И прямо сейчас, покуда его жена заставляла автомобиль ползти сквозь слепящий снег, он составлял план защиты клиента от рейдеров. Все честно. Навещай они его мать в Бомбее, за рулем был бы он.

— Я вообще ни разу не видел, чтобы твоя мать что-нибудь ела, — сказал Кумар, бегая пальцами по светящемуся экрану телефона. — Я считаю, это лучшее доказательство того, что она богиня.

Когда Беверли и Джек Дайн поженились, им уже было за шестьдесят: ей слегка, ему сильно. Кумар знал мать Франни только женой Джека Дайна, императрицей арлингтонской автомобильной торговли, и потому почитал ее счастливой и могучей, словно драгоценный сияющий источник. Кумар считал свою тещу человеком, свободным от прошлого, и за это Беверли любила его как сына.

Дом Джека Дайна когда-то принадлежал четырехкратному сенатору от Пенсильвании. Его — дом — окружала стена с воротами, но ворота никогда не запирались, а стену на Рождество убирали сосновыми ветками вперемешку с огромными венками. Шедшая по кругу широкая подъездная дорожка была заставлена машинами. Во всех окнах горел свет, на деревьях искрились лампочки, и все это великолепие отражалось от снега, озаряя целый мир. Из машины видны были высокие окна и люди в них, будто куклы в огромном кукольном домике.

— Она пригласила гостей ради нас? — спросил Амит с заднего сиденья.

В бабушкином доме было возможно все. На подъездной дорожке почти не осталось мест для стоянки, и им пришлось волочить чемоданы по сугробам.

— С Рождеством! — воскликнула Беверли, распахнув дверь.

Сперва она обняла Амита, потом Рави, потом сгребла мальчиков в охапку и еще раз обняла обоих. В свои семьдесят восемь Беверли дала бы фору любой шестидесятипятилетней. Она осталась худощавой и светловолосой, но ей хватило ума не переусердствовать ни с тем ни с другим. До сих пор было видно, как изумительно хороша она была когда-то. Дом за ее спиной был полон — люди, огоньки, гирлянды, бокалы с шампанским. Елка в гостиной верхушкой упиралась в потолок и, казалось, была усыпана бриллиантами и розовыми сапфирами. Где-то в дальней части дома кто-то играл на рояле. Откуда-то доносился женский смех.

— Ты не сказала, что у тебя гости, — сказала Франни.

— Мы всегда собираем гостей в канун Рождества, — ответила Беверли.

На ней было маленькое красное платье и три нитки жемчуга.

— Заходите, что вы стоите на крыльце, как свидетели Иеговы!

Кумар и Франни втащили в дом вещи, помотали головами, стряхивая снег. Хорошо хоть Кумар в костюме. Франни и мальчики забрали его с работы по дороге в аэропорт. Сами они выглядели изрядно потрепанными странниками — впрочем, ими они и были. Увидев гостей, разгуливающих по дому с полными тарелками еды, мальчики бросили сумки и устремились в гостиную к буфету. Они постоянно умирали с голода.

— Сегодня же не канун Рождества, — сказала Франни.

— Семья Мэтью уезжает на Рождество в Вейл кататься на лыжах, так что я устроила прием пораньше. Всем так удобнее. Я вот думаю всегда теперь праздновать Рождество двадцать второго числа.

— Но ты нас не предупредила.

Кумар наклонился и поцеловал Беверли в щеку.

— Вы изумительно выглядите, — сказал он, чтобы сменить тему.

— Франни! — Грузный немолодой мужчина в красном жилете в ломаную клетку обхватил Франни и стал раскачивать из стороны в сторону, упоенно порываясь. — Как поживает моя любимая сестричка?

— Это просто Кэролайн не приехала, — заметила Беверли. — Ты бы видела, как он обхаживает Кэролайн.

— Кэролайн меня бесплатно консультирует, — сказал Пит.

— Если на праздниках на вас подадут в суд, я с радостью помогу, — вставил Кумар.

Пит повернулся и окинул Кумара недоуменным взглядом, пытаясь сообразить, кто это. Сообразил и просиял.

— Точно, — сказал он Франни. — Я забыл, что он у тебя тоже юрист.

— С Рождеством, Пит, — ответила Франни.

Она сегодня точно расплачется рано или поздно. Вопрос лишь в том, сколько ей удастся продержаться.

— Пит с семьей едет в Нью-Йорк, навестить Кейти и ее новорожденного, — сказала Беверли. — Я тебе говорила, что Кейти родила?

— Рождество в Нью-Йорке. — Пит улыбнулся. Его зубы напомнили Франни слоновую кость, они были похожи на бивни, уменьшенные до размеров человеческих зубов. Он пил эгг-ног из хрустальной чашечки. — Можешь себе представить? Конечно, можешь. Ты у нас горожанка. Так и живешь в Чикаго?

— Дай им подняться и привести себя в порядок, — сказала Беверли Питу. — Поговорите через минуту. Они же только с самолета.

Но тут появился Джек Дайн, на его жилете маленькими стежочками был очень убедительно вышит прыгающий олень. Джек всегда был таким большим, высоким и широким, но сейчас казался не крупнее жены.

— Кто эта милая девушка? — спросил он, указывая на Франни.

Беверли обняла мужа.

— Джек, это Франни, моя Франни. Ты же помнишь.

— Похожа на тебя, — сказал Джек.

— И Кумар. Помнишь его?

— Пусть займется вещами, — сказал Джек, отмахнувшись. — Давай. Неси это наверх.

Кумар улыбнулся, хотя непонятно было, как ему это удалось. Но он был великодушен, и, к счастью, рядом не было мальчиков.

— Джек, — сказала Франни, положив ладонь на дрожащую руку отчима, — это Кумар — мой муж.

Но перед Кумаром забрезжил выход, и Кумар намерен был им воспользоваться.

— Да, сэр, — сказал он, коротко кивнув.

Демонстрируя чудеса силы и устойчивости, поднял с пола весь багаж одновременно. Сумки мальчиков вскинул на плечо.

— Иди через кухню, — сказал Джек, когда Кумар шагнул в сторону широкой лестницы.

Под весом сумок Кумара повело было в сторону, но он сумел развернуться и двинулся по направлению к кухне. Оттуда навверх вела узкая черная лестница — когда-то ею пользовались слуги, в те времена, когда здесь держали слуг.

— Думают, им можно прямо посреди гостей разгуливать, — сказал Джек Франни, глядя Кумару в спину. — Глаз с них нельзя спускать.

— Это мой муж, — сказала Франни.

Почему у нее перехватывает горло? Какое странное ощущение.

Джек похлопал ее по руке.

— Не хочет ли красавица чего-нибудь выпить?

— Нет, Джек, спасибо.

Когда они бросили жребий, Франни решила, что ей повезло. Когда монета звякнула о стол Кэролайн и Кэролайн сказала, что Франни на Рождество досталась Виргиния, та подумала — какая удача. Но теперь она ощутила, что всей душой стремится к умирающему, уже почти умершему отцу.

— Я принесу тебе эгг-ног, — сказал Джек Дайн, повернулся и пошел обратно в толпу.

— Сдал, — отметил Пит, провожая отца глазами. — Если ты вдруг не заметила. Совсем сдал. Он еще ничего не поджег?

— Ты зачем говоришь такое? — напряженным голосом спросила Беверли.

Она любила Джека Дайна, или память о нем, когда он еще был в здравом уме. А вот его сыновья вечно требовали от нее больше внимания, чем Беверли готова была им дать.

— Потому что рано или поздно он что-нибудь подожжет, — сказал Пит. Он разглядывал толпу, ища собеседника получше. — Мэтью! — Он поднял руку и помахал брату: — Смотри! Франни приехала.

Жилет у Мэтью Дайна был черный, но из бокового кармана свешивалась золотая часовая цепочка, с подвешенным к ней маленьким красным стеклянным шариком, отчего Мэтью выглядел куда нарядней всех остальных. А Франни и забыла, что на рождественские приемы к Джеку Дайну все мужчины обязаны были являться в жилетах. Окинешь комнату взглядом, и сразу понимаешь, что здесь празднуют: все женщины в красном, все мужчины в жилетах. Мэтью взял Франни за обе руки и поцеловал в щеку.

— И в дом войти не успела, как на тебя уже надели, — посочувствовал он.

Мэтью нравился Франни больше остальных братьев. Он всем нравился больше.

— Где Рик? — спросила она, подумав, что, может, стоит разделаться одним махом со всеми тремя Дайнами, а потом прорываться к лестнице.

— Рик где-то застрял, — сказала Беверли. — Сказал, что не приедет.

— Приедет, — заверил Мэтью. — Лора Ли и девочки уже здесь.

Я шел в Сент-Ив, навстречу он, а следом шли его семь жен. Они несли по семь лукошек, и в каждом было по семь кошек. Франни никак не могла уложить всю эту толпу в голове. Она хорошо знала Дайновых мальчиков — их так продолжали звать на шестом десятке, — но путалась в их первых и вторых женах, а также в детях, которых тоже подчас было по два комплекта — одни еще маленькие, другие уже завели собственные семьи. Кошки, котята, жены, лукошки. Многие Дайны считали Франни кем-то вроде сестры, кузины, дочери или тетки. Какая-то Кейти Дайн в Нью-Йорке родила ребенка. Благодаря материнскому замужеству Франни состояла со всеми этими людьми в каких-то загадочных родственных отношениях, но самой ей никак не удавалось понять, кем и кому она приходится. Пегги, первая жена Джека Дайна, умерла больше двадцати лет назад, но сестер Пегги Дайн с мужьями, детьми, мужьями и женами детей и детьми мужей и жен детей по-прежнему каждый год приглашали на прием — заходите, гости дорогие! И каждый год они исправно приезжали и, поедая приготовленные Беверли канапе, составляли перечень перемен: новый диван, стены в гостиной другого оттенка, картина с птицами над

камином — все это оскверняло память Пегги. А невыносимей всего для них была перестановка мебели.

Гости начали замечать, что приехала дочь Беверли — некоторые были знакомы с Франни и воспылали желанием ее увидеть, а остальные были о Франни наслышаны. Мэтью наклонился к ее уху и шепнул: «Беги».

Франни поцеловала мать.

— Скоро вернусь, — сказала она.

Она прошла через кухню, где двое темнокожих мужчин в черных брюках, белых рубашках, галстуках и жилетах соорудили на серебряных подносах башни из бутербродиков с ветчиной, а третий выкладывал на тяжелом серебряном блюде креветки вокруг хрустальной чаши с коктейльным соусом. Никто в сторону Франни даже голову не повернул. Если они ее и заметили, то никак этого не показали. Франни поднялась по черной лестнице в комнату, где они с Кумаром обычно спали. Все Дайновы мальчики жили в городе, в своих собственных красивых домах, так что даже на Рождество места хватало всем. Уходя на пенсию, Джек Дайн разделил свою империю на три части, передав Мэтью «тойоты», Питу «субару», а Рикю «фольксвагены». Ленивый Рик обиделся на то, что «тойоты» достались Мэтью. Это несправедливо, говорил он, никто не может состязаться с «тойотой». Особенно он завидовал тому, что брату отошли «приусы».

Франни тихонько открыла дверь в комнату и увидела, что ее муж устроился в темноте на кровати поверх покрывала. Его пиджак и галстук висели в шкафу, ботинки были задвинуты под кровать. Кумар всегда был аккуратистом, даже в студенчестве. Она скинула пальто и шарф на пол, сбросила зимние сапоги.

— Мне было бы очень себя жалко, — тихо сказал Кумар, лежа со сложенными на животе руками и закрытыми глазами, — если бы не было так жалко тебя.

— Спасибо, — сказала она.

Матрас был огромный, но она доползла до Кумара и улеглась с ним рядом.

Он обнял ее, поцеловал в волосы.

— Другие муж с женой сейчас предались бы любви.

Франни рассмеялась, уткнувшись лицом ему в плечо.

— Ну да, муж с женой, у которых дети не имеют привычки заявляться в комнату без предупреждения.

— И у которых тесть и хозяин дома не пристрелит зятя за посягательство на чистоту расы.

— Ох, прости, — сказала Франни.

— Бедная твоя мать. Ее мне жалко тоже.

Франни вздохнула:

— Это да.

— Тебе надо вернуться к гостям, — сказал он. — Я спуститься с тобой морально не готов, но тебе надо идти.

— Это да, — повторила она.

— Попроси мальчиков принести мне поесть, хорошо?

Лежа на его груди, Франни закрыла глаза и кивнула.

Если бы все шло, как хотел Кумар, они бы каждый год сразу после Дня благодарения уезжали на Фиджи и не возвращались бы в Нью-Йорк, пока не отгремит Новый год и с города не снимут украшения. Плавали бы с рыбами, лежали на пляже, ели папайю. А устав от Фиджи, ездили бы на Бали, или в Сидней, или еще в какие-нибудь края с мелодичным названием, где много солнца и песка.

— А школа? — спрашивала Франни.

— Мы что, не потянем поучить их дома шесть недель в году? Даже неполных шесть. Надо вычесть выходные и праздники.

— А работа?

Тут Кумар вскидывал на нее глаза и хмурил темные брови.

— Тебе трудно дать мне пофантазировать? — говорил он.

Первая жена Кумара, Сапна, умерла в День памяти Перл-Харбора, седьмого декабря, через четыре дня после рождения Амита. Было легко помнить, сколько лет прошло с тех пор — Амиту сейчас было двенадцать. Сапна была младше Кумара на десять лет.

— На десять лет добрее, — говорил он в день ее рождения. — На десять лет великодушнее.

Это было правдой, Сапна так радовалась жизни, что могла показаться недалекой, хотя на самом деле была, наверное, не глупее других.

— Нет ничего глупого в том, чтобы быть счастливым, — говаривала она.

Она любила мужа, любила сыновей. Была в восторге от того, что сбежала из северного Мичигана в Чикаго. Ей нравилась жизнь, которую они вели, пусть хлопотная и зябкая. Сапна без труда выносила и родила второго. Все они были дома. Рави, двух с половиной лет от роду, спал. Сапна сидела на диване с младенцем на руках. Она посмотрела прямо на Кумара и сказала:

— Как странно.

И закрыла глаза.

Вскрытие показало генетическую патологию сердца — синдром удлинённого интервала QT. При ее состоянии чудом было, что она не умерла сразу после рождения Рави. Хотя некоторые не умирают. Некоторые живут всю жизнь, даже не подозревая, какой судьбы избежали. Обследование выявило, что этот же ген был и у матери Сапны. И у сестры.

— Большинство живущих на земле людей, — сказал Фикс, — носит свою смерть внутри себя.

Не прошло и года после смерти жены Кумара, когда Франни подошла к его столику в Палмер-Хаусе и спросила, что он желает выпить.

— Господи, — сказал он, не веря своим глазам. — Не говори, что ты так здесь и работаешь.

Кумар, подумала она. Как это она забыла про Кумара?

— Время от времени, только по выходным, — ответила Франни и наклонилась, чтобы поцеловать его в щеку. — Я работаю в юридической библиотеке Университета Чикаго, но платят там просто позорно. К тому же мне тут нравится.

Кумар ждал клиента, чтобы пойти с ним обедать.

— Иди работать ко мне, — сказал он. — Прямо в понедельник и приступай. Будешь получать у меня больше, чем на этих твоих двух работах, вместе взятых.

Франни рассмеялась. Кумар был все тот же.

— И что я буду делать?

— Комплексную оценку, — немедленно выдумал он. — Мне нужно, чтобы ты сделала заключение по финансовым документам для слияния.

— Я ведь так и не закончила университет.

— Я знаю, что ты успела выучить. Нам нужен кто-то, на кого можно положиться. Считай, что у нас сейчас было собеседование. Все, я тебя принял.

Высокий темнокожий мужчина в угольно-черном костюме подошел к столику, и Кумар встал с ним поздороваться.

— Наша новая коллега. — Кумар указал мужчине на Франни. — Франни Китинг. Ты ведь по-прежнему Китинг?

— Франни Китинг, — подтвердила она, пожимая мужчине руку.

Потом Кумар говорил, что его прямо в тот момент и озарило: он женится на Франни, и это решит все проблемы кроме нерешаемых. Он любил ее, когда они были молоды, пусть не в тот год, когда они делили квартиру, а позже, когда она уехала с Лео Поузенем. И раз сейчас она свободна, не видел причин, почему бы снова ее не полюбить. Сложность заключалась в том, что у него совсем не было времени. Родители Сапны приехали из Мичигана, чтобы присматривать за Рави, когда родился Амит, и теперь, почти год спустя, так и жили в его доме. Работа и дети, житейские хлопоты и бремя горя не оставляли ему ни минуты, сжирали все без остатка. Это было гениальное решение — взять Франни на работу, а не ухаживать за ней. Он и не собирался за ней ухаживать. Он хотел на ней жениться. Если она будет работать в его юридической фирме, они будут видеться каждый день. Постепенно — в лифте или обмениваясь документами — они все друг другу о себе расскажут. И прежде чем вверить Франни своих детей и свою жизнь, он успеет убедиться, что не ошибся в ней.

Уладили, подумал он, вручая ей визитку и желая доброй ночи. Это мы уладили.

Прошло столько лет, а в баре по-прежнему играла все та же запись, или запись, очень сильно похожая на прежнюю. Вспомни Франни, как ее раздражала эта музыка, посмеялась бы. Она ее больше не замечала. Но когда Кумар с клиентом вышли из бара и Франни положила визитку в карман фартука, она смутно услышала Эллу Фицджеральд, певшую точно в глубине ее головы:

*Я кое-кого так стараюсь забыть,
А тебе есть кого забывать?*

Лежа в темноте в доме у матери, Франни пыталась представить себе мир, в котором Сапна не умерла. Возможно, Франни и Кумар встретились бы снова, столкнулись бы как-нибудь в книжном магазине, рассмеялись, поздоровались и разошлись, но она никогда бы не вышла за него, и его сыновья никогда не стали бы ее сыновьями. Но в мире, где Сапна не умерла, Беверли могла бы остаться женой Фикса, а это значит, что не было бы ни Джека Дайна, ни сводных братьев Дайн, ни рождественской вечеринки в Виргинии. Однако не было бы и Марджори, а это стало бы страшной потерей, ведь Марджори подарила Фиксу счастье настоящей любви. Но, может быть, тогда Берт остался бы с Терезой и пятьдесят лет спустя спас бы ей жизнь, настояв, чтобы она вовремя пошла к врачу. Кэл не встретился бы с той пчелой, что поджидала его в высокой траве у амбара в доме родителей Берта. Он прожил бы долгую жизнь, хотя, кто знает, вдруг его настигла бы где-нибудь еще другая пчела? Если бы Кэл был жив, Элби не устроил бы пожара, из-за которого переехал в Виргинию, хотя он в любом случае не попал бы в Виргинию, потому что Берт остался бы в Калифорнии. Лежа в полусне поверх покрывала рядом с мужем, Франни никак не могла разглядеть все пути, по которым двинулось бы будущее без якорных стоянок прошлого. Без Берта Франни никогда бы не пошла на юридический. Она получила бы диплом по английскому языку и, значит, вообще бы не встретила Кумара. Она не оказалась бы в Чикаго, не работала бы в Палмер-Хаусе, а значит, целую вечность назад Лео Поузен не сел бы у барной стойки и не завел с ней разговор о ее туфлях. Именно там, когда Франни потянулась зажечь его сигарету, началась ее жизнь. Почему-то из всего, что могло быть обретено или утрачено, именно возможность не встретиться с Лео показалась Франни невыносимой.

Кумар задышал глубже и медленнее, Франни осторожно встала, нащупала в чемодане платье и туфли и переоделась в темноте.

Спустившись по черной лестнице обратно в кухню, Франни увидела мать, в одиночестве раскладывавшую птифуры на подносе у буфета.

— Тут же есть кому сделать это за тебя, — сказала Франни.

Мать подняла на нее глаза и устало улыбнулась:

— Я просто на минуточку спряталась.

Франни кивнула и села рядом.

— Когда думаешь «вот бы устроить прием», кажется, что это отличная идея, — сказала Беверли. — Но устраивая его, я всякий раз не могу понять, зачем мне это было нужно.

Они слышали гостей в соседней комнате, голоса их звучали все веселей от эгг-нога и шампанского. Пианист теперь играл что-то быстрое, кажется «Двенадцать дней Рождества» в джазовой обработке, но Франни не была уверена. Двенадцать дней... да она бы с собой покончила, так и не добравшись до строчки про пять золотых колец.

Беверли вынула из коробки последнее крохотное квадратное пирожное — они были розовые, желтые и белые, и каждое венчала засахаренная розетка.

— Рик все-таки приехал, — сказала она, разворачивая квадратики и превращая их в ромбы. — Теперь пьет.

— Мэтью так и сказал, что он придет.

— Не выношу, когда они все вместе, — сказала Беверли. — По отдельности мальчики славные — ну, как правило, славные, но стоит им собраться, как у них начинается дискуссионный клуб. И всегда у них куча соображений по поводу будущего: что мне делать с Джеком, что мне делать с домом. Они, похоже, понятия не имеют, какие разговоры уместны на рождественском приеме. Я не знаю, что случится в будущем. Не понимаю, почему они меня все время спрашивают. У тебя есть какие-нибудь мысли по поводу будущего?

Франни взяла бледно-желтое пирожное цвета только что вылупившегося цыпленка и сунула его в рот целиком. Оно оказалось не слишком вкусным, но при такой красоте вкус не имел особенного значения.

— Никаких, — ответила она. — Ноль.

Беверли взглянула на дочь, и ее лицо озарилось любовью.

— Я хотела двух девочек, — сказала она. — И вот у меня есть ты и твоя сестра. Я получила ровно то, что хотела. У других дети слишком сложные.

Не будь ее мать такой красавицей, ничего бы не произошло, но в том, что она была красавицей, не было ее вины.

— Я пойду туда. — Франни поднялась со стула.

Ее мать посмотрела на поднос с крошечными пирожными.

— Разложу их по цветам. — Она сдвинула ладонью пирожные на стол. — Так, наверное, лучше будет.

Франни отыскала Рави и Амита в подвале — они смотрели «Матрицу» по телевизору размером с односпальный матрас.

— Детям нельзя смотреть этот фильм, — сказала она.

Мальчики обернулись.

— Но это только из-за драк, — ответил Рави. — А секса там нет.

— И сейчас Рождество, — добавил Амит, следуя безупречной логике «если нельзя, но очень хочется, то можно».

Франни встала у них за спиной и стала смотреть, как мужчины в черных плащах откидываются назад, чтобы их не разорвало пополам пулями, а потом снова распрямляются. Дергаться было поздно — если в этом кино показывали что-то, от чего у детей начинаются кошмары, мальчики уже это увидели.

— Мама, а ты видела этот фильм раньше? — спросил Амит.

Франни покачала головой:

— Для меня он слишком страшный.

— Если тебе станет страшно, — сказал ее младший мальчик, — я буду спать в твоей комнате.

— А если ты сейчас заставишь нас выключить, — сказал Рави, — мы не узнаем, что там будет дальше.

Франни посмотрела еще минуту. Похоже, она оказалась права — фильм и вправду был для нее слишком страшным.

— Папа уснул, — сказала она. — Подождите немножко, а потом отнесите ему тарелку с едой, хорошо?

Радуясь своей маленькой победе, мальчики кивнули.

— И не рассказывайте ему про кино.

Франни вернулась наверх и сделала полный круг по комнате, хотя мало кого помнила из гостей. Она не жила в Арлингтоне с тех пор, как уехала в колледж. Жены всех троих сыновей Джека Дайна были рады поболтать с ней, но ни одна из них не желала разговаривать с двумя другими. Жена того сына, который нравился ей больше других, нравилась ей меньше всех, зато жену того сына, который нравился меньше всех, она предпочитала всем прочим. Что интересно — хотя ничего интересного во всем этом не было, — она никак не могла запомнить жену того сына, которого помнила хуже остальных.

В какой-то момент, когда все гости еще были в сборе, Франни снова оказалась в прихожей и там, хотя и не искала ее, увидела вдруг на полу свою сумку, слегка задвинутую за стойку для зонтиков.

Наверное, сумка упала, когда они вошли и ставили вещи на пол, и теперь Франни, не раздумывая, подобрала ее и вышла за дверь.

Платье, которое она привезла для приема, — того приема, до которого, как она думала, оставалось еще два дня, — не было красным. Оно было темно-синим, бархатным, с длинными рукавами, но все равно не рассчитано на такой холод, и туфли не подходили для прогулок по снегу. Неважно. Она ушла с вечеринки, показалась всем и удрала. «Где Франни?» — спросит кто-нибудь, и ему ответят: «Наверное, на кухне. Я только что видел ее в другой комнате».

Все машины были засыпаны снегом, а свою Франни взяла напрокат, хуже того — выбирала в темноте. И не знала даже, какого цвета машина, потому что толком ее не разглядела. Помнила, что внедорожник, но тут все машины были внедорожниками, как будто это было оговорено в приглашении, как жилет для мужчин. Франни спустилась под горку в конце дорожки и, дойдя, как ей показалось, примерно до нужного места, нажала на брелок. Слева библикнуло, и включились фары. Франни рукой обмахнула окна и забралась в машину. Включила обогреватель и позвонила Берту.

— Я тут подумала, не заехать ли к тебе поздороваться, если для тебя еще не очень поздно.

Она старалась говорить небрежно, потому что ее трясло.

Берт вечно не спал допоздна. Ей приходилось просить его, чтобы не звонил им домой после десяти вечера.

— Отлично! — обрадовался он, словно ждал этого звонка. — Только осторожнее: снегу навалило.

Берт так и остался в последнем доме, который делил с Беверли, в том самом, где жили Франни и Кэролайн, когда ходили в школу, в том самом, куда на год перебрался Элби, когда Кэролайн уехала. Беверли и Джек Дайн жили неподалеку, милях в пяти, но в Арлингтоне можно было жить в пяти милях от кого-то и никогда с ним не видеться.

Когда она подъехала, он в пальто ждал у открытой входной двери. Берт состарился, как и все, но возраст прибывает на разных скоростях и разными путями. Подходя в темноте к дому, глядя на его фигуру под ярким фонарем на крыльце, Франни подумала, что Берт Казинс остался прежним.

— А вот и дух минувшего Рождества, — сказал он, когда Франни вступила в кольцо его рук.

— Надо было раньше тебе позвонить, — сказала она. — А то свалилась как снег на голову.

Берт не давал ей войти и не отпускал. Просто стоял, прижав Франни к груди. Для него она так и осталась крохой, которую он носил на руках на крестинах у Фикса Китинга, самой чудесной крохой, какую он видел в жизни.

— Снег на голову меня устраивает, — ответил он.

— Зайдем, — попросила Франни. — А то холодно.

Войдя в дом, она сняла туфли.

— Я затопил камин в кабинете, когда ты позвонила. Он еще не разгорелся, но занялся.

Франни вспомнила, как впервые вошла в этот дом. Ей, наверное, было лет тринадцать. Ради кабинета они его и купили — ради камина с каменной плитой, такого здоровенного, что в нем можно было повесить ведьминский котел; и ради того, какой вид открывался из окна на бассейн. Тогда это логово казалось ей настоящим дворцом. Теперь дом стал слишком велик для одного, и Берту незачем было в нем оставаться. Но в этот вечер Франни была благодарна, что Берт его сохранил — только здесь она могла почувствовать себя в родных стенах.

— Давай налью тебе выпить, — сказал Берт.

— Давай, но только чаю, — ответила она. — Я за рулем.

Она встала у камина в одних чулках и потопталась на теплых камнях. Если курить на улице было слишком холодно, они с Элби — в ту пору еще школьники — спускались сюда поздними зимними вечерами и открывали вьюшку. Запрокидывали голову в камин и выпускали дым в трубу. Пили джин Берта и бросали пустые бутылки в кухонное мусорное ведро. Это им сходило с рук. Если даже кто-то из родителей и замечал, как тают запасы в баре или как накапливаются пустые бутылки, то ни слова не говорил.

— Выпей, Франни. Рождество же.

— Сегодня двадцать второе декабря. Почему все мне твердят, что уже Рождество?

— Джин-тоник по-барменски.

Франни взглянула на него.

— По-барменски, — твердо сказала она.

Берт показал ей этот фокус, когда она была еще маленькой и изображала бармена на домашних вечеринках. Если гость был уже пьян, надо было налить ему стакан тоника со льдом, а потом плеснуть поверх немножко джина, не смешивая. Первый глоток будет крепким, объяснял Берт, в этом вся суть. После первого глотка пьяные уже ничего не замечают.

— Если захмелеешь, можешь переночевать в своей комнате.

— Мама будет в восторге.

Пришлось изловчиться, чтобы выбраться повидать Берта. Беверли простила Берта, однако все никак не могла поверить, что Франни и Кэролайн тоже смогли его простить.

— Как мать? — спросил Берт.

Он протянул Франни стакан, и первый глоток — чистый джин — вышел именно таким, каким нужно.

— Как всегда, — сказала Франни.

Берт поджал губы и кивнул:

— Я так и думал. Хотя говорят, старина Джек Дайн сдает и ей уже трудно о нем заботиться. Ужасно, что ей приходится этим заниматься.

— Нам всем это предстоит рано или поздно.

— Может, я ей позвоню, просто узнать, как она. «Ох, Берт, — подумала Франни. — Не надо бы».

— А ты как? — спросила она. — Как у тебя дела? Берт налил себе джинку, капнул сверху содовой, чтобы уравновесить барменский джинтоник Франни, и сел на диван.

— Неплохо для старика, — сказал он. — Все еще выбираюсь из дому. Позвонила бы завтра, не застала бы меня.

Франни поворошила поленья кочергой, чтобы огонь разгорелся сильнее.

— И куда ты завтра?

— В Бруклин.

Франни обернулась посмотреть на него, держа кочергу в руке, и Берт широко улыбнулся:

— Джанетт позвала на Рождество. В двух кварталах от них есть гостиница. Неплохая. Я там был уже пару раз, приезжал их повидать.

— Здорово, — сказала Франни и села рядом с Бертом на диван. — Рада за тебя.

— В последние пару лет у нас дела пошли получше. Переписываюсь с Холли по электронной почте. Она приглашает в Швейцарию, хочет, чтобы я навестил ее в этой самой коммуне, где она сейчас. Я все отвечаю, что встречу с ней в Париже. По-моему, Париж — неплохой компромисс. Все любят Париж. Я возил туда Терезу на медовый месяц. Это сколько получается? Пятьдесят пять лет назад? По-моему, пора навеститься туда еще разок.

Тут он прервался, что-то вспомнив.

— Тереза ведь при тебе умерла? По-моему, Джанетт мне так говорила.

— Мы с Кэролайн отвезли ее в больницу. Мы были с папой.

— Вы молодцы.

Франни пожала плечами:

— Не могли же мы ее бросить.

— Как отец?

Франни покачала головой, думая об отце. «Как старина Берт?» — всегда говорил Фикс.

— Сказала бы, что он не дотянет до Нового года, но уверена, что ошибусь.

— Он крепкий парень, твой отец.

— Мой отец — крепкий парень, — повторила Франни, думая о револьвере в ящике его тумбочки и о том, как отказалась выполнить его просьбу. И даже хуже того. Она отнесла револьвер вместе с патронами в полицейское управление Санта-Моники.

— Плеснуть еще немножко джина? — спросил Берт.

— Совсем чуточку. — Франни протянула стакан. Она совсем не захмелела — и с грустью поняла, что джина в ее стакане совсем не осталось.

— Да мы, считай, ничего и не выпили. — Берт отошел к бару у стены.

— Все равно — совсем капельку.

— Я помню, как встретился с твоим отцом после твоих крестин, — сказал Берт. — Увидел его в суде. Не знаю, может, я его все время видел и просто раньше не понимал, но в тот понедельник он ко мне подошел, пожал мне руку и сказал, что рад, что я зашел. «Рад, что ты смог прийти на крестины Франни», — так он сказал.

Он протянул Франни стакан.

— Это было давным-давно, Берт.

— И все равно, — сказал Берт. — Мне больно думать о том, что он сейчас так болен. Он мне всегда нравился.

— От Элби новости есть? — спросила Франни, чтобы сменить тему.

Похожий вопрос она могла бы задать и Элби, но почему-то никогда этого не делала. Они с Элби не говорили о Берте. Даже много лет назад, когда жили под одной крышей, о нем они не говорили.

— Да не то чтобы. Временами кто-то из нас пытается наладить контакт, но выходит не очень. Элби, знаешь, был очень привязан к матери. Так оно бывает: девочки к отцам, а мальчики к матерям. Думаю, он так и не смирился с тем, что я ушел от Терезы.

Для Берта прошлое всегда было рядом, и он полагал, что у всех остальных это так же.

— Ты бы ему позвонил. Сейчас и так непростое время — праздники, и Терезы нет.

Франни подумала о своем отце, о том, как она встретит праздники через год.

— В Рождество ему позвоню, — сказал Берт. — От Джанетт.

Франни хотела сказать, что разница с Калифорнией составляет три часа, и потому он может позвонить сыну прямо сегодня, хоть сейчас, но Берт не собирался звонить Элби, и попрекать его этим не было никакого толку. Она наклонила стакан и во второй раз поднырнула под джин. Пробралась к колючей сладости тоника и осушила стакан до льда и лайма.

— Хотела бы я остаться, — сказала Франни, и это отчасти было правдой.

Да, она бы хотела подняться в свою комнату и лечь на свою кровать, но вот совершенно неизвестно, стоит ли еще там эта кровать.

Берт кивнул:

— Знаю. Я рад, что ты вообще сумела выбраться. Мне очень приятно, правда.

— Когда ты улетаешь?

— Выеду загодя, — ответил он. — Чтобы не попасть в пробки.

Франни встала и обняла отчима.

— С Рождеством, — сказала она.

— С Рождеством, — повторил Берт, и, когда он отступил, чтобы взглянуть на нее, глаза у него были влажные. — Езжай осторожнее. Если с тобой что случится, твоя мать меня убьет.

Франни улыбнулась и поцеловала его, подумав, что Берт до сих пор все в своей жизни оценивает по принципу, что Беверли спустит ему с рук, а что нет. Она надела туфли у входной двери и вышла на снег. Берт выключал в доме свет, и она минутку постояла на крыльце, глядя, как ложатся снежинки на рукава ее бархатного платья. И вспоминала ту ночь, когда не смогла найти Элби. Берт работал в кабинете внизу, а мать на кухне занималась французским. После обеда прошло уже много времени. Валил снег, прямо как сейчас, и в доме стояла полная тишина. Франни гадала, куда делся брат. Обычно к этому времени он приходил к ней в комнату делать уроки или, наоборот, поболтать, вместо того чтобы заниматься. Она лежала поперек кровати, читала «Возвращение на родину», внеклассное чтение по английскому. Элби, конечно, приходил не каждый вечер, но, если он был не у нее, она обычно слышала, как он смотрит телевизор или ходит по дому. Она все прислушивалась, а потом наконец отложила книгу и отправилась на поиски. Его не было ни в комнате, ни в ванной, ни в кабинете, ни в гостиной, куда он, впрочем, вообще никогда не заходил. Обойдя весь дом, она пошла в кухню.

— Где Элби? — спросила она у матери.

Та покачала головой и что-то пробормотала: вероятно, это должно было означать «понятия не имею». Она так и не научилась говорить по-французски.

— Увидишь его, дай мне знать.

Ее красавица-мать, удивившись на секунду, оторвалась от книги и кивнула.

— Конечно, — сказала она.

Франни и не подумала постучать в дверь Берта и спросить, не видел ли он Элби, или убедиться, что Элби не с ним. Ей это даже в голову не пришло.

Вместо этого она вышла через заднюю дверь. Она не переоделась после школы и по-прежнему была в форме: юбка в складку, гольфы, двухцветные туфли, спортивный джемпер поверх белой блузки. Мать не велела ей надеть пальто и не спросила, куда она собралась, как спросила бы, выйди Франни из задней двери в снежную ночь

несколько лет назад. Мать совсем потерялась в море неправильных глаголов.

Франни заглянула в гараж, но и там Элби не было. Обошла вокруг дома, потом прошла по улице — два дома в одну сторону, три в другую. Поискала на снегу следы велосипеда, но ничего не нашла, кроме отпечатков собственных ног, расходящихся во все стороны. Она уже продрогла, и волосы у нее намокли. Она встревожилась, хоть и не слишком. И не сомневалась, что сможет его найти. Решила вернуться в дом за пальто и, проходя по подъездной дорожке, за кустами самшита возле входной двери увидела Элби — вернее, лишь несколько дюймов его головы. Завернувшись в красный спальный мешок, он смотрел в небо, на падающий снег.

— Элби? — сказала она. — Ты что делаешь?

— Замерзаю, — ответил Элби.

— Так перестань. Пошли в дом.

Увязая в мягком снегу, покрывавшем лужайку, она наконец добралась до него.

— Я слишком укуренный, — сказал Элби.

Вокруг каждого фонаря на улице, каждого светильника на крыльце мягко искрился снежный нимб. Все остальное тонуло во тьме.

— Никто не заметит.

— Заметят, — уперся он. — Я укурился в хлам.

— Ты же не можешь остаться тут.

Франни начала дрожать. О чем она вообще думала, выходя без пальто.

— Могу, — ответил он.

Голос у Элби был мягкий, невесомый — снежный голос.

Франни шагнула между кустами самшита, готовясь поднимать Элби. Он был выше ее ростом, но тощий, и потом, не станет же он отбиваться. Но как только оказалась рядом с ним, поняла, чем ему так приглянулось это место: ты отсюда видишь всех, а тебя самого не видно. Карниз крыши большей частью закрывал их от снега. Теперь Франни почувствовала идущий от Элби запах травки, сильный и сладкий. Они иногда выпивали вместе, иногда курили сигареты, но до травы дело пока не доходило. Пока.

— Пусти-ка меня, — сказала она.

И тогда Элби поднял руку, не сводя глаз со снега, и она устроилась рядом с ним. Спальный мешок был набит пухом, и, когда они завернулись в него вдвоем, стало заметно теплее. Так они и сидели, привалившись спинами к кирпичной стене дома, а прямо перед ними возвышалась колючая изгородь. Они смотрели, а снег все падал, и падал, и падал, пока им не стало казаться, что это они падают.

— Я скучаю по маме, — сказал Элби.

В тот единственный год, когда они были очень близки, он произнес эти слова лишь однажды, и только потому, что совсем укурился.

— Знаю, — ответила Франни, потому что и вправду знала.

Она точно это знала, и поплотнее укутала их обоих спальным мешком, и они так и сидели вместе, пока у нее не онемели ноги и она не сказала, что пора пойти в дом.

— А я уже давно ног не чувствую, — ответил он. Они обнялись, чтобы не свалиться. Парадная дверь была заперта, так что они прошли по подъездной дорожке, волоча за собой спальный мешок. Мать Франни уже ушла из кухни, но из-под двери в кабинет Берта все еще пробивался свет.

— Я тебе говорила, никто не заметит, что ты накурился, — сказала Франни, и почему-то Элби от этого разобрал смех.

Он сел на пол, натянул спальный мешок на голову и хохотал, пока Франни доставала хлопья и молоко.

Франни стряхнула снег с плеч и пошла к внедорожнику. Она никогда не рассказывала об этом Лео. Собиралась, но почему-то решила промолчать. Теперь она понимала: когда-нибудь придет время и случится ночь вроде нынешней, и тогда с ней будет эта история, никому в целом мире не ведомая — никому, кроме Элби. Нужно оставить что-то и для себя.

* * *



Энн Пэтчетт родилась в 1963 году в Лос-Анджелесе. В возрасте шести лет переехала с семьей в Нэшвилл. После окончания колледжа занималась журналистикой. Ее первый роман «Святой покровитель лжецов», вышедший в 1992 году, удостоился высокой оценки литературной критики. С тех пор Пэтчетт написала еще шесть романов и три нехудожественные книги, получила целый ряд престижных литературных наград, в том числе премию Orange, премию ПЕН/Фолкнер и премию Американской ассоциации книготорговцев. В 2011 году она открыла в Нэшвилле собственный книжный магазин «Парнас».

Энн сотрудничает со многими ведущими изданиями — New York Times, Harper's, Washington Post, Vogue и другими. В 2012 году журнал Time включил Энн Пэтчетт в список 100 самых влиятельных людей в мире. Роман «Бельканто» был переведен на 30 языков и разошелся в мире тиражом более миллиона экземпляров. Энн живет в Нэшвилле с мужем Карлом Ван Девендером и собакой Спарки.

СНОСКИ

1

Запрещено? (*нем.*)

2

Практика оказания бесплатной юридической помощи
нуждающимся (*лат.*).

3

Между нами (*фр.*).

Table of Contents

Энн Пэтчетт Свой-чужие

1

2

3

4

5

6

7

8

9

СНОСКИ

1

2

3

